

Василь Быков Карьер



«Василь Быков. Карьер»: Известия; Москва; 1990
ISBN 5-206-00073-6

Аннотация

В книгу «Карьер» вошли роман и повесть талантливого советского прозаика, народного писателя Белоруссии Василя Быкова, - лауреата Государственной и Ленинской премии. Действие романа «Карьер» относится к осени 1941 года и происходит в глухом белорусском местечке, оккупированном немецко-фашистскими войсками. Повесть «В тумане» - о борьбе партизан в тылу врага.

Василь Быков Карьер

Роман

1

Пробуждение едва наступило, но сон уже отлетел. Агеев это понял, минуту полежав неподвижно, с закрытыми глазами, будто опасаясь спугнуть остатки дремоты.

Несколько последних дней он стал просыпаться до срока, когда еще не начинало светать и парусиновый верх палатки еще чернел по-ночному непроницаемо, а вокруг стояла мертвенная тишь, какая бывает глухой ночью или накануне рассвета. Было прохладно, он это почувствовал шершавой от щетины кожей щек, начавшей стынуть макушкой головы. За лето он так и не привык забираться в мешок с головой – вечером в том не было надобности, в палатке долго держалось дневное тепло, лишь на исходе ночи, перед рассветом, когда выпадала роса и верх палатки набрякал стылой влагой, становилось прохладно. К тому же на

голове у Агеева давно уже не было того жесткого, непокорного чуба, который украшал его в молодости. С годами волосы поредели, утратили былую пышность, удлиннились залысины, и голова стала чуткой к прохладе. Что ж, все, наверно, в порядке вещей – такова жизнь.

Вставать было рановато, да и не хотелось вылезать из нагретой за ночь уютной тесноты спального мешка, и он лежал так, с закрытыми глазами, дремотно прислушиваясь к едва различимому в тишине шуму листвы на деревьях поблизости. Этот тихий, иногда мерный, иногда тревожно мятущийся шум листьев сопровождал его сон каждую ночь, порой немного затихая, но к утру обычно становясь беспокойнее и слышнее. Агеев уже свыкся с ним за лето и почти не замечал его – шум стал частью его тишины и его затянувшегося одиночества возле этого кладбища, на краю заброшенного карьера.

Поодаль за дорогой в крайних дворах поселка визгливо залаяла собачонка. Агеев знал ее, иногда та прибегала к его одинокому стойбищу, останавливалась в отдалении и наблюдала за его возней у палатки, явно рассчитывая на угощение. Агеев собак не любил с детства, и, хотя относился к ним без злобы, те всегда чувствовали его нерасположение и особенно не напрашивались на знакомство. Собачонка полаяла немного, возможно, на кошку или на птицу в саду и утихла, а Агеев стал дожидаться других звуков. Обычно раньше других в сторожке утренней тиши раздавались приглушенные пространством хриплые окрики – это хозяйка высокого, окрашенного в яркий канареечный цвет дома отправлялась на утреннюю дойку в хлев и, похоже, вымещала на корове свое недовольство жизнью, то и дело озлобленно матерясь, чем всегда резко нарушала летний покой утра. Несколько раз Агеев видел ее за изгородью во дворе, это была не старая еще, крупнотелая, с басистым голосом тетка, одетая по утрам в заношенный ватник, с уверенными манерами домашней правительницы. Сегодня, однако, голоса ее не было слышно – наверно, заспалась хозяйка этого добротного выкрашенного дома. Слегка прислушиваясь, Агеев открыл глаза – низкий верх одноместной палатки уже явственно проступал из сумерек, обнаруживая знакомые мелочи: тесемочную шнуровку входа, размытые, непонятного происхождения рыжие пятна на парусине; в самом конце матово светилась небольшая, с гривенник, дырка, недавно прожженная выскочившей из костра искрой.

Пожалуй, надо было вставать, браться за дело. Но до того, как начать выбираться из мешка, Агеев попытался вспомнить, какое сегодня число, и не сразу, с усилием сообразил, что сегодня третье или, возможно, четвертое августа. Счет дням недели он вел исправно, привычно ощущая суточный ход времени, а вот числа... В этом деле обычно пособляли газеты, но последние дни, занятый работой в карьере, за газетами он не ходил, транзисторного приемника у него не было, и вот сбился со счета. «Маразм, маразм», – посокрушался он мысленно. Да, память была уже не та, что в молодые годы, память иногда подводила совершенно неожиданно, и нередко требовалось усилие, чтобы вспомнить то, что, казалось, невозможно забыть. Особенно имена, названия, даты. Недавно он обнаружил, что не может вспомнить имени командира взвода, с которым выходил из окружения в сорок первом. Имя его выветрилось из памяти, помнил только фамилию – Молокович. И то хорошо.

Тем временем рассвело, в палатке стало светлее, он различил в ногах смятую за ночь болоньевую куртку, брошенное у боковой стенки пропыленное спортивное трико, литровый индийский термос на белом ремешке, который он обычно ставил подле себя на ночь, запыленные кеды у входа. Все остальное имущество было возле кострища и палатки. Когда-то, начав здесь свои раскопки, он все стаскивал на ночь в эту тесную палатку, в которой самому было тесно повернуться. Со временем же, однако, убедился, что оставленные у палатки вещи никому тут не нужны, никто ничего не трогает, и перестал прибирать. К нему тут редко кто подходил, разве случайный прохожий с поля да Шурка с Артуром – два робких с виду пацана, вроде настороженных чем-то. Обычно они присаживались на землю возле кладбищенской ограды и издали молча наблюдали за его нехитрыми утренними или вечерними хлопотами у костра, возле чайника. Костер, конечно, привлекал мальчишек, но вот неделю назад Агеев купил в поселковом хозмаге сухого горючего в таблетках, очень

удобного для его небольших хозяйственных надобностей: зажарить яичницу, разогреть гуляш или вскипятить воду на чай. Остатки горячей воды он обычно сливал в термос и в другой раз обходился совсем без огня. Иногда по вечерам в выходные и праздничные дни к карьере приходил Семен, высокий худой мужчина с единственной рукой-клевшей, которой он все время давал работу: то сворачивал сигарку, то ковырял палкой в песке, а то просто, размахивая ею в воздухе, помогал в разговоре. Обычно он был «под мухой», по крайней мере, всегда так казалось, и почти ни о чем не спрашивал, говорил и говорил о своем, что его беспокоило или о чем вспоминалось. Беспокоили его непорядки в мире, а вспоминалась война, на которой он, судя по всему, хлебнул лиха. Сперва Агеев слушал его с недоверием, что-то в нем противилось сбивчивым Семеновым излияниям, но постепенно он проникся убеждением, что все так и есть, как говорит Семен. Во всяком случае, так было. Семен не врал и даже не привирал – кажется, он не обладал нужным для того воображением, целиком и полностью занятый воспоминаниями. Память же у него была – дай бог каждому.

Когда Агеев выбрался из палатки, уже совсем рассвело. Где-то за мощной стеной кладбищенских деревьев и поселком всходило солнце, нетоптаная трава возле обрыва матово серебрилась в росе, парусина его палатки провисла, напитавшись росистой влагой. Поеживаясь, Агеев натянул на плечи болоньевую куртку, размышляя, стоит ли делать утреннюю гимнастику или лучше согреться чаем – в термосе, должно быть, еще не остыл кипяток. С начала лета он каждое утро старался проделывать свои шестнадцать спортивных тактов, но потом, втянувшись в работу, почти забросил гимнастику, для мышц и суставов и без того хватало нагрузки в карьере. Сперва неделю или две по ночам все тело ломало от непроходившей усталости, болели руки, но вот постепенно втянулся в свою земляную работу и боли прошли. А главное, перестал обращать внимание на разное там нытье и колотье, понимая, что надобно уметь переносить боль, тем более такую – от работы. Когда-то пришлось потерпеть похлеще – от двух ранений, одно из которых едва не стоило ему жизни. Но все-таки, наверно, он был крепкого склада, да и молодой организм тогда еще был способен на чудо. Пожалуй, чудо его и возвратило к жизни.

Агеев налил из термоса пластмассовую кружку крепкого, уже начавшего остывать чая, выпил, стоя возле палатки. Есть с утра не хотелось, и раньше часов десяти он старался не завтракать, взяв себе за правило есть, только проголодавшись. Правда, проголодавшись, нередко обнаруживал, что поесть по-настоящему нечего: то не было хлеба, то кончилось сало, которым он запасался на несколько дней в райкооповском магазине. Сало он любил издавна, оно отлично утоляло голод; жаль, в магазине кончилось прошлогоднее, с тмином, свежее же, отливавшее нежной розоватостью на толстом срезе, было почти безвкусным, и он жарил на нем яичницу. Яички покупал у сердобольной седой старушки с концевой улицы поселка за кладбищем. Эта старушка кое-что рассказывала ему о военном и довоенном прошлом поселка. К сожалению, во время войны она жила в двух километрах отсюда на станции и не все знала, что происходило в поселке. За последние годы поселок сильно разросся и слился со станцией, а прежде их разделяло ржаное поле с дорогой, которая шла между двумя рядами тополей и сворачивала за переездом в сторону небольшого вокзальчика и нескольких станционных построек.

С лопатой в руках Агеев прошел по траве к карьере и остановился на обрыве. Как раз из-за кладбищенских деревьев выкатилось низкое утреннее солнце. Разостлав по росистому косогору широкую тень, оно ярко высветило верхний косой край обрыва и его противоположный излом. Глубокий провал карьера весь лежал в стылой ночной прохладе, на его ископанном, разрытом дне высилась груда земли, месяц назад сдвинутая бульдозером. Этот бульдозер Агеев не без труда выхлопотал на полдня в «Райсельхозтехнике», хотя он и мало помог делу, лишь обезобразил этот заброшенный, начавший зарастать сорняками карьер. Потом, орудуя лопатой, Агеев изрядно разворотил его за лето – впрочем, без особого для себя успеха. Но все же его тайная мысль, как последняя надежда, теплилась в нем слабой искрой, и он думал: а вдруг! Конечно, бульдозер мало годился для такого рода раскопок, за какой-нибудь час он перевернул гору земли, широко сдвинув все с одной стороны на

другую, и Агеев просто не мог уследить за тем, что мелькало под его блестящим стальным ножом. Теперь он надеялся лишь на лопату и со дня на день ждал, что вот-вот наконец с ее помощью откроется то главное, что стало его тайной целью, важнейшим смыслом его существования.

Вдоль по обрыву надо было спуститься к дороге, где был вход в карьер и ждала его оставленная вчера работа – подкопанный, но еще высокий бугор земли вперемешку со строительным мусором, который надо было перебросать лопатой под высокий, обрывистый берег карьера. Но в карьере по-прежнему лежала сплошная тень, дышавшая накопленной за ночь стылостью, и Агеев знобко поежился на обрыве. Он стоял на том самом месте, где почти сорок лет назад, едва сдерживая дрожь в окровавленном теле, простался с жизнью в смятении и отчаянии от вопиющей несправедливости этой безвременной гибели, полураздетый и, хорошо помнил, босой. Сапоги с него сняли перед расстрелом, и ног он почти уже не чувствовал – ступни по щиколотку одеревенели в студеной, схваченной первым морозцем грязи, на которую из предрассветной темени, кружась, сыпался снег.

Агеев принялся за дело – копать и отбрасывать под обрыв мягкую, разрыхленную бульдозером землю с различным хозяйственным хламом: трухлявыми обломками досок, остатками закопченной кирпичной кладки, сваленной в карьер, видимо, после ремонта печей. Но большей частью его лопата со скрежетом врезалась в сухую слежалую щебенку с песком и гравием. Впрочем, песка тут было немного – наверное, местечковцы выбрали его еще в довоенные годы для какого-нибудь строительства, а главное, для хозяйственных нужд: ремонта печей, фундаментов, штукатурки стен. В тот страшный год, когда судьба впервые привела Агеева в это местечко, он не выбирался из него дальше кладбища и впервые попал в этот карьер лишь в то роковое утро, которое едва не стало для него последним.

Но вот сорок лет спустя, овдовев и выйдя на пенсию, Агеев теплым солнечным днем на исходе весны приехал сюда. Сперва он даже испугался, почти не узнав местечка, ставшего за эти годы городским поселком. По крайней мере, центр его совершенно изменил свой первоначальный облик, бывшая базарная площадь расширилась до самых стен церкви, церковная ограда исчезла, с другой стороны площади выросло трехэтажное здание райисполкома; чуть поодаль, в начале улицы высилась силикатная громадина универмага, и перед ним лежал крохотный скверик – ряд чахлах деревьев, еще привязанных к кольям-опорам, с неширокой дорожкой, обрамленной поставленными на уголок кирпичами. Короткая эта дорожка вела к памятнику – бетонному обелиску в решетчатой железной оградке, с широкой мраморной плитой на лицевой стороне. Маленькая дверца в оградке была не заперта, и, наверно, туда можно было пройти, на узком бетонном подножии лежало несколько увядших гвоздик в разворошенном ветром целлофане. Но цветами Агеев не запасся и заходить туда не имело смысла. Вцепившись руками в заостренные навершия оградки, он зашарил глазами по плотным столбцам фамилий. Он уже знал про этот обелиск в поселке, ему рассказывали наезжавшие сюда знакомые; однажды писал в райисполком и получил ответ, что подпольщики тоже захоронены здесь. Теперь без труда нашел их фамилии – неглубоко высеченные на камне в самом конце этого скорбного списка. В отличие от остальных они были обозначены без воинских званий, так как, наверно, и не имели никаких званий, за исключением разве что Молоковича.

Ее же здесь не было.

Но почему ее не было? Разве она выжила? Или погибла где-либо не здесь, может быть, в немецком концлагере, вывезенная из местечка? Конечно, тогда все могло быть, но четыре десятка лет Агеев прожил в уверенности, что она также не избежала их общей участи. По крайней мере, страшные события той осени ни для кого не оставляли надежды, все они были обречены, и только он по счастливой случайности увернулся от смерти. Но две случайности в их положении – это было бы уже чудесно, во вторую он не в состоянии был поверить. И ему казалось, что тут утвердилось недоразумение, что ее просто не нашли, а возможно, и не искали. Ведь о ней знал только он один. Ну и, конечно, полиция, которая все и раскрыла. Но у полицаев теперь не спросишь, а документов не найдешь. Они умели прятать концы в воду.

Оставалось обратиться к людям.

Отойдя от памятника, он огляделся. Площадь изменилась до неузнаваемости, но церковь осталась, и она помогла ему сориентироваться. Дальше следовало повернуть в переулок и пройти улицей вниз. Стараясь приглушить тревогу в душе, Агеев скорым шагом отправился из центра к окраине, прежде всего на Зеленую, хорошо известную ему улочку, застроенную обычными деревянными домиками с крошечными огородами и садами, упиравшимися в глубокий овражный провал с ручьем и старыми деревьями на склонах. К его большой радости, здесь почти ничего не изменилось, разве что некоторые из домов заметно обветшали, другие же после ремонта нарядно желтели свежеекрашенными стенами. В самом начале улицы на углу высился домище о трех окнах по ошалеванному фасаду, под громадной, на немецкий манер срезанной по углам гонтовой крышей. Едва справляясь со все усиливающимся биением сердца, Агеев направился в конец этой коротенькой улочки, еще издали узнавая знакомый латаный гонт на крыше Барановской, в доме которой он провел некогда почти три месяца своей жизни.

Всплеск его радости, однако, стал опадать по мере того, как он пыльной обочиной подходил к этому дому – взору его предстали явные приметы заброшенности: длинные горбыли на окнах, выходящих в крохотный палисадничек при улице, боковое окно из кухни чернело сплошь разбитыми стеклами, калитки тут не было и раньше, и некогда уютный, вымощенный мелким булыжником дворик с канавками для стока воды густо зарастал сорной травой. Дом был давно покинут и, видать по всему, тихо умирал на ушедшем в землю щербатом фундаменте. Может быть, один только сад при нем мало изменился за четыре десятка лет, хотя постепенно дичал в небрежении, а большого старого клена напротив входа на кухню уже не было вовсе, как не было и беседки-повети по другую сторону дворика.

Не заходя во двор, Агеев оглянулся на улицу, узнавая и не узнавая ее малоприметные подробности. К несчастью своему, он совершенно забыл соседей, помнил только, что в доме напротив жил дядька – молчаливый, не старый еще мужик, Барановская иногда обращалась к нему по хозяйству, вроде бы даже он приходился ей родственником. Вспомнив о нем, Агеев перешел через улицу и толкнул невысокую дощатую калитку. Навстречу ему из замызанной конуры с бешеным лаем взвился верткий лохматый пес. И тут же из пристройки рядом с крылечком выглянула тоненькая женщина в вылинялом голубом сарафанчике.

– Здравствуйте, – как можно дружелюбнее сказал Агеев, глядя в ее молодое, отчужденно недоумевающее лицо, и замолчал, не зная, как начать разговор. Очень не простой предстоял разговор, но женщина не унимала пса и не предлагала зайти, она выжидала, что скажет заходящий. – Не скажете, вон напротив жила Барановская...

Стоя в распахнутой двери, женщина пожала загорелыми плечиками и низким, вроде заспанным голосом крикнула в дом:

– Виктор, выдь! Тут какую-то Барановскую спрашивают.

– Кто спрашивает? – глухо донеслось из дома.

– Ну выйди! Кто, кто...

Из двери высунулся молодой человек в белой майке с разогретым паяльником в руках, от которого еще струился в воздухе дымок, он прикрикнул на собаку, и та сразу замолкла. Женщина проскользнула мимо в дверь дома, откуда слышался нетерпеливый младенческий плач.

– Хотел спросить: соседка ваша Барановская, что напротив жила, – прерывающимся от волнения голосом напомнил Агеев. – Она... Судьба ее какая?

– Барановская? Какая Барановская? Тут раньше Валюки жили, выехали на целину. Года три или четыре тому.

– Валюки... А вы... Простите, сколько вам лет? – с растерянной улыбкой спросил Агеев, начиная понимать что-то.

– Мне? Ну, двадцать восемь. А что?

– Да так, ничего, – все враз поняв, ответил Агеев. – Извините, я тут, знаете, напутал.

– Да? Ну бывает...

Он прикрыл за собой калитку и побрел по улице, ясно сообразив, что двадцативосьмилетний Виктор родился в конце пятидесятых годов и, конечно же, еще до его рождения в доме Барановской могло смениться не одно семейство жильцов. Вот если бы встретить кого из старожилов, довоенных обитателей этой улицы, уж от них, наверно, можно было бы узнать побольше. Агеев оглянулся – белая майка Виктора все еще виднелась во дворе, и он вернулся к калитке.

– Я извиняюсь, скажите, а тут, на вашей Зеленой есть кто-нибудь из стариков? Что тут до войны жили?

– А кто их знает, – насутился Виктор и, вдруг что-то вспомнив, тряхнул светлой волосатой головой. – Супрунчук, может...

– Да что Супрунчук! – перебила его появившаяся на крылечке жена с запеленатым младенцем в руках. – Супрунчук твой с праздника не просыхает. Вон лучше Поддубского спросите, он должен знать.

– А где это? – оживился Агеев.

– Да вон третья хата от угла. «Жигуль» там синий стоит, – охотно объяснил Виктор.

Скорым шагом Агеев направился вдоль улицы и действительно во дворе третьего от угла дома увидел синий «Жигуль» с настежь распахнутыми четырьмя дверцами, раскрытым багажником и поднятым капотом. Возле него хлопотал не старый еще мужчина в темно-синем спортивном трико.

– Здравствуйте!

– Добрый день, – поднял озабоченное лицо мужчина и выжидательно уставился в него.

– Мне Поддубского, – пояснил Агеев, едва сдерживая нетерпение.

– Ну, я Поддубский, – сказал мужчина и выпрямился с гаечным ключом в руке.

– Нет, знаете... Мне... чтоб постарше.

– Постарше? Отца, что ли? Так отец на рыбалке. Выходной все же, запрет только сняли. Я вот тоже собрался, да эта холера закапризничала.

– А отцу сколько лет? – спросил Агеев, опять настораживаясь. Упоминание о рыбалке как-то не вязалось в его представлении с пожилым возрастом отца.

– Лет? Пятьдесят пять вроде.

– Да...

– А что, мало? Так у нас тут имеется и постарше. Дед! – позвал мужчина, обернувшись. Но на дворе больше никого не было. – Где же он? Только сейчас выходил...

Мужчина прошел за угол дома, где начинался ряд недавно отцветших деревьев с побеленными стволами, между которыми лежали прополотые, политые с утра грядки.

– Дед, тебе сколько лет?

Ответа оттуда не послышалось, и Агеев тоже прошел за угол. С тыльной стороны дома на скамейке под кустом отцветшей сирени сидел глубокий старик в истоптанных валенках на тощих ногах. Сосредоточенно уставясь перед собой, он, похоже, находился во власти своих старческих дум и никак не отреагировал на их появление, только вскинул на Агеева рассеянный взгляд.

– Вот хочу спросить вас, – бодро начал Агеев. – Вы давно тут живете?

– Да он тут всю жизнь. Тут и родился, – охотно объяснил мужчина.

– Может, помните, тут на Зеленой Барановская жила?

– Была Зеленая, – подсказал сзади мужчина. – Теперь Космическая.

– Переименовали?

– В который раз. После войны была Танкистов. Потом Пекинская. Теперь Космическая.

Старик на скамейке как-то странно закачался вперед-назад, задвигал свешенными между колен жилистыми кистями рук.

– Барановская, Варвара... Немцы застрелили.

– Застрелили? Вот как!..

– Застрелили. На станции. Помню, как раз на зимнего Николу. Я еще дрова возил...

Это хотя и не было ошеломляющим для Агеева, который давно предполагал именно

такой исход, он все же испуганно подумал: за что? Уж не из-за него ли? С щемящей болью в душе он постоял молча, будто дожидаясь, что еще скажет старик. Но старик молчал, размышляя или в ожидании новых вопросов.

– А еще, может, знаете, – с надеждой начал Агеев, – тут где-то на соседней улице жил один человек, жестянщик или слесарь, он еще в войну терки из жести мастерил, зерно тереть...

– Лукаш?

– Может, и Лукаш, не помню. Так у него на квартире учительница была приезжая. А с ней сестра жила...

Сказав это, Агеев почувствовал, что приблизился вплотную к тому главному пределу, к которому шел столько лет, и сейчас, наверно, услышит свой приговор. Надо было собраться с силами, чтобы выдержать его, каким бы он ни был.

– Лукаш мастеровой был, ага... Умел по дереву и по металлу. Мне еще рамы после войны делал. Мастеровой был, ага...

Лицо старика на короткий момент просветлело, он оторвал взгляд от земли и повел им в сторону Агеева. Агеев разочарованно выдохнул и переступил с ноги на ногу – сесть тут было не на что.

– Мастеровой... Помер. Давно уже.

– Так учительница квартировала у него...

– Что? Учительница? Можя, и была.

– А вы не помните, дед?

– Учительница? – повторил, помедлив с ответом, старик. – Не, не помню.

Почти убитый этим визитом, Агеев вышел на улицу. Потерянно побродив по одной и по другой стороне, еще раз зашел в заброшенный, зарастающий сорняками двор Барановской, узнавая и не узнавая обветшалые стены ее дома, подгнившие, выкрошенные углы, покосившиеся простенки. Он обошел хлев, сарай за дровосекой, поросшей густой, по колено лебедой, заглянул в огород с тыльной стороны усадьбы и не увидел там пристройки-сарайчика, который, наверно, давно уже разобрали на дрова, – по самую стену дома шли ровные борозды дружно взошедшего картофеля. На глаз он отметил то место, где стоял его топчанчик и где была дыра в стене, возле которой под камнем он прятал свой пистолет «ТТ». Кто-то, наверно, нашел, если в свое время пистолет не подобрала полиция.

Вернувшись во двор, издали посмотрел на сад, который, оказывается, тоже не пощадило время – старые яблони медленно по одной умирали, теряя отсохшие суки и ветки; кусты смородины и крыжовника, некогда отделявшие сад от двора, вывелись начисто, на меже огородов над тыном чернело голое сучье нескольких засохших вишен, очень памятных ему с того лета. Теперь он даже не подошел к ним. Всем его существом овладевало гнетущее ощущение неудачи. Чтобы как-то справиться с ним, он еще прошел в конец улицы, мимо высокого дома с немецкой крышей, перешел на следующую. С новой надеждой встретил пожилую женщину с сумкой и сразу спросил, не помнит ли она Лукаша-жестянщика. Женщина устало опустила наземь тяжелую сумку, доверху набитую хлебом, поправила пеструю косынку на голове.

– Как же, был Лукаш, Ванькович его фамилия. Помер после войны.

– А у него учительница перед войной на квартире жила.

– Учительница? Была, кажись, пригоженькая такая. Вот не помню, как звали...

– Вера, – с воспрянувшей радостью подсказал Агеев.

– Можя, и Вера, не помню вот.

– А что с ней дальше случилось, не вспомните? К ней еще сестра перед войной приезжала. Мария.

Женщина наморщила и без того морщинистое переносье, всмотрелась в дальний конец улицы, по которой уже грохотала «Колхида» с прицепом.

– Не знаю. Помню, вроде была молодая девушка. Недолго пожила. А куда делась?..

– После войны не объявлялась?

– Не знаю...

Агеев еще прошелся несколько раз по этой и по соседним улицам и, совсем было отчаявшись, подошел к двум мужчинам, болтавшим возле калитки. Один из них стоял по эту ее сторону, а другой, худой и высокий, – по ту, оба курили и о чем-то развязно беседовали, то и дело грубовато посмеиваясь. При обращении к ним, однако, умолкли и, выслушав Агеева, худой и высокий из-за калитки радостно оживился.

– Знаю Марию, в Менске живет. Окончила иняз, теперь работает в школе.

– Вот как! – ошарашенно сказал Агеев. – И давно окончила?

– В семьдесят восьмом, хорошо помню. Я поступал, был конкурс громадный, ну и срезали. А она заканчивала.

Агеев враз помрачнел, прикидывая в уме, сколько же ей могло быть в семьдесят восьмом. Нет, что-то поздновато было ей в пятьдесят лет кончать институт. Вряд ли это она.

– Простите, а какого она возраста?

– Возраста? Да моя ровесница. Вместе в школу ходили. Только я еще армию отслужил... А что, не та, значит?

– Не та, – сказал Агеев уныло, кивнув на прощание мужчинам.

Он и еще спрашивал: у случайных уличных встречных, выбирая тех, кто постарше, подходил к пожилой продавщице киоска «Союзпечать», несколько раз забредал во дворы; если видел, кого-нибудь с улицы. Некоторые легко вспоминали Лукаша, помнили Барановскую, очень немногие вспоминали учительницу Веру Адамовну, но никто толком не мог рассказать что-либо о ее сестре. Вроде приезжала, недолго пожила у сестры, а куда девалась? Этого никто не знал. Оно, пожалуй, и неудивительно, прошло ведь столько времени. Здесь уже немного осталось тех, кто мог вспомнить довоенного секретаря райкома Волкова, погибшего в сорок третьем на Могилевщине, – как-то Агеев читал о нем очерк в газете. Но Волков что – Волков все-таки был комиссаром бригады, а не безвестным подпольщиком, он не мог затеряться.

И она, по всей вероятности, погибла. Но где и когда?

Много бессонных ночей провел Агеев, думая об этом, но каждый раз заходил в тупик. И все его попытки узнать что-нибудь о судьбе Марии с помощью архивов, запросов по различным инстанциям заканчивались столь же тупиковыми ответами вроде: «не числится», «не значится», «сведений не имеется». А ведь по прошествии стольких лет единственной возможностью в его поисках стали документы, списки, архивные справки, в которых было многое, но, увы, ничего не было о ней. Впрочем, если подумать, то ничего и не могло быть. В ту памятную осень они больше всего на свете опасались документов, списков, записок, даже случайно оброненной бумажки, которая запросто могла стать уликой. А о посмертной памяти или отражении в истории кто тогда думал? Путь в историю для них был перекрыт ежедневной опасностью, перебраться через которую зачастую было невысказано. Все последние годы, рассылая письма с запросами, обращаясь в архивы и расспрашивая людей, Агеев понимал, что не столько жаждет узнать о ее судьбе, сколько обмануть себя, избежать последнего, невозможного для него ответа. Этот ответ мог нести в себе самый страшный итог...

Но вот, кажется, пришел конец всем иллюзиям, никто о ней ничего толком не знал, она действительно исчезла той осенью сорок первого года.

Оставалось единственное.

Приехав в этот поселок, он поселился в крохотной поселковой гостиничке возле бани, где в квадратной комнатке с раковиной и умывальником стояло шесть тесно составленных коек, на которых почти каждую ночь менялись жильцы – проезжие, уполномоченные, шофера. И только он в течение недели занимал угловую, с пружинистой сеткой койку, и, когда его спросила заведующая, сколько он еще будет здесь жить, он не сразу ответил. Он не знал, надолго ли еще придется ему задержаться в этом поселке, конец его дела даже не просматривался, но в районе созывалось какое-то совещание, и в гостинице потребовались свободные места. Его не выселяли, хотя и могли это сделать, только

поинтересовались сроком его выезда, но этот вопрос располневшей от сидячей работы заведующей с золотыми перстнями на всех пальцах рук был облечен в столь явное недружелюбие, что он, подумав, ответил: завтра. В тот же день после обеда, наскоро перекусив в буфете, он зашел в универмаг, в отделе спортивных товаров купил одноместную брезентовую палатку, спальный мешок, кое-что из туристических мелочей, потратив на покупку большую часть своих денег, и перетащил все за кладбище, поближе к карьере. Тут оказалось не хуже, чем в той суетной гостинице, по крайней мере, тут он был в абсолютном покое, наедине с собой и своими невеселыми мыслями – что может быть лучше в его далеко не молодые уже годы!

Поднявшееся солнце давно висело над разрытым карьером, наступило жаркое время дня, Агеев скинул наземь куртку, то и дело оттягивая ворот трико, обдавая разгоряченную грудь душным застоялым воздухом. В карьер почти не задувал ветер, от нагретого глинистого обрыва дышало печным жаром. Агеев перебрал лопатой полпригорка земли, то и дело откидывая в сторону различные обломки, ржавые жестянки, черепки, однако того, что можно было бы отнести к сколько-нибудь отдаленной давности, не попадалось. Может, и правильно говорили ему в исполкоме, что тут ничего не осталось, тела расстрелянных перезахоронили летом сорок четвертого, сразу после освобождения, и что их было там трое. Все мужчины. Ни одной женщины там не было. Когда же он поинтересовался, как различили тела после их почти трехлетнего пребывания в земле, ему не ответили. А одна тетка, уборщица при гостинице, с которой он как-то завел о том разговор, сказала просто:

– Какой там отличали! Собрали косточки да разложили на три гроба. Какой там отличали...

Все-таки он установил с помощью очевидцев, что не просто собрали косточки, что там были врачи и некоторые останки даже опознали родственники. Во всяком случае, с определенной долей вероятности на ошибку тела были идентифицированы, и среди трех ее тела не было.

Но где же тогда она?

Конечно, и без того она могла десять раз умереть во время и после войны, ее могли отправить в какой-нибудь из концлагерей, которые у немцев были во множестве. Но все это лишь в том единственном случае, если она не осталась здесь, в этом карьере. И он не мог предположить иного исхода до тех пор, пока воочию не убедится, что ее косточек здесь не осталось, что их не завалило рухнувшим весной сорок второго западным обрывом карьера. Проклятая эта яма тридцати шагов в поперечнике, которую лишь с натяжкой можно было назвать карьером, тем не менее умела хранить свои тайны, она отобрала у Агеева большую часть лета, столько труда, пота, так ничего и не прояснив для него.

И все-таки он не помышлял сдаваться, капитулировать перед этими бесформенными горами слежалой щебенки, он перелопатит ее по верхушку, но или найдет то, что ищет, или удостоверится, что ее тут нет.

Если ее тут нет, тогда у него останется надежда – слабая, запутанная ниточка, возможно, ведущая к жизни из этой проклятой ямы, в будущее, а может, и в вечность...

Горячий юго-западный ветер, весь день иссушающе дувший на летнее пространство полей, к вечеру заметно утих; клонившееся к закату солнце в подернутом реденькой дымкой небе утратило свою пылающую прыть и не пекло, как прежде. В куцей тени жиденького куста шиповника на меже ржаной, истоптанной скотом и человеческими ногами нивы стало прохладнее и, в общем, терпимо, если бы не донимавшая Агеева жажда. В который раз старший лейтенант поднес к губам обшитую войлоком трофейную флягу, встряхнул – единственная капля из нее упала на его небритый подбородок и щекочуще скатилась за растянутый воротник гимнастерки. Ни во фляге и нигде поблизости воды не было. Наверно, с полдня он лежал здесь на разостланной, со следами засохшей крови телогрейке и томился в тягостном ожидании, которому, казалось, не будет конца. Сначала усилием воли он подавлял нетерпение, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, но постепенно его все больше разбирала злость на этого Молоковича – уж не забыл ли он его тут, в каком-нибудь

километре от местечка. Раздражение это, однако, скоро убывало при мысли, что нет, не забыл, не затем он вел Агеева столько, чтобы бросить вблизи от цели. Впрочем, Агеев понимал, что сам Молокович рисковал сейчас наверняка больше: не так просто было среди бела дня появиться на местечковой улице, не нарвавшись на немцев или полицию. Агеев ему говорил: не спеши, давай пересидим в поле до вечера, а вечером, как стемнеет, пробраться в Местечко, наверное, будет проще. Молокович соглашался, но поступил по-своему – видно, не хватило терпения дожидаться вечера. Конечно, он знал тут каждую тропку, каждый закуток и переход, но и его тут знала, пожалуй, каждая собака, которая теперь с легкостью могла выдать полиции.

Время от времени Агеев нетерпеливо поднимался и, стоя на одной ноге, опершись на винтовку, выглядывал из-за спутанных, склоненных к земле стеблей переспелой ржи. За рожью и широко раскинувшимся полем картофеля виднелись окраинные домики, заборы и изгороди, местами скрытые начавшей жухнуть от засухи, но все еще густой летней зеленью садов и огородов. Поодаль, в глубине этого селения маячило в безоблачном небе два желтых купола церкви, возле них белело какое-то узкое строение с островерхой черепичной крышей, похожей на пожарную каланчу, что ли. В стороне, на окраине, высилась тесная группа громадных старых деревьев – возможно, на месте какого-нибудь имения или кладбища. Оттуда по невидимой за посевами дороге выехала телега с двумя седоками, и резвый гнедой жеребенок то забегал вперед, то отставал, с игривой радостью догоняя телегу. Молоковича нигде не было. Агеев раздосадованно опустил на измятую телогрейку, поудобнее устраивая раненую ногу, которая к вечеру стала болеть сильнее. Прошло уже немало времени после ранения, а осколочная рана выше колена заживала плохо, сильно досаждала в ходьбе, особенно болела ночью, и Агеев со все большей тревогой думал: не остался ли там осколок? Если остался осколок, то его дело плохо, с осколком рана вряд ли затянется, будет гноиться, еще приключится гангрена, тогда придется ему сыграть в ящик. Спустив до колен брюки, он ощупал намокшую повязку, от которой шел дурной, тошнотворный запах. Надо было перебинтовать ногу, но бинтов у них не было, вчера он разорвал на куски последнюю тряпку из линялого ситца в синий горошек. Это была женская кофточка, наверное, той остроглазой молодки, что хозяйничала на лесной сторожке километрах в тридцати отсюда. Когда они с Молоковичем, свернув с полевой дороги, подошли к этой сторожке, их встретил бешеный лай рыжей дворняги, долго из дома за тыном никто не показывался, а потом вышел мрачного вида, заросший черной бородой старик, и они попросили напиток. С этой просьбы они начинали всегда, когда приходило время позаботиться о пропитании или ночлеге, и по тому, как им выносили воду, решали и все остальное. Недовольный, сумрачный вид чернобородого деда не внушил им доверия, и Агеев моргнул Молоковичу раз и второй – мол, пойдем, чего дожидаться? Но тут на крыльце появилась молодая, не здешнего вида женщина в легкой кофточке, по-городскому на затылке повязанной косынке, она вынесла большую медную кружку холодной воды, которую они по очереди выпили до дна, и Агеев завел с молодкой разговор на тему «поесть». Молодка сдержанно пригласила их в дом, дед придержал рвущуюся дворнягу, и они вскоре оказались в прохладной обжитой горнице со свежевывытым полом из новых сосновых досок. Переступив порог, Агеев приятно удивился обилию цветов, роскошно зеленевших на подоконниках, табуретках, по углам и скамьям, густо заставленным горшками, словно в цветочной лавке, в которую он однажды забрел в Белостоке. Их накормили ячменной кашей на сале, напоили молоком, Агеев не прочь был заночевать тут и уже начал заигрывать с молодкой. Вдруг в ответ на какую-то его невинную шутку та невпопад зарыдала, да так безутешно горько, что оба они опешили. Когда она выбежала из хаты, суровый чернобородый дед объяснил: «Вот мужа ее... сына мово... убили; А она из России».

Ночевать они там не остались, у Агеева пропало к тому желание, а Молокович рвался к своим – оставалось три последних десятка километров, и его трудно было уговорить на отдых. Немцев в этом болотисто-равнинном краю не стало слышать, по-видимому, фронт прошел стороной, и они отправились в путь – до заката солнца прошли еще километров

восемь и заночевали на краю березнячка. Прошли, в общем, немного, но на большее и не рассчитывали – они порядком уже выдохлись. Поначалу, когда прорывались из окружения и пытались догнать линию фронта, шли день и ночь, отдыхая по часу в сутки, и просто валились на ходу без сна и с усталости. До перехода через железную дорогу их группа насчитывала пятьдесят семь человек, командовал ею майор из управления армии, бравый вояка с черными косматыми бровями, он торопил их, как только было возможно, чтобы догнать своих или перейти линию фронта. Но линии нигде не было, топографическая карта из двух листов у майора кончилась, и однажды в сумерках они наткнулись на какую-то моторизованную немецкую часть, которая своими вездеходами, мотоциклами и грузовиками запрудила всю окрестность. Им следовало бы повернуть назад или взять в сторону, в обход, но майор попер напролом, они ввязались в затяжной безуспешный бой на подступах к какой-то деревне, немцы тем временем подтянули силы и устроили такой тарарам, что из всей группы, наверно, только их двое и осталось, и то лишь потому, что они вовремя поняли промашку и ускользнули из-под немецкого огня в сторону. К утру они оказались на краю широкого, поросшего лозняком болота вдали от дорог, немцев тут можно было не опасаться, и оба почем зря стали честить майора, так глупо погубившего группу; Особенно зол был Молокович, которого ночью ранило пулей в плечо. Правда, рана была пушечной, пуля прошла по касательной, но все же рука болела и мешала как следует управляться с оружием. Агеев со своей недельной давности раной едва терпел после такой передрыги, идти мог с трудом, и тут они окончательно поняли, что фронта им не догнать. Именно тогда Молокович предложил круто свернуть к югу и пробиваться в знакомые места, к родному местечку, где у него оставалась мать с двумя малолетними детьми. А там будет видно. Агеев поначалу заколебался. Не очень ему подходило такое спасение, все-таки шла война, они были командиры, хотя и раненые, и отбившиеся от своей разгромленной части, но все же... «Смотрите, как хотите, – не очень настаивал Молокович. – А то как бы в плен не загреметь». Пленных они уже видели на шоссе под Лидой, сами чудом избежали плена, как-то увернувшись от немецких автоматчиков, прочесывавших поле боя, и Агеев решил. В тот же день свернули в сторону этого местечка.

Далеко над лесным горизонтом, закутанное в багряную дымку, заходило красное солнце, на поле стало прохладнее, жажда чуть убывла, а дрема, с которой Агеев изо всех сил боролся под этим кустом, прошла без остатка. Теперь он не боялся уснуть, он чутко прислушивался к редким малопонятным звукам, доносившимся сюда из местечка. Молодой женский голос несколько раз нараспев повторял что-то, и он догадался: это звали домой ребят. Однажды звучно крякнула низко пролетающая утка, и он встрепенулся от испуга – так измучился за день в тиши и ожидании. Близко раздавшийся протяжный коровий рев заставил его осторожно выглянуть из стеблей – по дороге к местечку гнали небольшое стадо из десятка разномастных коров. За стадом поднималось облачко пыли, давшее Агееву понять, что там проходила гравийка или большак, проселок бы так не пылил. Но за полдня там не видать было ни одной машины, и Агеев подумал: а вдруг немцы еще не добрались до этого местечка? Может, их там еще и нет. Это было бы здорово, в таком случае им бы наверняка повезло. Вот только куда запропастился Молокович?

С Молоковичем они были из одной части и перед самой войной недолго служили вместе. Такая была служба у старшего лейтенанта Агеева, особенно в тревожные недели кануна войны, что он мало находился в полку, разве заскакивал на нечастые полковые совещания, а больше пропадал на складах боепитания, своем и дивизионном, обеспечивал полк боезапасом. Работы у начбоя было по горло. Несколько видов патронов к стрелковому оружию, ручные гранаты всех марок, снаряды к полковым пушкам, винтовки, пулеметы, запчасти и ремонтная техника – все это перестраивалось, переиначивалось, реорганизовывалось на ходу, по-новому, согласно новым инструкциям и указаниям. Времени же на все было в обрез, штабы и командиры понимали это и спешили, не ведая ни сна, ни отдыха. Кровь из носа, а было приказано назапасить три БК [боекомплект] для всего вооружения и пять БК для противотанковых пушек. Наличные склады не вмещали всю

пропасть штабелей и ящиков, приходилось строить временные хранилища, возить за много километров строительные материалы, людей. Лейтенант Молокович прибыл в полк за три дня до начала войны после ускоренного выпуска из военного училища и был назначен командиром батальонного взвода связи. По службе в полку Агеев с ним почти не встречался, разве что несколько раз видел его во время полковых построений, этого тонкошеего лейтенантика в новеньком командирском обмундировании, с хрустящей портупеей через плечо. И уж никогда не думал начбой, что военная судьба сведет их вместе, да еще в такой горький час. Конечно, Агеев понимал, что он представляет собой немалую обузу для этого быстрого молодого лейтенанта, которому без него, наверное, повезло бы больше, он мог бы делать и по шестьдесят километров в сутки и, может, давно бы достиг линии фронта. Но он не мог оставить раненого Агеева, поддерживая его в пути, заботился о ночлеге и пропитании, сам едва смиряя свое молодое нетерпение. Агеев видел это, молчал и, в общем, был благодарен своему младшему другу.

Молокович пришел уже в сумерках. Агеев, не скрываясь, стоял во ржи, опершись на винтовку, и, услышав поблизости торопливые шаги, сделал попытку присесть. Но в тот же момент, закрытый по пояс рожью, откуда-то сбоку вынырнул Молокович.

– Фу ты!.. Думал, не дождусь, – сказал Агеев с явным облегчением и почувствовал, как сразу расслабился после продолжительного тревожного напряжения.

– Так, понимаете, в притемках лучше. Безопаснее, сами понимаете.

Молокович остановился перед Агеевым, устало сдвинул с потного лба непривычную, с длинным козырьком кепку; на нем уже был куцый поношенный пиджачишко со сморщенными бортами, какие-то вытянутые на коленях портки и калоши на босу ногу. Заметив, что Агеев оглядывает его, Молокович сказал:

– Переоделся. Чтоб лишне глаза не мозолить.

– А как немцы? – спросил Агеев о главном, что его сейчас беспокоило.

– Никаких вам немцев. Приезжали и поехали. Правда, полицию поставили.

– Вот как! И много?

– А черт их знает. Но есть. Школу и амбулаторию заняли. Это возле церкви.

– А пройти как?

– Да уж пройдем как-нибудь. И это... Понимаете, – Молокович отвел глаза, огляделся, и Агеев понял: что-то у него не заладилось. – Понимаете, у меня не очень... Ну, сосед в полиции. Так мы вам другое место сосватали. У тетки одной...

Агеев с облегчением вздохнул – у тетки, так у тетки, ему главное, чтобы подлечить рану, долго он тут не задержится. Все-таки положение их было неопределенным, с непредсказуемыми последствиями, и он старался много о том не думать. Главное, чтоб куда-нибудь скрыться, заползти в подходящую конуру, зализать раны, с которыми оба они не вояки. А потом будет видно. Потом они подадутся к фронту.

– Про фронт не слыхать?

– Говорят разное. Немцы передали, что уже Москву взяли, – неохотно ответил Молокович.

– Ого! Куда хватили!

– Всякое говорят. Но толком никто ничего не знает.

– Да... Ну что ж, пошли?

– погодите, – бодрее сказал Молокович. – Понимаете, с оружием не годится. С оружием останоят и... сами понимаете.

Агеев молчал, что он мог сказать? Конечно, попадаться с оружием ему не хотелось, но и расставаться с ним в такое время тоже было непривычно и боязно.

– Надо запрятать, – сказал Молокович. – Вот хотя бы и здесь. А что, куст – приметно.

– В земле?

– В земле, конечно. У меня вот холстина, завернем. На пока...

Агеев помолчал, подумал. Для него, который всю службу пекся о чистоте и исправности оружия, зарывать сейчас в землю винтовки было против совести. Но он

вспомнил, сколько их осталось на полях боев, на складах и базах, захваченных немцами, и только вздохнул.

Широким немецким тесаком он вырыл узкую канавку на самом краешке ржи под межей. Молокович обернул холстиной две винтовки – нашу, образца 91/30 года и новенькую немецкую с поцарапанной ложей, – они устроили их в ямке и уже в темноте засыпали сверху землей. Потом утоптали землю ногами, забросали травой.

– Ну а пистолеты уж мы как-нибудь, – сказал Молокович.

У них было два пистолета – наших вороненых «ГТ» с пластмассовыми накладками на рукоятках. Днем, уходя в местечко, Молокович свой оставил Агееву, а теперь подобрал с телогрейки и сунул в карман брюк. Потертую кожаную кобуру, размахнувшись, забросил подальше в картошку.

– Пошли!

Агеев подхватил телогрейку и, сильно хромя, пошел за товарищем. Уже вовсе, стемнело, вокруг в притуманенном пространстве поля было полно непонятных пятен и теней, вызывавших неясную тревогу в душе. Но Молокович уверенно шел по картофельной борозде впереди, Агеев старался от него не отстать. Но все-таки отставал, больная нога плохо слушалась и все время задевала за разросшуюся картофельную ботву, он оступался, не попадал в борозду и злился на себя, не решаясь окликнуть товарища.

Уже в совершенной темноте они подошли к крайним домам местечка, свернули на стежку. Где-то во дворах между деревьями посверкивал красный огонек и расходился щекочущий ноздри запах подгоревшей картошки, который напомнил Агееву, как он давно хочет есть. Но до еды, наверно, было еще далеко. Низко нагнувшись, они пролезли между двумя витками колючей проволоки и пошли по заросшей тропинке мимо чьей-то усадьбы с длинным дощатым забором, потом прошли берегом ручья под деревьями и в конце огорода вышли к дороге. Далее следовало перейти на ту сторону. Там домов больше не было, справа лежало темное поле, а впереди пучился разрытый пригорок, и Агеев не сразу рассмотрел в нем тот самый карьер, который потом сыграет столь роковую роль в его жизни. Но это гораздо позже, а в тот раз Агеев едва заметил его в темноте, они прошли вдоль каменной ограды кладбища под хмуро молчавшими в ночи деревьями и снова спустились по огородам в низкое сыроватое место, Похоже, овраг, заросший ольхой и орешником.

– Осторожно, держитесь за жердку, – предупредил Молокович, сам с осторожностью ступая на узкую доску кладки. Агеев благополучно перешел за ним через черный, шумевший внизу ручей и узенькой, потерявшейся в лопухах тропинкой на меже двух огорода вошел под низко нависшие ветки деревьев. Рядом темнели крыши каких-то построек. – Так... Пойдите тут.

Почувствовав, что их путь подходит к концу, Агеев вздохнул и с облегчением расслабил ногу. Молокович ненадолго исчез, и погода в отдалении послышался тихонький стук в окно, потом несколько невнятных слов. И вот он уже взял Агеева за руку и в кромешной, непроницаемой темноте куда-то повел через двор. Похоже, однако, они очутились в сарае, наткнувшись на что-то громоздкое, перелезли через высокий порог распахнутой двери. По-прежнему вокруг было совершенно темно, пахло душной смесью сарайной затхлости и сена или, возможно, каких-то сушеных трав и еще чем-то, чем пахнет обычно в старых непроветриваемых помещениях.

– Вот, идите сюда...

Наткнувшись в темноте на Молоковича, Агеев нащупал возле себя что-то похожее на топчан и устало опустился на шуршащий сенник, покрытый жесткой дерюжкой.

– Ну, вот и добро. Тетка Барановская накормит.

– Ладно. Спасибо...

– И не беспокойтесь. Все хорошо будет.

– Ну что ж...

Тетка, похоже, также находилась тут, но она не произнесла ни слова, и Агееву стало неловко – все-таки хотелось знать, как она отнесется к такому постояльцу. Ведь могла и не

согласиться, и запротестовать или хотя бы затаить недовольство в душе. Но тетка молчала, и Молокович тихо спросил, обращаясь в темноту:

– Поесть найдется чего?

– А там стоит, – послышался немолодой сдержанный голос, который вовсе не развеял опасений Агеева, скорее усилил их, таким он казался сухим и даже раздраженным.

– Ах, вот тут... Хлеб, огурцы. Вот перекусите... Ну так лежите. На днях повидаемся, – тихо сказал Молокович.

– Добро.

– Так до свидания, начбой!

Как-то совершенно неслышно, не стукнув и не скрипнув ничем, оба они ушли, вокруг стало тихо и глухо, и Агеев впервые подумал, не окажется ли это пристанище западной. Всегда он очень боялся, как бы силою обстоятельств не оказаться загнанным в угол без малейшей возможности к победе или отступлению. Но вот, похоже, оказался именно в такой ситуации. Что стоит этой тетке Барановской позвать полицаев, и его, хромого, скрутят в два счета, сведут в полицию. Могут застрелить, могут отправить в лагерь для военнопленных. Конечно, тетка о нем ничего не знала, он не сделал ей ничего скверного, но ведь своя рубашка каждому ближе к телу, особенно в такой час. Зачем рисковать головой этой молчаливой тетке, которая наверняка знает, что ей грозит за укрывательство пришедшего красноармейца.

Совершенно загнанным и беспомощным почувствовал он себя в эту летнюю ночь с гноящейся раной, по доброй воле или по глупости давший себя запереть. Правда, у него был пистолет и два полных магазина к нему, на худой конец, можно было застрелить пару немцев и себя пристрелить тоже. Ну, а если до этого не дойдет, как тогда? Как следовало держать себя перед полицаями, за кого выдавать? На нем была командирская форма, сильно заношенная и засаленная гимнастерка и синие диагональные бриджи, портупею он сбросил, когда они остались вдвоем с Молоковичем, но на красных петлицах было три прежних эмалевых кубаря – за кого же он мог себя выдать? Молокович предусмотрительно переоделся; на время, разумеется, по-видимому, будет разумнее переодеться в гражданское и ему, но много ли поможет гражданская одежда? Наверно, к ней нужны еще и гражданские документы, а где их взять?

Предчувствие скверного овладело Агеевым в этом темном закутке. Скоро, однако, чувство голода взяло верх, он нащупал на низком столике-ящике кусок черствого хлеба, несколько огурцов в миске и с жадностью стал есть, хрустя огурцом, пока от хлеба не остался маленький кусочек, наверно, его следовало бы оставить на завтра, подумал Агеев. Тем не менее он не мог остановиться и незаметно для себя сжевал все без остатка.

Похоже, тут же и уснул – забылся тревожным, тяжелым сном до рассвета.

Раскрыв утром глаза, Агеев увидел над собой низкий, сколоченный из горбылей потолок, из таких же горбылей были и стены, светившиеся теперь множеством щелей и дыр. Агеев огляделся. Это был крохотный сарайчик-временка, пристроенный к бревенчатой стене хлева или сеней, куда вела низкая дощатая дверь, запертая на деревянную щеколду-закрутку. В одном конце его помещался топчан, на котором он проспал ночь, с покрытым дерюжкой ящиком возле ног, в другом лежал ворох свежего сена, и у стены сидела на гнезде серая курица, одним глазом пристально наблюдавшая за ним. В многочисленные щели бил солнечный свет, кое-где снаружи проглядывало освещенное солнцем сорное разнотравье, буйно разросшееся в огороде. Было тепло, покойно, где-то вдали прокричал петух. Агеев попытался встать и едва не вскрикнул от боли – повязка на ноге сбилась, штанина присохла к ране. Он сел на топчане и, спустив брюки, обнажил болезненную, ставшую как бревно ногу, которая вся вздулась, побагровела выше колена; по грязной, в подтеках коже из раны сползло несколько мутных капель. Он стер их ладонью и вдруг испуганно замер: в неровных, набрякших гнилой сукровицей тканях шевелился крошечный белый червь, рядом другой. Агеев с испугом раздвинул подсохшие края раны и увидел в ней множество крохотных шевелящихся тварей. Содрогаюсь, будто в ознобе, он кончиком соломины стал выколупывать их, то и дело стравивая на пол. Его не покидало испуганно-брезгливое чувство оттого, что

живое человеческое тело пожирали эти копошащиеся паразиты. Но что он мог сделать? Все последние дни их бесприютного блуждания по лесам и дорогам у него не было даже бинта, чтоб перевязать рану, так вот и шел по жаре, нога с каждым днем распухала все больше, гноилась; не удивительно, что в ране завелись черви.

Слегка подрагивающими руками Агеев поправил повязку, перевернув тряпку сухой стороной, напряженно размышляя при том, как ему быть с этой раной, как лечить ногу. Без Молоковича он ничего не сделает, но вчера они даже не условились, когда Молокович навестит его снова. Видно, понадобится доктор. Только найдется ли тут какой-нибудь лекарь, на которого можно было бы положиться?

Стараясь не очень возиться на сеннике и не шуметь, он беспрестанно вслушивался во все звуки снаружи. Но снаружи вроде все было тихо. Вдруг совершенно неожиданно для него дверь растворилась, и через порог переступила маленькая пожилая женщина в длинной юбке и темном, низко повязанном платке, чем-то напомнившая ему монашку. Обе ее руки были заняты ношей – закопченным чугуном, из которого приятно запахло свежесваренной, с укропом картошкой. Агеев осторожно подобрал раненую ногу.

– Вот завтрак вам, – сказала женщина, сухо поздоровавшись, и Агеев догадался, что это его хозяйка.

– Спасибо.

– Кали ласка. Молоко в кувшине.

– Спасибо.

Он думал, что она задержится, спросит о чем-либо или что-либо скажет, но тетка быстренько и молча повернулась к двери. Боясь, что он ее не скоро увидит, Агеев поспешно окликнул:

– Одну минутку! Если можно.

Хозяйка обернулась. Ее маленькое сморщенное личико с плотно поджатыми губами мало что выражало, и лишь во взгляде промелькнула твердость, близкая к суровости.

– Понимаете, мне бы доктора. Рана у меня, понимаете?..

Мельком взглянув на его вытянутую вдоль топчана распухшую ногу с мокрым пятном на продырявленной осколком штанине, хозяйка тихонько вздохнула и молча выскользнула из сарайчика, плотно притворив за собой дверь. Недоуменно выждав минуту, Агеев потянулся к ящику в ногах, где дразнящими запахами исходила горячая картошка.

Завтракая, он старался не думать о ране, но и не мог отделаться от скверного, испуганно-брезгливого чувства, вызванного ее осмотром. Беспокойство его не проходило, думалось разное, но больше тревожное, с печальным концом. Если бы не эти черви, то с болью он бы как-нибудь сладил, боль уже потеряла остроту, он к ней притерпелся, ходить было трудно, но можно – прошел же он километров сто двадцать, наверно, смог бы пройти и еще. Но как бы не началось заражение, если завелись черви. К тому же в ране мог остаться осколок, а с ним дело плохо, с осколком хорошего не дожидаться. Как бы не застрять тут надолго или вообще не сыграть в ящик. Он все время прислушивался к разрозненным, порой неясным, обманчивым звукам извне – ждал хозяйку. Должна же она зайти в этот закуток, как-то помочь ему. При этих мыслях он с грустью усмехнулся: дожил, называется, начбой – до полной зависимости от какой-то местечковой тетки! Но ведь действительно все теперь складывалось так, что судьба его определялась отношением к нему этой тетки. Превратная военная судьба, поставившая в его жизни все с ног на голову. Да и только ли в его жизни?

Запивая простоквашей из кувшина, он быстро проглотил картошку, дожевал хлеб – в этот раз всего небольшой ломоть. Поблизости все было тихо, за стеной лежал огород, обросший по межам лопухами и крапивой, улица была в отдалении, на том конце усадьбы, и с нее почти не проникало сюда никаких звуков. В покойной тиши дома он сразу услышал осторожные шаги в сарае – дверь нешироко приотворилась.

– Вот переодеться вам.

Хозяйка положила на конец его топчана небольшой сверток, развернув который, он обнаружил черную сатиновую рубаху, красиво вышитую по воротнику синим шелком. «Что

ж, спасибо!» – в мыслях запоздало поблагодарил Агеев, так как тетка уже скрылась за затворенной дверью. Пожалуй, она была ему в самый раз, эта нарядная сорочка, но он помедлил снимать свою измятую пропотевшую гимнастерку, столько вынесшую вместе с ним за лето. Это было обычное хабэ с накладными карманами и красными командирскими петлицами, в которых мерцало по три рубиновых кубика. Третий кубик привинтил только за три месяца до начала войны, а ждал его три долгих года – в течение всей своей командирской службы после училища. На рукавах краснели углами галуны-нашивки, соответствующие его званию. И вот от всего этого приходилось отказываться, менять на какую-то гражданскую рубаху с цветочками по воротнику. Но, видно, поменять придется, иначе как ему выйти отсюда в этом его командирском обмундировании?

Он решительно стянул с себя гимнастерку, выбрал из карманов документы, подумав, сунул их под сенник. Потом накинул мягкую, приятно облегающую тело рубаху, ворот застегивать не стал, подпоясываться тоже. Гимнастерку вместе с ремнем и пистолетом положил в изголовье. Теперь из военного обмундирования на нем оставались только темно-синие командирские бриджи. Разношенные яловые сапоги вполне могли сойти за гражданские, о сапогах он не беспокоился. А о брюках побеспокоиться все же придется, брюки могли его подвести.

Ему давно хотелось выйти во двор, но он медлил в нерешительности, прислушивался. Было неизвестно, кто тут обитает поблизости, кто еще есть у этой Барановской. Кого ему следовало опасаться? Все-таки нелюдимая она какая-то, эта его хозяйка, подумал Агеев, нет чтобы рассказать самой, видно, придется расспрашивать. Расспрашивать он не любил, особенно малознакомых. Впрочем, как и рассказывать о себе. Общение без нужды не доставляло ему удовольствия, наверно, под стать ему попалась и его хозяйка.

Он еще не набрался решимости покинуть на время свое пристанище, как за стеной в сарае послышалось движение, сдержанные голоса, дверь широко растворилась, и через высокий порог перешагнула немолодая полногрудая женщина в черном жакете, с собранным на затылке узлом седоватых волос. Испытующе взглянув на него, она густодохнула махорочным дымом от самокрутки в зубы и поставила на ящик небольшой обшарпанный саквояжик.

– О, где он устроился! Хорошо, свежий воздух, правда? Ну, здравствуй, парень!

– Здравствуйте, – слегка смущенно сказал Агеев, приподнимаясь на топчане. Он не сразу понял, за кого она его принимает, но ее простота в обращении настраивала на легкий, общительный лад.

Хозяйка молча стояла у порога, незнакомка еще раза два второпях затянулась и, бросив окурок наземь, старательно затерла его ботинком.

– Ну так что? Болечка?

– Да вот немножко, – сказал Агеев, догадываясь, что, по-видимому, это докторша.

– Немножко – пустяки. Теперь немножко не считается.

Подойдя к топчану вплотную, она обхватила его ногу у щиколотки и резко согнула в колене. Агеев дернулся от боли.

– Да-а, – неопределенно сказала женщина. – Барановская, несите воды.

– Теплой?

– Горячей. И полотенце тоже.

– Сейчас принесу, Евсеевна.

Хозяйка выскользнула за дверь, Евсеевна, раздумывая, выждала немного и, изучающе уставясь на него, спросила:

– Военный?

– Военный, – сказал Агеев, глядя в ее настырные, казалось, всевидящие глаза. Под взглядом таких глаз говорить неправду было рискованно, он почувствовал это сразу.

– Ох-хо-хо, хо-хо! – горестно произнесла женщина, скорее, однако, в ответ на какие-то свои мысли. – Ну, снимай штаны.

– Совсем?

– Совсем. Чего стесняешься? Или больно стеснительный?

– Да я ничего, пожалуйста, – сказал он и, сидя, с преувеличенной решимостью стащил измятые брюки.

Евсеевна тем временем раскрыла свой саквояж, позвякивая инструментами, достала большие ножницы. Он принялся развязывать свою повязку, но докторша, ловко поддев ее, разрешила пополам и безглаголиво отбросила в сторону.

– Да-а, картинка!

– Картинка, – согласился Агеев. – И, знаете, черви!

Он думал, что это его сообщение удивит или даже встревожит докторшу, однако на полном нахмуренном лице ее с темными усиками над верхней губой не дрогнула ни одна жилка, видно, ее занимало другое.

– Червячки – это ерунда! – сказала она, несколько раз ковырнув рану длинным пинцетом. – Червячки – это даже неплохо.

«Что же может быть хуже?» – раздраженно подумал Агеев.

– Но, знаете, я испугался...

– Не надо пугаться. В жизни вообще вредно пугаться. В войну тем более. Вот так, молодой человек!

– Это конечно.

– Вот именно. Осколок? – она снова, испытующе посмотрела ему в глаза.

– Осколок.

– Это похуже. Придется рассечь.

– Что рассечь? – не понял Агеев.

– Рану, конечно. Барановская! – хриплым баском позвала докторша, обернувшись к двери.

Молча зайдя в сарайчик, хозяйка поставила наземь чугунок с водой, положила на ящик чистое полотенце и отступила к двери, спрятав под темный передник маленькие сухие руки. Евсеевна отерла полотенцем вокруг раны, Агеев слегка поморщился – прикосновение ее руки отозвалось ощутимой болью.

– А ну ляг и отвернись, – приказала докторша. – Нечего смотреть, не маленький.

Он вытянулся на топчане, слегка отвернув голову, вперив взгляд в щелястую стену. Евсеевна готовилась к операции – остро запахло лекарством, нашатырем, звякнули металлические инструменты в саквояже.

– Сейчас мы таво... Это дело простое. Не успеешь почувствовать...

Острая боль в ране до кости пронизала ногу, Агеев дернулся, скрипнул зубами.

– Что, больно? – недовольно оборвала его стон Евсеевна. – Не ври! Это не больно. Это ерунда, комариный укус.

Он снова дернулся от такой же пронизывающей боли, но удержал себя, чтобы не застонать, закусил губу.

– Так, так... это ерунда... Да, тут набралось... Почистить надо. Так, это туда, это сюда... – приговаривала Евсеевна, ковыряясь в ране, и Агеев собрал в себе все силы, чтобы стерпеть без стога. Больно было зверски, всю ногу до кончиков пальцев резала глубинная боль, но, кажется, он стерпел. – Во-о-о-от! – довольно протянула докторша. – А теперь будет немножко того... Вроде комариного укуса будет. Может, чуть-чуть больше.

Не сразу сообразив, что она имеет в виду, Агеев на секунду расслабился, и в тот же момент резкий болевой удар мощно отдался во всем теле. В глазах у него померкло, он напрягся, обеими руками вцепившись в края топчана, словно боясь сорваться с него. И новый удар повторил прежний, потом что-то в ноге потянулось, напряглось и вдруг разом высвободилось.

– Вот, полюбуйся, какая железяка!..

Весь в холодном поту, Агеев приподнял голову – Евсеевна в кончике пинцета держала перед ним небольшой продолговатый осколок с зазубренными краями.

– Хорошо, что кость не задел. Еще бы на сантиметр – и плохо было бы твое дело,

сынок, – сказала Евсеевна и швырнула осколок в угол за сено.

Агеев лежал, к своему удивлению, совершенно лишенный сил, отирая с лица обильно стекавший пот, руки его мелко тряслись, и он едва выдавил из себя «спасибо». Хозяйка его, которая в течение всей операции стояла за спиной докторши, все приговаривала что-то, чего он не мог слышать, и Евсеевна ее оборвала:

– Да перестаньте вы, Барановская! Больно! Что это за боль! Для такого мужика!

– Что ж, что мужик? Всем больно, – тихо отозвалась Барановская.

Докторша между тем обрабатывала рану. Бросая на пол окровавленные клочки ваты, обтерла ногу, потом засунула в свежий разрез раны мокрый ледящий тампон и, ловко орудуя сильными руками, туго перевязала бедро.

– Вот так! Скоро танцевать будешь.

Побросав в раскрытый саквояж инструменты, она присела в ногах и принялась сворачивать сигарку. Барановская тем временем прибрала чугунок, полотенце и, хотя было тепло, накинула на обнаженные ноги Агеева старенький вытертый кожушок.

– Это что за боль! – выдохнула Евсеевна густым дымом. – Вон Султанишку молодую спасала. Полночи возилась, пришлось сечение делать. С этими вот инструментами! Парень на пять кило вывалился, а Султанишка, вы же знаете, – муха! Соплей перешибешь.

– Жить хотя будет? – насторожилась Барановская, хмурясь своим морщинистым личиком.

– Ни черта ей не сделается. Бабы живучие.

– Не говорите, Евсеевна. Бабы ведь тоже люди.

– Люди, конечно! – вздохнула докторша. – Но теперь вон беречь мужиков надо. Война идет!

– Беречь всегда всех надо. Каждому одна жизнь суждена, – сказала Барановская мягко, но с заметной убежденностью, на которую докторша уже не возразила.

– Если бы ваши слова да богу в уши. Чтобы он остановил этих варваров.

– Он не остановит. Это уже дело мирское.

– Вот я и говорю. Мужики должны, – сказала докторша и умолкла.

Агеев глядел сбоку на полную, грудастую фигуру Евсеевны и не знал, как благодарить эту женщину. Он уже понял, что она акушерка. И, если бы он понял это сразу, еще неизвестно, дался ли бы он ей для операции. Но теперь, так или иначе, дело было сделано, самая острая боль осталась позади, а главное – извлечен осколок, который едва не оставил его без ноги...

– Спасибо, доктор, большое...

– Не за что. Бог отблагодарит. Да вон Барановская. А ну, гражданка, гоните десяток яиц, – с нарочитой грубоватостью сказала Евсеевна и засмеялась.

– Яиц нет, всего одна курочка осталась, но чего-нибудь поищу, – подхватила хозяйка. Однако Евсеевна тут же остановила ее грубым голосом:

– Ладно, не старайтесь! Обойдусь без яиц. Вон у вас есть кого яйцами кормить.

Нешадно дымя самокруткой, она повернулась к двери, но, прежде чем выйти, вынула изо рта сигарку.

– Ну, поправляйся. На днях загляну. Перевязка потребуется.

Он кивнул на прощание, и обе женщины вышли, впереди самоуверенная Евсеевна, за ней черной мышкой бесшумно прошмыгнула его хозяйка. Агеев остался один. В сарайчике потемнело, лучи в щелях исчезли, солнце, наверно, повернуло за угол. Нога зверски болела от колена до верхушки бедра, но теперь появилась надежда, и он думал, что, может, еще как-нибудь обхитрит судьбу и вырвется из ее кровожадных когтей.

Остаток того дня он мучительно боролся с болью, которая властно охватила всю ногу – от стопы до бедра. Его стало познабливать – похоже, начинался жар. Кажется, так не болело даже в первые часы после ранения, или, быть может, в горячке разгрома он не замечал боли, все время находясь в действии, в лихорадочной смене событий. Теперь же события отошли в прошлое, Агеев обрел хотя и тягостный, но все же относительно безопасный покой, и

потревоженная рана отозвалась резкой злой болью. После ухода Евсеевны он глубже натянул на себя кожушок и так и лежал в полудреме, временами содрогаясь от озноба. Дверь несколько раз тихонько приотворялась, но он не раскрывал глаз, и дверь опять бесшумно затворялась – тетка Барановская не хотела его тревожить. Однажды, раскрыв глаза, он обнаружил на ящике в ногах прикрытую чистой тряпицей миску, горбушку хлеба возле нее, но подниматься не стал, было не до еды. На несколько минут он забылся или заснул горячечным, полным знойного тумана сном и опять проснулся оттого, что, как ему показалось, в сарайчик кто-то вошел. Он поднял странно отяжелевшие веки и не сразу понял, что это хозяйка, которая, сцепив на переднике руки, тихо спрашивала:

– Может, вам супчику сварить? Картошки?

– Нет, спасибо. Водички...

– Водички? Я сейчас.

Она выскользнула из сарайчика, и Агеев снова заснул или впал в забытие, когда действительность тонет в туманной суете теней, откуда-то из дальних закутков памяти выплывает прошлое, все странно перемешивается в мутном сознании, лишая его конкретности и определенности. В этом тумане откуда-то вышел командир стрелкового полка майор Попов, который неизвестно куда пропал во время их ночного прорыва из-под Лиды. Теперь он был в полной командирской форме с двумя кавалерийскими портупеями на плечах, планшеткой, противогазом на широкой матерчатой ляжке через плечо и решительно командовал батальонами, стоя по пояс в ровике на высотке с кустарником. Агеев, находящийся тут же, несколько раз порывался доложить майору, что их окружают немцы, но почему-то не мог найти в себе силы произнести эти несколько слов, а майор гневно распекал кого-то за перерасход боеприпасов, за то, что стреляли, черти, не по тем мишеням. Между тем Агееву было видно, как по полю бегут немецкие автоматчики, они были уже рядом, а майор все не мог замолчать, и у Агеева словно отнялся язык – он не мог произнести ни слова. Он очень страдал, мучительно переживая свою непонятную немощь в предвидении того, что неминуемо должно было произойти на КП. Чтобы не стать свидетелем катастрофы, усилием воли он вырвал себя из сна и с облегчением понял, что все это было за пределами действительности, все неправда, потому что приснилось.

За стенами его сарайчика, похоже, смеркалось, постепенно догорал летний день, в сумерках едва брезжили низкий прямоугольник двери в стене, несколько посуды на ящике в конце топчана, среди которых он различил кувшин и кружку. Очень хотелось пить, во рту все иссохло, но, кажется, озноб миновал, и он попытался встать, чтобы напиться. Это ему удалось, хотя и не с первой попытки. Стараясь как можно меньше тревожить ногу, он дотянулся до ящика, напился из кувшина, потом обессиленно откинулся на топчане и прикрыл глаза.

С майором Поповым у него были непростые отношения. Иногда Агееву казалось, что злее человека, чем их командир полка, трудно отыскать на свете, иногда майор производил такое сердечное впечатление, что хотелось общаться с ним, не расставаясь. Он весь был на виду, этот майор Попов, и свои эмоции всегда выражал с предельной естественностью, хотя частая и резкая смена их, особенно в боевой обстановке, нередко озадачивала подчиненных. Впрочем, в те дни, когда он командовал полком, подчиненных в гораздо большей степени озадачивала обстановка, в которой оказался полк, дважды занимавший оборону и дважды оставлявший ее к концу дня. Немецкая авиация жестоко бомбила тылы, дивизия лишилась снабжения, и, когда к исходу третьего дня стало ясно, что они в окружении, все перемешалось и перед фронтом полка, и что особенно было скверно, в ближних тылах, забитых отступающими частями, тыловыми подразделениями, гражданским населением, бегущим от немцев. Полк нуждался в боеприпасах, и после длительных поисков в ближних тылах Агееву удалось наткнуться на неизвестно кому принадлежавший артсклад, расположенный в укромном, очевидно, пустующем фольварке, который, однако, нещадно бомбили немцы, что, впрочем, и указало на него Агееву. Свернув на полуторке с пыльной гравийки, Агеев подъехал к этому фольварку, когда там все горело – хозяйственные и жилые

постройки, конюшни, поодаль в дымящихся развалинах лежал каменный дом, и немецкие самолеты, учинившие этот разгром, один за другим уходили над лесом на запад. Остановив в начале липовой аллеи свою полуторку, Агеев побежал разыскивать начальство склада, но нигде никого не мог отыскать, длинные штабеля боеприпасов в конце яблоневого сада были разбиты и разбросаны среди деревьев, некоторые горели, и всюду стлался горький удушливый дым пожарища. Вдвоем с водителем автомашины Агеев принялся таскать из обгоревшего штабеля ящики с винтовочными патронами, прихватил несколько ящиков гранат, которые ему подвернулись под руку. Однако не успели они загрузить и половину машины, как самолеты налетели снова. Передний пикировщик, включив сирену, с оглушающим воем ринулся на горящий фольварк и высыпал серию бомб на еще уцелевшие штабеля боеприпасов. Другие сыпанули свой груз на аллею, где в тени лип пряталось несколько пустых грузовиков; две машины сразу же загорелись, одна была отброшена взрывом с дороги и завалилась набок в канаве. Сотрясаая воздух, взрывы бомб, казалось, до преисподней взламывали землю, в воздухе носилась пыль, опалили комья земли, вихрями взмывала опаленная листва лип. По существу, это была первая серьезная проба огнем, в которую попал Агеев; порой страх в нем граничил с ужасом, близкие разрывы бомб причиняли прямо-таки физическое страдание. Агеев начал забывать, где он и что с ним происходит, и только в глубине его смятенного сознания жило, ни на минуту не покидая его, чувство цели, невыполненной задачи, которую он должен выполнить. И он, то падая, то вскакивая, отбрасываемый в стороны разрывами, все-таки загрузил машину в беспорядке набросанными в кузов ящиками и погнал ее в полк. На его счастье, водитель попался с опытом – немолодой уже человек, прошедший войну с белофиннами. Сцепив зубы, он безропотно выполнял все команды Агеева и уверенно вел машину по разбитой дороге. В поле их обстреляли, несколько минных разрывов по обе стороны от дороги обсыпали машину комьями земли, но все-таки они благополучно проскочили открытое место и вскоре достигли деревни, которую оборонял полк. На скотном дворе с оборою [коровник] их уже ждали подносчики боеприпасов из батальонов, сразу же обступившие машину. Но не успели они ее разгрузить, как деревня подверглась жесточайшему артобстрелу – хорошо, что под каменной стеной обороны были вырыты щели, в одной из которых нашли пристанище Агеев и шофер. Он уже не надеялся остаться в живых. Два снаряда попало с противоположной стороны в сбору, но ее каменные стены выдержали, защитив собой бойцов в щелях и даже полуторку, предусмотрительно подогнанную к самой стене. Когда все немного утихло и бойцы повывлезали во двор Агеев стал приводить себя в порядок, отряхиваясь от пыли и песка, набившихся во все складки одежды. В это время возле обороны появился молодой красноармеец с винтовкой, в высоко накрученных на худые голени обмотках – командир полка вызывал его на КП. Командный пункт майора Попова располагался на той стороне деревни, в конце огорода, прошлой ночью Агеев ходил туда и теперь по истоптанным и изрытым воронками грядкам побежал напрямик к знакомому ровику под двумя грушами.

Командир полка был в глубокой запыленной каске, скрывавшей глаза, но по тому, как вся его тщедушная фигурка в ровике напряглась при виде подбежавшего Агеева, тот понял, что этот вызов добром для него не кончится. Сзади в деревне снова начали рваться мины, слышался залихватистый стук пулеметов в поле, частая стрельба, особенно справа, где к ржаному полю близко подступала сосновая опушка леса. Агеев свалился в ровик рядом с командиром полка и не успел еще доложить о прибытии, как майор сразил его убийственно грубым вопросом:

– Ты начбой или тупая жопа?

Агеев молчал, лихорадочно соображая, где допустил промах, а командир полка все с большим ожесточением повторял свой скабресный вопрос. И тогда стало ясно, что отвечать на него нет надобности – следовало молча получить взыскание. Но за что? Начальник штаба полка, оторвавшись от телефона на дне ровика, также с гневным осуждением сообщил:

– Во втором батальоне тоже – два ящика с рукоятками и ни одного с головками.

Наконец Агеев понял, где допустил оплошность, которая ему может дорого стоить: не

разобравшись, он погрузил в машину несколько ящиков с рукоятками от «РГД», ящики же с головками остались на складе, наверное, в другом или разбомбленном штабеле. Согласно инструкции хранения боеприпасов в мирное время обе части разборных гранат надлежало держать раздельно – во избежание диверсии.

– Вы обезоружили полк! Вы сорвали оборону! Вас надо под трибунал! Я вас сейчас расстреляю!..

Майор схватился за кобуру, пытаясь выдернуть из нее пистолет. Агеев, не шелохнувшись, стоял напротив, готовый принять любой приговор, он и в самом деле не находил себе оправданий. Но в этот момент начштаба склонился к телефонному аппарату и встревоженным голосом окликнул командира полка:

– Вас ноль-первый!

Агеев не знал, кто был ноль-первый, но сразу почувствовал, что это была передышка, почти спасение. Майор с пистолетом в одной руке потянулся к трубке, а начштаба решительным жестом дал Агееву знак, чтобы тот немедленно убирался. Не заставляя себя уговаривать, начбой, пятась, перешагнул через склоненную спину связиста и скрылся за поворотом ровика. Потом он выпрыгнул на открытое и по истоптанному огороду побежал к сборе. Он уже знал, что должен был сделать, чтобы если не обелить себя целиком, так хотя бы смягчить приговор майора Попова.

Обстрел деревни между тем продолжался, мины с душераздирающим воем проносились над головой и рвались между хат, на огородах и особенно густо на выезде из деревни, где находилась его полуторка. К счастью, она была цела, и Агеев, крикнув водителю, вскочил в кабину. Они быстро развернулись на закиданном землей скотном дворе и, не обращая внимания на обстрел, понеслись по гравийке к горящему за лесом фольварку.

На этот раз немецких самолетов здесь не было, хотя не было уже и фольварка, на месте аллея лежал бурелом из обломанных и вывороченных с корнями лип, весь сад был изрыт воронками, уцелевшие яблони стояли с голыми, без листьев ветвями; штабеля под ними частью сгорели, частью взорвались, вокруг валялись снаряды, латунные гильзы, упаковка, доски от тары. Но какая-то часть боеприпасов все-таки уцелела, и Агеев, подбежав к остаткам штабелей, порадовался: оказывается, не так просто даже для авиации уничтожить большой склад боеприпасов. Они с шофером побежали по разметанным завалам всевозможных ящиков со снарядами, противотанковыми и противопехотными минами, размотанными лентами крупнокалиберных зенитных патронов, которые им были ни к чему. Агеев старался найти знакомые зеленые ящики с головками от «РГД», но их нигде не было – может, взорвались, а может, прихватили по ошибке из других полков. И тут на краю обгоревшего с угла штабеля он увидел деревянные ящики с черной маркировкой, это были гранаты «Ф-1», или, как их называли бойцы, «лимонки». Обрадовавшись неожиданной находке, он крикнул шоферу и, подхватив в обе руки по ящику, побежал к машине.

Этими гранатами они загрузили почти весь кузов полуторки, вдобавок прихватили несколько ящиков винтовочных патронов и снова рванули по разбитой гравийке к своему полку.

Тем временем день незаметно перешел в вечер, поля подернулись сизой туманной дымкой. За лесом в стороне деревни грохотал сильный бой, и, как показалось Агееву, в этот раз почему-то ближе, чем днем. Скверная догадка осенила его, но, еще боясь поверить в нее, он остановил машину на обочине в небольшом соснячке, где поодаль от дороги окапывались несколько красноармейцев, и выскочил из кабины. На его вопрос, из какой они части, первый боец, ничего не ответил, словно немой, глядел на него исподлобья, второй сказал, что это военная тайна, которую он не может разгласить незнакомому командиру, и только третий, стриженный белобрый боец, видно, признав его, объяснил:

– Да из второго батальона мы, товарищ начальник боепитания.

– Как из второго? Второй батальон был в деревне.

– Был, да отступил. В окружении мы.

«Вот те и раз! – сокрушенно подумал Агеев. – Час от часу не легче!» Он побежал вдоль

цепи и вскоре от знакомого командира роты узнал, что второй батальон по приказу отошел из деревни, а первый и третий почему-то замешкались, не успели выполнить приказ и теперь ждут темноты, чтобы прорваться из кольца. Командир со штабом полка тоже находится в деревне, готовит прорыв; второй батальон будет прикрывать их из этого соснячка.

Агеев мог бы раздать боеприпасы бойцам здешнего батальона, у которых их тоже было не густо, но чувство вины перед командиром полка за утреннюю промашку заставило его думать, как прорваться в деревню. Было, однако, ясно, что, пока не стемнеет, сделать это вряд ли удастся, значит, надо дожидаться ночи. Но и в темноте – обманут ли они немцев, которые наверняка перекрыли дорогу? А если на полном ходу, на авось? «Авось» было испытанным средством, которое помогало, когда ничто другое уже помочь не могло. И Агеев решился. Надо было только уговорить шофера, от которого в этой попытке зависело все.

Они стояли на дороге возле машины, и, когда он сказал об этом шоферу, тот ничего не ответил, помолчал, поглядел в одну сторону, в другую, прислушался. За лесом и полем, где располагалась деревня, громыхал бой, вверху над соснячком временами пронеслись огненные трассы, ему оставалось проскочить каких-нибудь два километра, но на любом метре их могла настичь смерть. Агеев уже подумал, что шофер возразит, как тот вдруг спросил:

– Сейчас ехать? Или погодим?

– Нет, не сейчас. Надо подождать, – обрадовался Агеев. – Еще полчаса, час – как стемнеет.

И вот наконец стемнело, прошло и еще минут двадцать. Стрельба в деревне вроде стала утихать, наверное, скоро два батальона полка начнут прорываться из окружения. Тянуть дальше было нельзя, и, кое-как успокоив себя, Агеев вскочил в кабину к уже сидевшему там водителю.

– Значит, так! Сначала потихоньку, а потом полный газ! Я скажу когда.

В совершеннейшей темноте они медленно тронулись по дороге, не включая фар, выехали из соснячка в чистое поле, где их днем обстреляли минометы и где теперь уже сидели немцы. Агеев высунулся из кабины и впился глазами в ночную темень, но в поле ни черта не было видно. Впрочем, не было видно и дороги, и он опасался, как бы шофер ненароком не угодил в кювет. Но шофер с особым, присущим только водителям чутьем и в темноте точно держал дорогу, тяжело нагруженная машина качалась на ухабах, двигатель безбожно громко ревел, и Агеев, сжав зубы, ждал первой очереди в бок, в лоб или сзади. Но очередей не было. Они проехали, может, километр или чуть больше, и тогда их кто-то окликнул с поля. Агеев не разобрал, что это был за крик – своих или немцев, – он только понял, что следом будет очередь, и, стукнув с размаху дверцей, крикнул шоферу:

– Гони! Быстро!

Машина рванула, его бросило в сторону, потом в другую, показалось, что они опрокидываются, но как-то выровнялись, и машина помчалась куда-то в темень. Сзади еще несколько раз крикнули, а потом ударила сверкающая очередь, обгоняя машину, понеслась по обеим сторонам дороги. Агеев испуганно шарахнулся, мелкое крошево стекла обсыпало грудь и лицо, резко звякнула металлическая обшивка кабины, но машина мчалась...

И, только когда, скрепящаясь над машиной, из разных мест ударили светящиеся разноцветные трассы, машина стала резко сбавлять ход, забирая в сторону, к самой канаве. Агеев схватился за руль, стараясь вывернуть его вправо, но руль почти не поддавался, намертво зажатый в руках водителя, который навалился на него грудью и молчал. И тут машина остановилась.

Агеев вывалился из кабины, хватаясь за пистолет, едва не угодил на какого-то человека в кювете, который с сердитым матом увернулся от его каблуков, и Агеев понял: свои.

Да, это были свои, а тот человек, которого он едва не сшиб, был начальник штаба первого батальона старший лейтенант Корбовский. Они оба тут же бросились на ту сторону машины, выволокли из Кабины грузное тело водителя и тотчас опустили его на землю.

Помощь водителю уже не понадобилась. Немцы в поле запоздало светили ракетами, но стрельбу прекратили. В промежутках темноты бойцы быстро разгрузили накренившуюся в канаве машину с двумя простреленными скатами, старшины распределили гранаты между группами прорыва. Когда все было закончено, из темноты показались несколько человек, они разговаривали, и Агеев узнал резкий, с хрипотцой голос командира полка.

– Где Агеев? Позовите Агеева!..

Агеев встрепнулся, сразу весь подобрался – он не забыл, что ему недавно еще было обещано этим человеком, и теперь с обмершим сердцем шагнул к нему на деревенскую улицу.

– Я здесь, товарищ комполка!

– Ты, Агеев? Молодец, начбой! Ты нас здорово выручил. Спасибо тебе!

– Двадцать семь ящиков «лимонок», – тихо сказал кто-то из темноты.

– Двадцать семь ящиков! Вот как надо воевать! И доставил! Прорвался! Ну, а мы что же, неужто не прорвемся отсюда? Бойцы мы или говнюки после этого! Начштаба, – тише сказал командир полка. – Надо его наградить. Вырвемся, оформите...

Они перешли улицу и скрылись в темноте, видно, пошли по цепи во фланговый батальон. Агеев опустил в пыльную канаву, вдруг почувствовав, как измотался за этот проклятый день – без ночного отдыха, после стольких волнений. Его голова стала медленно клониться на грудь, и только он на минуту забылся, как тут грохнуло, ослепило – первый разрыв вздыбил поблизости землю, – немцы начали обстрел деревни. Он свалился в канаву, в которой, однако, долго лежать не пришлось – прибежал боец с приказанием явиться к командиру полка. Под обстрелом они оба побежали из деревни в поле, заполошно шараясь от близко гроыхавших разрывов, и едва разыскали майора Попова, который лежал в свежей воронке на краю ржаной нивы. С группой командиров он готовил прорыв и, как только Агеев свалился в его воронку, встретил его злым упреком:

– Долго заставляете ждать вас, Агеев!

– Так я бегом...

– Не бегом – пулей надо!.. Вот! Будешь командовать правой группой прорыва. Ясно?

Агеев помедлил с ответом, потому что, хотя и требовалось отвечать без запинки, ему решительно ничего не было ясно. Скорее, все было совершенно неясно.

– Сорок человек, два пулемета. Ваш заместитель лейтенант Роговцев. Он в курсе.

– Есть! – вяло сказал Агеев.

– И напор! Напор, напор! – более спокойным, чем прежде, голосом наставлял командир полка. – Сразу навалиться, гранаты к бою, с ходу прорвать и – вперед! Сбор на северной окраине деревни Хотули. Понятно?

– Ясно, – снова без должного энтузиазма ответил Агеев, потому что не имел представления, где были эти Хотули, где противник. Разве что об этом знал лейтенант Роговцев.

– А коль ясно, по местам! В два ноль-ноль начинаем бросок.

Снаряды рвались в стороне, на том конце деревни. Кто-то тронул Агеева за плечо, и он догадался, что это лейтенант Роговцев. Они выскочили из воронки и, стегая сапогами в истоптанной ржи, побежали куда-то в сторону от деревни.

– В общем-то, сорок человек, – на ходу объяснял Роговцев. – Но двенадцать раненых. Четверых нести надо – еще восемь человек. По двое на носилки.

У Агеева разламывалась голова – от усталости, пережитого, от свалившейся на него непомерной задачи, которую неизвестно как выполнить. Было темно, в небе гуляли сполохи от ракет, которые пускали немцы на той стороне дороги, эти сполохи шатким, неверным светом едва освещали окрестность – поле, какие-то посева, отдельные редкие кустики, а где засели немцы, он не имел представления. Он боялся чего-то не успеть, не распорядиться как следует, потому что времени наверняка оставалось немного, вот-вот стукнет два часа ночи, когда надо вставать и начинать бросок. Бросок с двенадцатью ранеными...

Агеев не знал, как и с чего начать, кому и какую ставить задачу. Когда они прибыли к

своей группе и Агеев различил в темноте несколько лежащих и сидящих на земле бойцов, он сказал просто:

– Братцы! Вы знаете наше положение?

– Ну, знаем, – помолчав, ответил один из бойцов. На ранений руке у него белели свежие бинты перевязки.

– Положение аховое. Надо прорываться. Дружно, все враз, гранатами, штыками и – вперед! Раненых нести по два. Третий – для подстраховки. Надо распределить.

– Раненые распределены, – сказал лейтенант Роговцев.

– Тогда приготовиться. По моей команде...

Он достал из брючного кармашка свои «кировские», кто-то посветил фонариком. Было без двадцати минут два часа ночи. Волнение охватило Агеева с новой силой, через несколько минут в этом поле он снова схлестнется с жестокою силой огня, может, будет убит или ранен, но, главное, ему надо прорваться с этой группой бойцов, иначе... Иначе зачем же он сюда послан? Как он потом предстанет перед командиром полка, который поверил, что он может, что он лучше других? Ведь доверили командовать ему, а не кому-то другому. Нет, погибнуть теперь было не самое страшное – страшнее было не выполнить приказ, не суметь, опозориться. Этого Агеев позволить себе не мог.

Он то и дело поглядывал на часы и ровно в два вскочил; едва держась на дрожащих от усталости ногах, сдавленно бросил «Вперед!» и пошел в темноту по смятой, истоптанной ржи. Справа и слева от него тоже встали и пошли – неровной, изогнутой цепью, пригибаясь, отступаясь на неровностях и комьях земли. Сначала шли размеренно, не спеша, но постепенно темп движения стал нарастать, каждый страшился отстать, и вот уже почти все бежали по ржи, издавая отчаянный шум, который не на шутку тревожил Агеева. И все же в первые минуты немцы их не обнаружили; здесь, на фланге, даже не взлетали ракеты, и он робко подумал: может, все обойдется и им повезет прорваться без боя. Но только он так подумал, как откуда-то наискосок по верхушкам ржаного поля хлестнули огненно засверкавшие в ночи трассы, рядом кто-то тихонько вскрикнул, кто-то упал, убитый или спасаясь от пуль. И он, испугавшись не этих трасс, а того, что все попадают под огнем, уже не таясь, ожесточенно закричал: «Вперед! Вперед!» – выстрелил в темноту из пистолета и что было силы побежал, заплетаясь ногами в жестких стеблях созревающей ржи.

По всей видимости, им повезло, на первых порах немцы их прозевали и обнаружили слишком поздно. Автоматные очереди разрушили тишину ночи, гроыхнуло несколько гранатных разрывов, еще ударил автомат, но это уже в стороне. Впереди было тихо, похоже, они одолевали линию обороны немцев или, может, прорвались в их тыл. Зато в отдалении слева, возле дороги из села начался сильный бой, десятки пулеметных трасс неслись оттуда во всех направлениях, гремели гранатные взрывы, в воздухе заскулили немецкие мины. Там же почти непрерывно светили гирлянды немецких ракет, полосуюя ночное небо кручеными следами дымов, отсветы их шатко гуляли по полемому пространству, тускло освещая поле и путь группы на нем. Во время их вспышек Агеев окидывал взглядом рожь и поверх колосьев с удовлетворением схватывал быстрое, поспешное движение теней его бойцов. Все бежали, брели, исчезали во ржи и появлялись снова – кто как мог, выбиваясь из сил, до невозможности растягивая и смешивая боевой порядок. Но он ничем не мог помочь отстающим, надо было спешить, пока их не накрыли огнем, прорваться к этим Хотулям, которые, судя по всему, были восточнее сожженного авиацией фольварка.

Они уже одолевали поле, впереди темнели кустики или, возможно, тот молодой соснячок, где развернулся выскользнувший из окружения второй батальон. Агеев уже придержал шаг, чтобы дать возможность остальным подтянуться. Он уже раза два с облегчением вздохнул, тем более что сильная поначалу перестрелка возле деревни вроде бы стала затихать – похоже, главная группа с командиром полка тоже прорвалась. И, когда до соснячка осталось рукой подать, всего какая-нибудь сотня метров, плотный кинжальный огонь оттуда по всей его растянувшейся группе заставил их броситься наземь. Рожь здесь уже кончилась, под сапогами путалась-шумела какая-то ботва, похоже, они шли по

свекловичному полю и попадали, где кого застал этот адский огонь. Огонь был столь плотный, что очереди шли в воздухе сплошным многослойным потоком, горячим ветром обдавая головы и спины бойцов, вжавшихся в твердую, иссушенную зноем землю. Они растерянно молчали, да и чем они могли ответить? Главная их сила была в гранатах, но для броска гранаты, наверно, было еще далеко. И тогда, минуто полежав и отдышавшись, Агеев понял, что еще несколько минут промедления, и они все и навсегда останутся тут, на этом свекловичном поле. Он сунул за пазуху пистолет и схватил в обе руки по «лимонке».

– Встать! – заорал он что было силы, чтобы перекрыть грохот боя. – Вперед!

Это был отчаянный бросок навстречу гибели. Наверное, под таким огнем уцелеть было невозможно, но все-таки и еще кто-то вскочил, пригнувшись, они побежали в мелькании трасс к опушке, на ходу швыряя гранаты. Близкие их разрывы ударили в Агеева пылью и дымом, оглушили, но он уже был на опушке и еще швырнул куда-то гранату. Гранатные разрывы громыхали и справа, потом почему-то сзади, похоже, и немцы стали метать свои длинные колотушки – одна пролетела над самой головой Агеева, и он едва успел отшатнуться. В то же время его сильно ударило по ноге выше колена, он даже подумал, что напоролся на какую-то рогатину на опушке, но нет, удар был чересчур сильным, ногу болезненно свело, как от судороги, и по штанине в сапог потекли горячие струи крови. Он упал – не от боли, от одной только мысли: не перебита ли кость? Тут же вскочил – нет, нога не подломилась, значит, кость была цела, но кровь продолжала течь, захлюпало в сапоге. Наверное, надо было остановиться, перевязать ногу, но момент для того был самый неподходящий – уцелевшие бойцы его группы втягивались в кустарник, которого тут оказалось совсем немного, узкий изогнутый клинышек, потом снова пошли поля. И он бежал, припадая на левую ногу, с ним рядом бежали два или три человека, бежали сзади, но в ночной темноте не было возможности рассмотреть, сколько их вышло из этих кустиков.

Кажется, они прорвались, стрельба сзади гремела все отдаленнее. Ракеты густо подсвечивали небо тоже поодаль, за соснячком сзади, впереди была темнота и тишь безмесячной летней ночи. Агеев пошел тише, он сильно хромал и вовсе не мог бежать. Все больше болела нога, да и не было уже сил – бойцы выдохлись и брели вразброд по полю, куда их вел командир. Все загнанно, угрюмо молчали.

Наткнувшись в темноте на едва заметную в поле дорожку с березками по сторонам, Агеев остановился. Надо было перевязать ногу, отдышаться, подождать отставших и раненых, чтобы всем вместе до рассвета выйти к Хотулям. В ту ночь под березками их собралось семнадцать, почти все были ранены, троих принесли на палатках.

Уже хорошо развиднело, когда они добрались наконец до небольшой прилесной деревушки Хотули, но никого из полка там не обнаружили. После нескольких часов ожидания стало ясно, что они оказались той единственной группой, которой удалось прорваться. Все остальные во главе с командиром полка, напоревшись на значительные немецкие силы, полегли на свекловичном поле, даже не дойдя до соснячка. Эту весть принесли в Хотули несколько последних раненых, сумевших уйти от немцев.

Когда стало вечереть, Агеев построил остатки группы и повел их полевыми шляхами на восток, вдогонку за линией фронта.

Под Лидой они присоединились к группе майора из штарма, в которой оказалось несколько человек из тылов их разгромленного полка, и среди них его сослуживец лейтенант Молокович.

2

В тот день полил дождь – собрался наконец в пору жаркого лета, когда пришло время убирать зерновые. Под вечер из-за кладбища поднялась иссиня-черная туча, деревья тягуче зашумели, вытянув вершины все в одну сторону, трепетная листва тополей вывернулась под ветер своей серебристой изнанкой. Агеев подумал сперва: пронесет, перегонит хмарь и опять будет солнце. Он не хотел вылезать из карьера, на сегодня осталось совсем немного – срыть

голый бугор под западным склоном. Но первые крупные капли, хлестко стегнувшие его по спине, дали понять, что не пронесет, помочит как следует, и он, прихватив лопату, выбрался из карьера. Пока бежал к палатке, дождь низвергался с ошалелой, прямо неистовой силой, ветер яростно рвал со всех сторон, он едва добежал до палатки и, пока развязал тесемки у входа, вымок до нитки. Пришлось переодеваться, выливать воду из ботинок.

Потом под густой перестук дождя по парусине до самого вечера сидел в палатке, дожидаясь, когда утихнет. Временами ливень вроде бы ослабевал, водяные потоки, которые он наблюдал через треугольную прорезь в палатке, будто редели, туманно проглядывала темная стена кладбищенских деревьев, каменная ограда внизу, но вскоре ливень начинался с новой силой, кладбище вовсе исчезало из виду. Перед палаткой по едва обозначенной в траве стежке стремительно неся к дороге мутный ручей, увлекая с собой клочья травы, насекомых, мусор, и Агеев подумал, что хорошо сделал, когда дня два назад обкопал палатку – не так для надобности, сколько для порядка, как прочитал об этом в молодежной газете. Впрочем, мелкая канавка не долго его спасала, где-то все же прорвало, и на полу палатки медленно расплылось широкое темное пятно. Накинув на плечи куртку, Агеев выбрался наружу.

Снова изрядно намокнув и уже не обращая внимания на дождь, он принялся прорывать новую канавку, отводя в нее угрожающий поток воды, когда среди пляски дождевых струй возле кладбища увидел сгорбленную длинноногую фигуру в накинутом на голову полупрозрачном обрывке полиэтиленовой пленки. Прыгая через лужи и потоки воды, несшиеся со склона, человек направлялся к его палатке, и Агеев скоро узнал в нем своего здешнего знакомого Семена.

– Го-го, привет! Не смыло тебя тут?.. Вот решил: проведу хуторянина.

– Не смыло, но подмывает. Залазь, не мокни.

Семен ловко распахнул одной рукой натянутый на плечи полиэтилен, согнувшись, на коленях забрался в палатку. Бросив лопату, следом влез и Агеев.

– Ну полило!.. Полило что надо. Вот кабы с весны. Летом кабы, а то теперь, на уборку. Совести у него нету, у бога того.

– Бог ни при чем.

– Ну не бог, так люди. Расколупали космос. Порядка нет. То сушит, то льет.

Гость, кряхтя и сморкаясь, устраивался в мокрой тесноте палатки, неуклюже подбирая под себя длинные ноги в грязных резиновых сапогах; на его тощей груди была желтая промокшая тенниска, из левого рукава которой странно, словно невпопад двигаясь, торчала иссохшая культия со сморщенной на конце кожей. Ловко орудуя другой, казавшейся чересчур длинной, цепкой рукой, Семен вытащил из брючного кармана блестящую поллитровку с красноватой жидкостью.

– Вот это самое... По случаю ненастной погоды.

Агеев, неудобно устроившись у входа на сбитой в комок одежде, внутренне поморщился – после второго инфаркта, случившегося год назад, он старался не пить ни вина, ни водки, но теперь, ощущая легкий озноб в мокром теле, подумал с решимостью: «Выпью! Будь что будет». К тому же это предложение малознакомого, тоже немолодого человека не показалось ему ни навязчивым, ни чрезмерным, скорее наоборот – располагало к общению и участию.

– Тару какую, – оглянулся Семен.

Агеев нашел в углу палатки небольшой пластмассовый стаканчик – для себя, для гостя же снял с термоса колпак-кружку побольше. Семен ловко подцепил зубами металлическую пробку с бутылки.

– Зубы сломаешь, – сказал Агеев.

– Не беда! Железо на железо. Выдержит! – ответил Семен и засмеялся – простодушно, совсем по-мальчишески, сверкнув металлическими зубами. Агеев смотрел на его пожилое, морщинистое, с вытянутым подбородком лицо и думал, что, пожалуй, они близки по возрасту, может, даже ровесники.

– А ты родом откуда? – спросил он, хотя уже знал, что Семен приезжий и живет в этом поселке несколько последних лет.

– Я? А смоленский, из-под Ярцева. Слыхал?

– Слыхал. Близко...

– Близко, – просто согласился Семен. – Я так считаю: что Смоленщина, что Беларусь – один черт. Бульбоеды. Ну, давай выпьем. Илья же сегодня.

– Вот как!..

– Илья наделал гнилья. И я тебе скажу: правильно подмечено.

Они выпили. Агеев не до конца, оставив в стаканчике на второй раз. Семен же за три крупных глотка вобрал все до дна и вытряхнул под дождь последние капли из кружки. Агеев подумал, что надо бы поискать чего-нибудь закусить, но гость схватился своей длинной рукой за туго набитый карман брюк и вытащил помятую пачку «Примы».

– Куришь? Нет? Ну так я задымлю.

Вскоре тесненькая низкая палатка наполнилась сигаретным дымом, Агеев незаметно пошире раздвинул брезент на входе, он был слегка насторожен и опасался, что Семен начнет расспрашивать, что он тут раскапывает. Но Семен ни о чем не спрашивал ни при их первом знакомстве, когда однажды утречком забежал в карьер прикурить, ни потом. Кажется, этот человек обладал нечастым в его возрасте легким, общительным нравом и то ли из деликатности, то ли из-за отсутствия интереса к чужим делам не набивался с расспросами. Агееву это вообще понравилось.

– Руку где потерял? – кивнул он на его культу.

– На войне, где же! Руку что, руку потерял – жить остался. Мог жизнь потерять.

– Это конечно, – согласился Агеев.

– Точно. Рука, она перебита была, а держалась. Это в госпитале оттяпали. А вот тут похуже.

Сунув сигарету в зубы, он все той же рукой вздернул за подол безрукавку, обнажив широкую костлявую грудь с безобразным багровым, рубцом в правом боку.

– Во садануло. Мертвым сутки лежал. Кровью истек, бушлат к земле приморозило, отодрать не могли. А ну ее! Давай-ка еще по махонькой.

Он подставил широкую кружку, Агеев налил ему и себе и, прежде чем выпить, подумал, что, по-видимому, больше не следует. Эту еще выпьет, и баста. Семен же с прежней ненасытной жадностью выпил до дна, глубоко затыкнулся «Примой».

– Гляжу, маловато берешь. Или опасаясь? – хитровато прижмурился он, в упор уставясь в Агеева.

– Опасаюсь, – сказал Агеев. – Уже, знаешь, звоночек был.

– А, ерунда эти звоночки! У меня их сколько уже было. И счет потерял. А выпью когда, легче станет. Так, думаю, если бы не пил, давно бы уже землю парил.

– Ну это как сказать.

– Точно! Вон Шумаков Данила Васильевич – и звонков не было, и уж как стерегся. Вышел на пенсию, не пил, не курил. По утрам все руками махал, упражнения делал. Помер! Весной похоронили. На семь лет моложе меня.

– Кому как.

– Вот именно. Кому так, а кому этак. Я тебе скажу: кому чего хочется, тому того бог и не даст. А кому плевать на что-то, так того у него навалом. В жизни не надо быть жадным! – с нажимом заключил Семен.

Он заметно пьянел, и Агеев слегка подсадовал, подумав, что сейчас разговорится и придется его долго выслушивать, а он давно недолюбливал хмельных болтунов. Однако Семен примолк, что-то в его легком настрое стало меняться, и он, докурив сигарету, тихо спросил:

– Фронтовик?

– Да как сказать, – слегка смешался Агеев. – В сорок первом пришлось, ранен был, а потом воевал в партизанах. Потом снова.

– В партизанах тоже не мед. Скажу тебе, под конец войны воевать подучились, но что появилось – хитрость. Чтоб выжить! Выжить возможность появилась. Вот некоторые и схватились за нее. Хитрые которые... Давай, разливай остатки, чего там!

Агеев налил – снова себе немножко, остальное вылил в кружку, которую с готовностью подставил Семен. За палаткой ровно и споро шумел летний дождь, дым от сигареты нехотя тянулся к выходу. От выпитого вина Агееву стало теплее, с непривычки к спиртному появилось легкое кружение в голове и какое-то невольное расположение к этому разговорчивому гостю.

– Я, знаешь, к концу войны был уже нестроевой, – сдержанно сообщил Агеев, слегка задетый его вопросом. – Так что, как там было на фронте в конце, не знаю, не наблюдал.

– А я понаблюдал. На некоторых полюбовался. Один такой чуть на тот свет не спровадил. Енакаев фамилия, век не забуду.

Он сидел в палатке, чуть сгорбясь, по-восточному скрестив мокрые, в сапогах ноги, привычно устроив на раздвинутых коленях здоровую руку. Эта рука больше всего выдавала его возбуждение, живо двигаясь длинной, с прокуренными пальцами кистью.

– Да, Енакаев... Старшина разведроты. Ничего, старшина был исправный, умел порядок держать. Кадровый был служака, не какой-нибудь там из запаса. Дальневосточник. Я ведь тоже дальневосточник, действительную службу там прошел, на Хасане участвовал. Когда в сорок четвертом с пополнением пришел в дивизию, у этого Енакаева четыре ордена было. Строгий такой, но не придирчивый, не крикун по мелочам. И с ребятами мог быть свойским – ну там по сто граммов когда или покемарить лишний час. Известно, старшина, в его руках все. Офицеры, они больше о деле пеклись: разведка там, «языки»... Ох, эти «языки», чтоб им пропасть! Поползал я там по нейтралкам, потер живот. Иной раз, как станут, бывало, в оборону, каждую ночь. Ползаешь, ползаешь, с колен кожа послезает, ну приволокешь какого-то там фрица, думаешь: теперь хоть дадут выспаться. Где там! Не тот фриц, мало знает. Стемнеет – снова давай! А если у него налаженная оборона? Проволока, минные поля, ракеты, пулеметы. На Висле пять ночей ползали – ни в какую. Близо подпустит, осветит ракетами и из пулеметов. Вожмешься в землю, лежишь, ждешь: вот перестанет. А он и не думает переставать, что ему, патронов жалко? Патронов, ракет у него горы. Ну и лупит. А у нас укрытия никакого, ровно, как на столе. Одно, что каски на головах. Вот лежишь и слышишь, как то справа, то слева хрясь-хрясь! Как скорлупа на орехе. И пуля вдоль тела до задницы. Не знаю, как кто, а я на войне больше всего боялся такой вот пули – вдоль тела. Поперек – как-то не очень страшила: пробьет грудь или там руку, ногу, как-то привычное дело. А вот если лежащего вдоль – от макушки до задницы, – аж подумать страшно. Правда, еще и за живот боялся.

– За живот все боялись, – сказал Агеев. – Уязвимое место.

– Уязвимое, ничего не скажешь. Видел раненых, не дай бог. Главное – внутреннее давление, называется. Там, в кишках. Даже от маленькой, пулевой ранки как пыхнут наружу. Клубком. Синие, с кровью, и парок идет, если на холоде. Раненый, который в уме, их, конечно, назад в брюхо пихает. Где там! Уже точка. Если вылезли, твоя песенка спета, уже и доктора не помогут. Помню, один такой – молодой, рослый парняга – прибежал прямо в санбат. С поля боя верст шесть чесал, чтобы скорее, значит. Сделали операцию, зашили. Пожил три дня и откинул копыта. Заражение, никакой врач не спасет.

– Тогда же не было ни пенициллина, ни других антибиотиков.

– То-то же! Чем спасать? Врач, он ведь тоже не бог. Да потом что ж, с одним им возиться? Тут их сотня на очереди, когда бои, всех надо обработать, помощь оказать...

Первое возбуждение от вина, видимо, проходило, Семен накурился и вроде бы стал спокойнее, рука на коленях стала двигаться сдержаннее. На темном от загара, морщинистом, вроде еще более постаревшем лице появилась легкая тень озабоченности, устоявшейся грусти от пережитого.

– Да, Енакаев к Висле имел шесть ранений. Это не шуточки. Изо всех выкарабкался. Жилистый мужик был, ничего не скажешь...

В тот раз мы шли за «языком» – третью ночь кряду. Только накануне приволокли двух фрицев, ну, думаем, теперь хоть отоспимся, обсохнем, накуримся. Черта с два! Оказывается, нужны новые данные, уже в стороне от обороны, на пойме, возле речушки заболоченной такой, черт бы ее побрал! Чуть она меня не угробила, эта речушка. Построили группу – семь человек. Четверо в группе захвата, трое – в прикрытии. Командир – старшина Енакаев. А, надо сказать, ребята у нас все молодые, правда, все уже обстрелянные, некоторые и награжденные, но молодые, что сделаешь. Только я да Енакаев постарше – мне шел двадцать шестой год, Енакаеву, кажется, около того было. Ну, у молодых еще детства полно, форсу, такого, что, мол, нам наплевать на фрицев, повезет – притащим, погибнем – тоже наплевать, не мы первые.

Пошли после полуночи, темнотища – глаз выколи, ветер напористый, голое болото под ногами, чуть-чуть приморозило, но все время проваливаешься, под сапогами чавкает, того и гляди, немцы услышат. Там, конечно, минное поле, наше и немецкое, саперы с вечера поработали, сделали проход. Какой там к черту проход – сняли несколько мин, и ползи. Хорошо, дождались, показали вешку – прутик такой поставили. «Ой, – думаю, – хорошо отседова – прутик, а как назад? Где его, этот прутик, найдешь в темноте?» Но молчу, знаю: такие мысли в такой момент высказывать не полагается. Поползли друг за дружкой. Впереди Енакаев, группа захвата, я был старшим в прикрытии. Ползли рывками. Немец ведь ракеты пускает одну за другой. Вот в короткие перерывы по темному и ползем. Как только пырхнет очередная ракета, голову в землю, только задница торчит, как кочка. Маскирует. Кочек там много было, это и выручало.

Словом, добрались до первой траншеи, слышим там разговор, не спят, значит, и – несколько голосов. Надо бы подождать. Все-таки ночь, утихли бы, послули, вот одного бы и взяли. Но не посоветуешь в такой момент, молчать надо, а Енакаев этот забирает в сторону, подальше от этих бессонных, туда, где потише. Оно, конечно, так казалось сподручнее. Но... Что-то мне стучает в голову: плохо делаем, не надо в сторону, подождать лучше.

Поползли. А тут еще, черт бы ее побрал, траншея куда-то отвернула в сторону, загогулиной в глубь их обороны; бруствер хоть и замаскирован, но чуть-чуть бугрится на фоне неба. Значит, вдоль траншеи ползем. Хуже некуда! Но пока все обходится, все-таки на расстоянии, может, метров за сто или двести от них. Потом подождали, притаившись, и четверо из захвата повернули к траншее. Мы прикрывать остались. Короче, через полчаса или через час, может, волокут на палатке фрица – оглушили, заткнули портянкой рот и волокут. Теперь надо смываться.

А времени, скажу тебе, все-таки прошло уйма, время в таких делах вообще плохо примечается, бежит оно или стоит, кто его знает. Как когда. Часов у нас не было, кажется, мы завозились, чересчур завозились. Гляжу назад, светлеет вроде краешек неба, как бы светать не начало. Ну, хлопцев с «языком» пропустили, теперь мы сзади, значит, ближе к немцам. Откроют огонь – на себя его принять должны. А немцы под утро, видать, приуморились, ракеты стали реже взлетать, пулеметы, правда, постреливали туда и сюда, но не по нам. Нас еще не обнаружили. В общем, все чисто было сработано. Если бы не одно но. А это но там и оказалось, где я опасался: Енакаев-то проход через минное поле потерял. Оно ничего удивительного в такой темени да на заболоченной пойме – никаких тебе ориентиров. Вешка! Ищи теперь эту вешку. После такой крутни по нейтралке.

Не знаю, кто там у него полз первым, тоже, наверно, такой же лопух, как этот Енакаев, только вдруг как шарахнет, аж земля заколыхалась. Сверкнуло, ослепило, и что тут началось! Как начали лупить по всей пойме – вдоль, поперек, крест-накрест, трассы, ракеты десятком сразу. Лежим ни живые, ни мертвые, на огонь не отвечаем. Хорошо еще: мы на болоте и немцы на болоте, им тоже на ровном немного видно, рвануло, а где, толком не знают. Проморгали в ночи. Как чуток унялось, вижу, передние пошли, завияляли задами, поползли, значит. Думаю, авось вырвемся. Еще, может, метров шестьсот оставалось. И тут слева как шарахнет холодным ошмотьем по морде, глаза залепило, и снова огонь по всей пойме. Тут уж и наши ударили минометы по их передку, гудит и трещит, вся округа ходуном

ходит. Но что делать нам? Сидим на минном поле, это и дураку ясно. А где теперь тот проход? Не встанешь, не оглядишься. И тут, на беду, край неба-светлеет все больше – светает. Вот влезли, так влезли. Влопались!

Полежали так, трошки оклемались, поворачивается Ящерицын, что передо мной полз, боец из захвата, кивает: к Енакаеву, мол. Вперед, мол! Что еще за такое, думаю, под огнем перестраиваться, нашел время. Но делать нечего, пополз. Енакаев лежит в болоте, сам в грязи весь, рядом на палатке «язык». Енакаев сдавленно шепчет: «Семенов, вперед! Доставай финку и вперед!» Говорю: «А прикрытие?» – «Вперед!» – шипит и финкой трясет перед мордой, мол, посмей отказаться! Ну что ж, думаю, все ясно. Хотя по уставу я теперь должен быть сзади, но коль на мины налезли, то, конечно, Семенов, вперед! Семенов подрывайся, а Енакаев «языка» доставит. В целости и сохранности.

Делать, однако, нечего, пополз. С обиды финкой в кочки ширяю по самую рукоять, вроде ничего – мягкая травянистая пойма. Прополз так, может, метров сто пятьдесят, как вдруг под ножом что-то твердое. Воткнул лезвие и боюсь выдернуть – черт ее знает, а вдруг рванет! И что делать? Обернулся, мина – шепчу. Енакаев машет, пригнувшись, мол, бери в сторону. Раз воткнул финку, второй, а третий уже не успел. Как в прорву огненную... Со всего маха. Только звон пошел куда-то, все дальше, дальше, и все стихло...

– Рвануло-таки?

– Рвануло. И что удивительно – боли никакой не почувствовал. Вроде придавило чем. И расплющило. Такое чувство. Слушай! – сказал вдруг Семен, сгоняя с лица выражение тягостной озабоченности. – Давай слетаю еще за одной! А то что на сухую баить...

– А не хватит? – усомнился Агеев. – И дождь...

– Дождь перестает. Ну точно, реже стал, – сказал Семен, отстраняя парусину на входе.

Дождь еще сыпал, хотя, может, и не такой, как прежде, поток на земле возле палатки заметно иссякал, оставляя на траве намытые космы мусора, травяного сора, песка. Агеев понимал, что отговаривать в такой момент – напрасное дело. Семена теперь не остановишь. Он вылез из палатки и дал вылезти гостю.

– Я счас! Айн момент... – бросил Семен на ходу, одной рукой накидывая на плечи жесткий, непослушно вздувшийся на ветру кусок полиэтилена.

Дождаясь Семена, Агеев сидел в палатке у входа, глядел, как в мокрой траве пляшут, снуют чуть поредевшие струи дождя, и думал: хорошо это или плохо, такое вот свойство человека – просто и открыто рассказать о себе первому встречному, подробно, обо всем, без утайки. Даже если где-либо и сам выглядишь не очень похвально, если где и ошибся. Конечно, по прошествии стольких лет можно позволить не очень щепетильничать с собственным прошлым, но все же. Он так не умел. Для него стоило немалых усилий над собой по приезде в этот поселок объяснить по необходимости свой интерес к какому-то заброшенному карьеру, да и вообще свое отношение к поселку тех давних, военных лет. Всегда в подобного рода объяснениях есть что-то от неправды или претензии на что-то почти незаконное. Чужому и малознакомому запросто так не расскажешь. Но это он, Агеев. А вот Семен, оказывается, мог это с легкостью, и, странное дело, его рассказ не шокировал даже взыскательного слушателя, каким считал себя Агеев.

Он думал, что Семен задержится, все-таки центр поселка с магазинчиком «Вино-водка» был не очень близко отсюда, но Семен довольно скоро появился на углу кладбищенской ограды под небрежно накинутой на одно плечо пленкой. И по тому, как он без должной живости переступал по мокрой траве длинными ногами, Агеев догадался: не достал.

– Пусто! – будто прочитав его мысли, сказал, подходя, Семен и отбросил пленку. – Опоздал, сами выжрали.

– Ну что ж, так посидим, – обрадовался про себя Агеев. – Пока дождик сыплет.

Семен снова забрался в палатку. На этот раз Агеев уступил ему место у входа, сам отодвинулся вглубь, и гость сразу полез за остатками сигарет в измятой пачке.

– Не много ли куришь? – сказал Агеев.

– А черт с ним! Сколько протяну, буду курить. Что ж, врачей слушать...

Он опять закурил, и, хотя затянулся с прежней жадностью, сигарета не помогла ему скрыть легкую досаду на помрачневшем лице – наверное, от его неудачной вылазки.

– Жаль, но и у меня ничего нет, – извинительно сказал Агеев. Семен что-то буркнул неопределенное, и разговор их на время прервался. Чтобы как-то возобновить общение, Агеев спросил будто бы между прочим: – Ну а потом-то как? На той пойме. Или тебя разведчики вытащили?

– Жди, как же! – тотчас отозвался Семен. – Вытащат! Енакаев «языка» тащил. Еще одного разведчика подорвал. А у самой траншеи и его стрельнули. Свои. Потому что не на том участке выходил. Вот как!

– Да, это понятно. Спутал направление! Это на войне всегда худо.

– Не только на войне! – зло бросил Семен.

– Ну а ты? Сам выполз?

– Я? А я лежал без памяти, сколько, не знаю. Помню только, как-то раскрыл глаза и не понял ничего: лицо словно ватой обложено. А это пошел мокрый снег. Снежинки на губы падали, и я их слизывал, потому как внутри все горело. И такая мука, такая жажда!.. А потом приморозило. Хотел двинуть рукой – черта с два. Не двигается. И зад не двигается. Бушлат-то примерз, все от крови там смерзлось. Вот и лежу. Хочу крикнуть и не могу. Нет голоса. Нет крика. И не могу понять, что случилось и где я. Память начисто отшибло. Сознание то вернется на минуту, то опять пропадет, видно, надолго. Потом показалось, вроде дергает кто-то, прислушался сквозь боль... Нет, это же бой идет, снаряды рвутся вокруг, ну меня и кидает с боку на бок. Потом все пропало – ни боя, ни снега. Наверно, долго лежал, а как очнулся, заметил: темно и слышу, голос! Тихий такой, будто издалека – это мне так показалось... а это он надо мной. Глаза чуть приоткрыл, человек склоняется, все ниже, ниже, заглядывает вроде в лицо, а за ним с неба месяц светит, да ярко так – полнолуние было. Я уж хотел крикнуть от радости, что нашли, не оставили, но воздуху нет, в легких пусто, ничего с криком не вышло. А он, этот, что наклоняется, вдруг тихо кому-то: «Ист айн рус!» Вот те и обрадовался! Хорошо, что не крикнул, замер, лежу. Другой рядом тоже что-то по-немецки прогергетал, и этот лезет руками мне под бушлат, в карманы. А там пусто, махорки полпачки было, даже спичек не взял – все перед поиском в роте оставил. Шарит он этак, лежа рядышком, думаю, услышит, что живой, и прикончит. А вот не услышал, еще что-то сказал тихонько другому, забрали они мой автомат, отброшенный поодаль взрывом, поползли куда-то. Может, к нашим, может, к своим. А я после страха и боли снова нырнул в беспомощность. Вроде бы даже и помер, не знаю.

– Скверная ситуация, – сказал Агеев, когда Семен замолчал. А тот выглянул из палатки, вроде прислушался к чему-то снаружи или, скорее, к тому, что шло изнутри, из его растревоженной памяти, и сделал непонятный жест все той же, свешенной с колена рукой.

– Самое скверное еще впереди. Ты слушай... Черт его знает, до сих пор не понял, сколько я там пролежал. Несколько дней, наверно. Потом подсчитывал, подсчитывал и сбился, не могу поверить. Получается, вроде шесть дней и ночей. Как только не окошел. Кровью не сплыл. Не подох. Но вот снова очнулся, слышу, голоса. Да уже ясно, свои, гуторят смелей, и русский маток послышался. И светло, раннее утречко вроде. Хочу повернуться, чтоб увидеть, где они, мои спасители, что-то передо мной их не видно. И не могу повернуться – все примерзло к земле. И снежок лежит на груди, на губах и не тает. Я крикнуть хочу, и опять ни черта, вздохнуть не могу даже. Вот дела! Ни тпру, ни ну. А они, слышу, гуторят: «Бердников, того, в бушлате, стащи!» – «Ну да, – отвечает этот Бердников. – На минах лежит». – «Мина взорвалась, вон ямка за ним». – «Одна взорвалась, так разве она одна тут? „Кошку“ давай!»

Бог ты мой, думаю, это ж они меня за мертвеца считают и теперь «кошкой» стаскивать будут. Что ж это такое... Но боль такая и слабость, и свет белый меркнет, то появится, то исчезнет. И воздуху в груди нет – пусто. Что тут поделаешь? Пусть тащат, взрывают, скорее бы. Чтоб долго не мучиться...

И что ты думаешь, подполз этот Бердников или еще кто, зацепил «кошкой» – крюк

этакий у них (это ж саперы были) на веревке, – и как рванут... А подцепили за тот самый бок, почти в рану вогнали... Я как взвою, откуда и голос взялся. Хотя мне так показалось, что взвыл, они потом говорили, как несли на палатке, что застонал, они услышали. А мне сдалось, взвопил.

Ну, и отвоевался на том. Шесть месяцев в госпиталях, последние три месяца под Москвой лежал. Потом – по чистой – домой. А дома-то нет. И руки нет. Инвалид в двадцать шесть лет. Но жить надо, что сделаешь... И вот, гляди ты, до шестидесяти четырех дожил. А Енакаева там за пригорочком закопали. Потом лейтенант говорил из нашего полка. В госпитале встретились.

– Да-а... На войне всегда трудно угадать, где напорешься, а где пронесет, – сказал Агеев.

– Потому и не угадывай. Не хитри. Все равно война хитрее тебя. Ее не перехитришь.

Дождь все не переставал, хотя первоначальный напор его заметно ослаб, на промокшую землю с неба сыпались не крупные капли, ветер вроде утих, и было, в общем, не холодно. Однако Агеев, слушая невеселый рассказ Семена, несколько раз с беспокойством подумал о карьере: хотя бы не залило. Зальет, что тогда делать? Ждать, пока высохнет? Или когда уйдет вглубь вода? Семен, чутко уловив скрытую тревогу Агеева, тронул его за колено.

– Слышь? Хочу поинтересоваться. Чего там копаешь? В карьере.

– Да так. Кое-что надо посмотреть.

– Потерял чего?

– Почти что. Жизнь едва не потерял, – сказал Агеев и пожалел, что сказал слишком много.

– А-а, – что-то понял Семен. – Ну ладно, больше не спрашиваю. У каждого человека должны свои секреты иметься.

Агеев виновато взглянул в его помрачневшее лицо, и ему стало немного неловко за собственную скрытность.

– Может, и так. Ну, а у тебя как, тоже секреты имеются?

– Я секретов при себе не держу. Я их все разболтал. Все все про меня знают. Может, и плохо это. Может, я потому и непутевый такой. Ну да ладно. Хватит болтать.

Семен рубанул кулаком по колену и, задев стойку плечом, отчего едва не снес всю эту шаткую палатку, вылез наружу. Агеев догадался, отчего ему не сиделось тут дольше, но перечить не стал. Пусть идет человек, может, еще магазин не закрылся, найдет, чем утолить свою жажду.

– Как-нибудь подойду. Расскажу еще кое-что, – послышалось издали, и по мокрой земле зашлепали, все удаляясь, размашистые шаги.

Агеев недолго повозился в палатке, переложив мокрую одежду в правую, более сухую сторону – все парусиновое дно было мокрым. От одежды, спального мешка сильно отдавало сыростью, парная сырость висела и в воздухе снаружи палатки, когда он выбрался из нее, обеспокоенный мыслью о карьере.

Дождик тихо моросил по мокрой траве, туманный полог застлал околицу, ближнюю рощу, дальние дома поселка. Но кладбище и карьер поблизости просматривались во всех подробностях, и, когда он глянул с обрыва, едва не выругался от досады: в самом глубоком месте на дне карьера тускло блестели две огромные лужи. Как раз там, где он копал эти дни и где, как казалось ему, была возможность что-либо найти. Но самое худшее открылось его взору, когда он ступил на кромку обрыва, – с его крутизны до самого низа обринулся пласт суглинка, начисто похоронив под собой сегодняшнее место его раскопок.

Минуту Агеев потерянно глядел вниз, не зная, что теперь предпринять или что подумать. Ясно, что копать здесь будет нельзя, воду отвести некуда, вычерпать ее невозможно. Оставалось не самое лучшее – ждать, пока высохнет. Ну а если заждит на несколько дней? Илья действительно способен натворить гнилья до осени, как тогда быть? Чего он добьется тут?

В который уже раз Агеев ставил перед собой этот вопрос и не находил на него ответа. В самом деле, что он мог предпринять? Обратиться к руководству? Сходить в райисполком? Попросить помощи у общественности? Но что он им скажет? Какие у него доказательства, что она _там_? Что ее расстреляли вместе со всеми? Он ведь и сам ничего толком не знал. Он ведь и самому себе хотел доказать, что ее там _не было_. Что она там не осталась. Что в тот раз, возможно, она уцелела. Ведь, когда в сорок четвертом откопали тела погибших, ее среди них не нашли. Но ведь ее и не искали. Она же не была в числе их тройки и оказалась с ними случайно. Это он и расстрелянные знали, за что ее взяли, а посторонним о том ничего не было известно. Так что же он мог объяснить тому, к кому бы обратился за помощью? Помогите, мол, убедиться, что там ничего нет? В том, что там никого не осталось, и без него все были уверены.

Не был уверен только один он.

Немало расстроенный, Агеев вернулся к палатке, поежился от усиливающейся к ночи дождливой прохлады. Дождик все моросил, и он, забравшись в палатку, зажег перед входом свой крохотный очаг на сухом спирту. Хотелось согреться, обсохнуть, но, видно, обсохнуть до завтра уже не удастся, придется ночевать в зябкой сырости. Впрочем, этот небольшой дискомфорт, вызванный неожиданным дождем, не очень докучал Агееву, которого под старость все настойчивее одолевала тяга к примитивному укладу быта, все сильнее привлекала природа. То, от чего за долгие годы учебы, службы, работы отвыкла его душа, начало все с большей властью врывать в его сознание. Городская квартира, обустройство которой когда-то стоило ему немалых усилий и которая многие годы приносила удовлетворение налаженным уютом, почему-то перестала занимать его, в часы досуга стала тянуть к себе березовая рощица над тихой речкой, полевая дорожка, еще не разбитая колесами мощной техники. Автомобилем Агеев не обзавелся – в молодости это не было принято, да и не было такой возможности, а потом стало поздно. С сыном он иногда выезжал на природу, по выходным – на рыбалку, которой Аркадий увлекался с детства и одно время увлек отца. Но к рыбалке Агеев скоро охладел, а машина, хоть он и вложил в ее приобретение немалую сумму, все-таки принадлежала не отцу – пассажиру, а водителю – сыну. К тому же он не хотел оказаться навязчивым, у молодых были свои интересы – их влекли песчаные берега речек, пляжи, купание, грибные и ягодные места. Где-нибудь на боровой опушке под соснами им нечем было занять себя. К тому же они увлекались дальними поездками по районным центрам в погоне за ширпотребом, которого не доставало в городе. Для него же приобретательские потребности были сведены к минимуму, и он довольствовался тем, что было необходимо для жизни на каждый день.

Потягивая горячий чай из алюминиевой кружки, Агеев подумал о Семене – тот, конечно, продолжает отмечать Ильин день, наверно, снова рассказывая кому-то о своих похождениях. Хотя походов этих не дай бог никому, и говорить о них почти отстраненно можно, лишь пережив все без остатка в душе, сохранив бывшее лишь в памяти. Агеев знал немало людей, которые о своем военном прошлом, зачастую трудном и даже трагическом, имели обыкновение рассказывать с юмором, посмеиваясь над тем, отчего в свое время поднимались волосы дыбом, находили в ужасном забавное. Если по отношению к самому себе это еще можно было понять, то по отношению к другим, особенно погибшим, это все же граничило с кощунством, думал Агеев.

Как это ни странно, о своем он почти никому не рассказывал, разве что так, в общих чертах. Впрочем, хвалиться ему особенно было нечем. О страшном сорок первом и обо всем, что связано с этим местечком, он долгие годы старался не вспоминать даже – невольные воспоминания эти не приносили радости, только будоражили душу тяжестью смертей, крови, ошибок. Жена была родом из Поволжья, войны почти не видела и, пока была жива, вообще отмахивалась от ее ужасов. О нем она знала только, что в начале войны был тяжело ранен, воевал в партизанах, потом учился и работал в народном хозяйстве, пока не перешел на преподавание в вузе. Сын поинтересовался как-то его наградами и, когда отец показал ему орден Красной Звезды, презрительно хмыкнул: у родителя его друга, служившего в годы

войны в большом штабе, было пять орденов, куча медалей за взятие городов и юбилейных. Агеев понял, что навсегда уронил себя в глазах сына, и никогда не заводил с ним разговора о войне.

Он проснулся ночью от беспричинного чувства тревоги, смутного ощущения опасности, что ли. Полежав, однако, понял, что его беспокойство шло изнутри, из глубины сознания – вокруг была ночь и стояла мертвенная тишь, какая была когда-то и от которой он основательно отвык за время войны. Озноб его, кажется, миновал, он лежал весь в остывшем поту, но холодно ему не было – скорее, было душно, кожушок он сбросил во сне на пол и теперь лежал во влажной рубашке. Рана, когда он невзначай двинул ногой, отозвалась острой болью, но эта боль была терпимой, не то что вчера. В сарайчике царила тьма, едва брезжили две-три щели под крышей, и в одной из них тоненьким лучиком мерцала крохотная звездочка в небе.

Агеев прислушался, стараясь уловить хоть какое-нибудь движение жизни за стенами его дощатого укрытия, но, пожалуй, ни один звук не достигал его слуха. Он не сразу понял, какие звуки искал в тишине его встревоженный слух, но звуков этих уже давно не было слышно – с тех самых пор, как они отбились от группы и повернули на юг. И тогда он подумал: что же это такое случилось в мире, как произошло, что война оказалась так далеко на востоке? И почему он очутился в этом сарае, беспомощный, безоружный почти, переодетый в какую-то вышитую сорочку? Где его армия? Где фронт? Сколько будет продолжаться это отступление и кто в нем повинен? Красноармейцы? Командиры? Наша боевая техника? Или все решило превосходство немцев, внезапность их мощного удара, их мастерство и совершенство их тактики на поле боя?

За несколько дней боев, в которых ему довелось участвовать, он воочию убедился, что в войсках недостатка решимости противостоять врагу не было, что бойцы и особенно командиры, не щадя себя, порой сверх всякой возможности дрались с врагом, иногда здорово колотили его на малых участках, хотя и не могли сколько-нибудь ощутимо изменить общую обстановку на фронте, которая с того самого рокового воскресенья оказалась разгромной. Невзирая на свои потери, на стойкость и упорство многих наших частей, немцы ломали оборону, обходили, окружали на широком фронте и безостановочно катились на восток. Где они сейчас и где фронт, что ждет армию и страну в недалеком будущем – вот те вопросы, от которых в гнетущем испуге билось сердце, которые, если над ними задуматься, казалось, были способны свести с ума. На его глазах гибли люди, рушились вековые устои и ставилось под вопрос будущее всей земли – как можно было сохранять спокойствие, мирно спать в этом тихом уголке Беларуси, куда его загнала война?

Все последние дни после разгрома, пробираясь к этому местечку, Агеев страдал от неизвестности, от абсолютного отсутствия информации; люди, что встречались на их пути, тоже знали немного, больше обходились догадками и предположениями, а слухи оказывались одни фантастичнее других, слухам Агеев старался не верить. Но, каким бы ни было его недоверие, одно оставалось несомненным – немцы перешли Днепр. И он думал, что если даже на Днепре их остановить не сумели, сдали Могилев, Витебск, Гомель, так чего ждать дальше? Ведь там рукой подать до Москвы.

Еще неделю назад, прорываясь с группой на восток, мучимый постоянным недосыпанием, страдая от раны, голодный и настороженный в ожидании стычек с немцами, он как-то не задумывался о коварных поворотах войны, стремился лишь выйти к своим, а там, казалось, все станет на место. Но вот к своим так и не вышел, застрял бог знает где, на чудовищном удалении от фронта, в стороне от больших дорог, отоспался, освободился от осколка в ране, и тревожные мысли за судьбы войны и свою собственную судьбу стальными клещами ухватили сердце – было беспокойно, тяжело и горестно. Но что он мог сделать?

Если бы не это ранение...

Многое было неясно и его вынужденном заточении, но то, что с такой раной он не боец, это он уяснил со всей определенностью. Самое скверное было в том, что он совершенно не мог бежать, не мог при нужде положиться на ноги, хромого его легко мог

настичь любой полицай. Значит, выход мог быть один – как можно скорее залечить рану и любыми путями прорваться на восток, к фронту, к своим.

Когда сквозь дощатые стены чуланчика забрезжил рассвет, он поднялся и, преодолевая слабость и головокружение, стал слезать с топчана. Он подумал, что лучше это сделать сейчас, пока вокруг спят и его никто не увидит. Накинув на плечи свою телогрейку, медленно опустил ноги на притрушенный сеном земляной пол. Все-таки рана болела, ногу Прямо сводило от боли при каждом неосторожном движении, и он, сжав зубы, бережно наступил на левую пятку. Держась за притолоку, тихонько отворил низкую дверь, вышел в сарай. Откуда-то из-под его ног пугливо шархнул большой серый кот, выскочил из ворот, сторожко поглядел на Агеева умным взглядом косых глаз на щекастой кошачьей морде и скрылся под лопухами. В хлеву сильно пахло сеном, старым навозом, но за разломанной загородкой, кажется, было пусто, коровы у Барановской не было. Не слышать было и никакой другой живности, хлев-сарай был пустой, ворота едва прикрыты от ветра, и он, все хватаясь за стены, выбрался во двор. Рослые лопухи и крапива возле стежки стояли в холодной росе, прислоненные под стенами хаты, торчали какие-то жерди или, может, дрова Барановской; узенький дворик был вымошен мелкими камешками, но ходили по нему, видно, немного, и местами между камней уже пробивалась трава. Напротив входа в хату стояла пустая поветь-беседка, одной своей стороной примыкая к заборчику, отгородившему двор от улицы. Эта поветь, которая вскоре сыграет определенную роль в его судьбе, теперь не обратила на себя особенного внимания, он больше присматривался к тому, что находилось подальше от улицы, в глубине этого длинного, со многими сараями и сараюшками двора. Под общей крышей с хлевом-сараем ютились и еще какие-то ветхие пристройки, и все заканчивалось дровокольной с небольшой поленичкой дров под стрехой, над которой в сумрачном рассветном небе темнели могучие кроны нескольких больших деревьев. От дровокольной вдоль сада сбегала вниз стежка, исчезающая где-то в конце огородов у овражка, где они переходили ручей. Только начиналось раннее утро, было сонно и покойно, местечко спало, казалось, не ведая ни бед, ни забот, которые обрушила на землю война. И Агеев подумал, что такая тишь для него просто неестественна после всего пережитого им за несколько недель войны, он чуял в ней затаенную злую тревогу, смутное ожидание беды.

Кое-как допрыгав на одной ноге до своей конуры, Агеев сразу упал на топчан; эта небольшая прогулка совершенно вымотала его, и он вспомнил, что сегодня обещала прийти Евсеевна, посмотреть рану. Повязка снова намочла, наверное, ее надо бы поменять, но у него по-прежнему не было ни бинтов, ни лекарств, приходилось ожидать врача.

Четверть часа спустя он снова ненадолго уснул и проснулся от непривычного движения в хлеву, дверь в сарайчик тихонько приотворилась, и Агеев не сразу узнал Молоковича в кепке.

– Ну, здравствуйте. Как вы тут?

Молокович был не один, за ним в чулан влез низенький тщедушный паренек в очках, который смущенно остановился у порога и с почтительной настороженностью уставился на Агеева.

– Вот лежу, – неопределенно сказал Агеев, несколько удивленный этим появлением незнакомца. Молокович между тем что-то вытаскивал из тугих карманов пиджачка и клал на ящик в ногах. Тщедушный паренек боком опустился на сено возле порога; дверь за гостями с той стороны заботливо прикрыла Барановская.

– Врачиха была?

– Была, – сказал Агеев. – Располосовала ногу до бедра.

– Это она умеет.

– Она что, хирург?

– Мастер на все руки, – сказал Молокович. – А вообще она акушерка.

– Да-а...

– Ну так, а как ваше самочувствие? – вплотную приблизился к топчану Молокович. Он обращался на «вы» к Агееву, который недавно стал называть его на «ты». Это, может, было и

не совсем по правилам, но, в общем, не влияло на их взаимоотношения – все-таки Агеев по возрасту и званию был старше.

– Да что самочувствие! Лежу вот... Как там? Что слышать? Где фронт?

– Фронт, судя по всему, за Смоленском, – невесело ответил Молокович.

– Черт возьми!

Агеев попытался встать, но от неосторожного движения ногой боль пронизала его тупым мощным ударом, и он в изнеможении откинулся на подушку. Молокович присел на край топчана в ногах.

– Вот друга привел познакомиться, – кивнул он на гостя. – Хороший парень, Кисляков его фамилия. Вместе в школе учились. Он эфир слушает.

– Приемник? – перетерпев боль, спросил Агеев.

– Приемник. Старенький, правда, – тихо сказал Кисляков.

– Это хорошо. Так что там?

Неподвижно сидя на охапке сена, Кисляков шмыгнул коротеньким острым носиком и складно, как заученный урок, сообщил:

– Сводка за двадцать седьмое. Наши войска после тяжелых и упорных боев оставили город Таллин. Один наш бомбардировщик таранил немецкий «юнкерс». Тяжелые бои на Смоленском направлении...

Агеев выслушал его молча. Он уже знал, что если, по сводке, бои на Смоленском направлении, то Смоленск, наверное, тоже уже у немцев, сводки Совинформбюро всегда запаздывали, судя по всему, наступление немцев продолжалось.

– Как все обернулось, все покатилося, кто бы сказал, кто бы недавно еще подумал! – сокрушенно проговорил Молокович.

– Да, обернулось, черт бы его побрал! Ну, а что в местечке?

– Да что в местечке? В местечке форменный разбой. Немцев, можно сказать, еще нет, так полицаи свирепствуют. Откуда-то прибыл уже и начальник, Дрозденко какой-то. Видел его вчера, как вешать этих вели...

– Кого вешать?

– Двоих окруженцев повесили возле базара. Оказали сопротивление при задержании.

– Полицаи, конечно, врут, – тихо перебил Кисляков. – Взяли их, сонных, у будочника на переезде. Ночью зашли, ну и послули. А утром полицай Стасевич заскочил на переезд и побрал их сонных, как куропаток.

Агеев внимательно слушал, вглядываясь в невеселые лица молодых ребят, жителей этого местечка. Случившееся с окруженцами касалось его непосредственно, ведь он тоже, по сути, был окружением – со всеми вытекающими последствиями. Им же был и Молокович, хотя с той разницей, что обретался по месту жительства и тем не нарушал немецких порядков, а для бездомного Агеева был уготован полевой лагерь военнопленных. Это в лучшем случае, если без сопротивления, с высоко поднятыми руками.

Молокович между тем рассказывал:

– Стасевич – это же сосед мой. Рядом хата, в коллективизацию из деревни перебрался к родственникам жены. В промкомбинате мастером работал, в бондарном цехе. Вроде и неплохой был сосед, с Колькой его в школу ходили, тот годом позже шел, теперь на Дальнем Востоке служит. А этот вчера приперся, говорит, проведать фронтовичка. Бутылку принес. Ну, выпили, и он давай агитировать. Говорит: «Ваша песенка спета, товарищи красные командиры, теперь под Гитлером будем». – «Ну, это еще как посмотреть», – говорю. А он: «Нечего смотреть, иди в полицию, пока еще берут, а то поздно будет. Вон наш начальник в Красной Армии капитаном был, а теперь на немцев работает, жидам чоху дает!» Ну, вы понимаете? Как мне, лейтенанту, слушать такую агитацию?

– Ну и что же ты ему ответил? – сдержанно спросил Агеев.

– Я? А ничего. Я смолчал. Но очень мне хотелось в него мой «ТТ» разрядить.

– Вот молодец! – язвительно сказал Агеев. – Тут бы они тебя и вздернули. Третий.

Молокович, казалось, без внимания к его язвительности, несколько тише сообщил, как

о твердо решенном:

– Я его все равно пристрелю. Он же мою учительницу арестовал. Отправили в Слуцк. Вот это и будет мой личный вклад в борьбу с оккупантами. Шлепну и смоюсь. Нельзя нам тут долго оставаться.

Агеев промолчал, он был такого же мнения, только не хотел откровенно говорить при этом скромном парнишке. Кто его знает, кем стал этот друг Молоковича за время войны.

– Как твое плечо? – попытался Агеев перевести разговор на другое.

– Плечо заживет. Еще денька три-четыре, и сниму повязку.

– Ну так вот, пока не снимешь повязку, не рыпайся. А то сам по глупости влипнешь и мать подведешь.

– Ну, мать как-нибудь перебьется. А братишка сам норовит что-нибудь против них выкинуть. Вон у Кислякова побольше – четверо с матерью, – и то не дрейфит, радио слушает.

От неловкости поерзав на своем мягком сиденье, Кисляков смущенно пробормотал:

– Бояться – не то слово. Страшно, конечно. Но надо. Если поддаться страху...

– А отец ваш где? – спросил Агеев.

– Отца мобилизовали. В первый же день.

– Самого не призывали?

– Нет. Непригоден по зрению.

– Он студент, – пояснил Молокович. – В Менске в госуниверситете учился. Окончил два курса...

– Да что о том! – махнул рукой Кисляков, и его остроносенькое лицо сделалось совсем печальным. В сумерках утра он выглядел до срока состарившимся мальчишкой, таким застенчивым умным гномиком.

– Да-а. Ну а что люди говорят? Какое настроение у народа?

От этого вопроса Агеева Кисляков заметно подобрался, вроде бы даже оживился и принялся охотно объяснять:

– В основной массе людей настроение патриотическое. Но все ждут. Эти успехи немцев, конечно, не могли не вызвать некоторой растерянности. Но это на время. Скоро начнется всеобщее выступление. Особенно если будут продолжаться репрессии. А они, несомненно, будут продолжаться, потому что возрастет сопротивление. Эти две вещи взаимосвязаны и взаимообусловлены.

– А что же руководство района? Интеллигенция?

– Тут, видите, какая ситуация: из партруководства почти никого не осталось. Интеллигенции тоже. Кого мобилизовали в первые дни, кто в родные края подался. Учителя, например. Но я так думаю, существует оставленное подполье. Так же как и партизанские отряды.

– Это должно быть! Это обязательно! – с жаром подхватил Молокович. – У нас тут в гражданскую знаменитый партизанский отряд действовал. Отряд Маковчука. Где-то они и теперь должны быть. В Сыромятовских лесах, наверно.

– Они знают где, – тихо отозвался Кисляков.

– Было бы неплохо связаться, – сказал Агеев. Но Молокович возразил:

– А нам-то зачем? Нам партизаны ни к чему. Что я, в партизанах воевать буду? Мое место в армии, на фронте. Я же средний командир все-таки.

– На всякий случай, – сказал Агеев.

– Нет, нам это не подходит. Это для дядьков деревенских, бородачей, пусть они в лес идут, шалаши строят. Мое дело на фронте. В полк надо нам, я так думаю, – горячился Молокович.

– Ты хорошо думаешь, – с горечью сказал Агеев. – Но вот застряли мы тут и еще посидеть придется. Фронт, вон он где, а я пока не ходок, сам понимаешь. Еще неделю наверняка проваляюсь.

– А то и побольше, – сказал Молокович и в сердцах шлепнул себя по колену. – Ну что

ж, может, за это время война не закончится...

Он вскочил с топчана, запахнув на груди кургузый свой пиджачишко, одетый поверх линялой, в полоску сорочки, совсем не похожий на себя, недавнего лейтенанта – высокий, сельского вида парень с решительным выражением загорелого лица.

– Да, забыл сказать: завтра тут что-то затевается. Всем евреям приказано собраться возле церкви, куда-то переселять будут.

– Куда переселять? – не понял Агеев.

– А черт их знает куда!

– Приказано взять еды на трое суток, ценные вещи, – добавил Кисляков.

– Значит, куда-то погонят. Может, в концлагерь или еще куда. Их разве поймешь, фашистов этих. Ну так поправляйтесь, товарищ начбой. Я буду забегать, если что...

Когда их шаги затихли на дворе, Агеев откинулся спиной на подушку и долго лежал так, томимый неизвестностью, смутным предчувствием худшего. Все было тревожно и неясно. Правда, неясностей хватало с самого начала войны, он уже стал привыкать к ним, во многом полагаясь на свою смекалку, сообразительность и находчивость. Но до сих пор он был солдат и не в его власти было принимать значительные решения – решения принимались другими, ему же предстояло их выполнять. Здесь же он оказался в положении, когда сам стал начальником и подчиненным в одном лице, сам должен был принимать решения и сам исполнять их, что оказалось трудным и весьма непривычным. Особенно в таких вот обстоятельствах, когда ни черта толком неизвестно и любой промах может обернуться гибелью. Хорошо бы гибелью одного тебя. А то вот круг причастных к нему людей все расширялся, был один Молокович, теперь за несколько дней к нему присоединились Барановская, Евсеевна, Кисляков; в случае, если он где промахнется, им не поздоровится тоже.

Лежа и думая так, Агеев все посматривал на оставленные Молоковичем гостинцы – завернутый в старую газету хороший брусок сала, несколько яиц, ломоть черного, видно, домашней выпечки хлеба. На душе у него было погано, ночное беспокойство еще усилилось. Но он потянулся к хлебу и, отломив кусок, стал неторопливо жевать. Кажется, аппетит к нему возвращался, и он подумал, что, может, теперь пойдет на поправку. Еще пару дней, и он найдет в себе силы вылезти из этого чулана, а там найдутся силы и на большее. Что-то все-таки надо было предпринять, он явственно сознавал, что в такое время его вынужденное бездействие было почти преступным. Когда война оборачивалась такой бедой, он не имел права сидеть сложа руки. Хотя бы и раненый. У него на это не хватило бы выдержки, и никакие соображения не могли оправдать его уход от борьбы. Он отлично понимал нетерпение Молоковича, хотя и опасался, как бы тот по горячности не наделал глупостей и не погубил его и себя. Гибель могла быть оправдана только в схватке, а к схватке он еще не был готов. Ему надо было подлечить рану.

Весь этот день прошел в тягостном тревожном раздумье о судьбах войны, народа, о его собственной неудачной судьбе. Все время Агеев не мог отделаться от горестного сознания нелепой своей устранимости из той чудовищно трудной борьбы, которая гремела сейчас где-то за сотни верст отсюда, на бескрайних пространствах России. Народу было трудно, трудно городам и селам, но труднее всего оказалось армии, которая была обязана и не могла остановить врага. В первых же стычках с немцами Агеев понял, что главная их сила в огне. Как ни совершенствовалась наша армия свою огневую выучку, немцы ее превзошли – их минометы засыпали поля осколками, пулеметы и автоматы сжигали свинцом, их авиация носилась в небе с раннего утра до сумерек, разрушая все, что можно было разрушить. Трудно было удержать этого огнедышащего дракона, еще труднее отходить, соблюдая какой-либо порядок. От немецких танков не было спасения ни на дорогах, ни в поле, ни в городе. Как и где их удастся остановить, если они уже за Смоленском?

Агеев неподвижно лежал на спине, когда растворилась дверь и тетка Барановская принесла ему обед – чугунок молодой картошки, большую кружку молока, поставила все на ящик, вздохнула.

– Вот покушать. Чтоб скорее поправились.

– Спасибо, хозяйшка, – тронутый ее заботой, сказал Агеев и, глядя на кружку молока, спросил: – А у вас разве коровка есть?

– Коровки нету. Это соседка, спасибо ей, ссужает. А у меня ничего нет. Кроме курочки. Для развода. Да вон еще кот Гультай.

– Там мне принесли сало и это... Так возьмите, поделимся.

– Нет, что вы! – встrepенулась хозяйка. – Это вам, вы больные, вам надо поправляться.

– Скажите, а еще кто-нибудь знает, что я у вас? – спросил Агеев и насторожился в ожидании ответа. Барановская из-под низко, по-монашески повязанного платка удивленно взглянула на него.

– Ну что вы! Как можно! Я никому ничего. В такой час, что вы...

– Ну спасибо, – с облегчением сказал Агеев. – Вы уж извините меня... Может, отлежусь. Вас я постараюсь не подвести...

– Да я ничего, лежите. Я же понимаю. У меня ведь тоже сынок был, очень на вас похожий. Такой вот чубатенький. Двадцать шестой годок шел.

– Был?

Барановская скорбно потупилась, уголками платка коснулась вдруг заслезившихся глаз. Агеев напрягся в предчувствии нехорошего и уже пожалел, что задал этот вопрос.

– Был. Погиб Олежка.

Она всхлинула один только раз, тут же превозмогла себя, вздохнула и спокойнее заговорила, стоя у порога:

– В Западной работал, он ведь инженер по железной дороге был, институт окончил. Только годок поработал в Волковыске, все меня звал, собиралась, правда, не насовсем, посмотреть, как он там. У меня ж, кроме него, никого не осталось. И вот не успела, все огород охаживала. А как началось это, долго ни слуху, ни духу не было. Те, кого в армию не мобилизовали, домой повозвращались, а Олега все нет и нет. Ждала, ждала его, уже почувствовала недоброе. И правда. На прошлой неделе женщина одна пришла со станции, к матери вернулась, тоже в Западной работала, так говорит, погиб ваш Барановский, на дороге самолет бомбами накрыл, ранило его тяжело в грудь, и скончался. Портфель его принесла, я сразу узнала, тот самый, с которым в институте учился, домой приезжал, еще харчишки в него складывала. Открываю, а там его вещи. Рубашечки... – запнувшись на минуту, Барановская выразительно взглянула на Агеева, и тот сразу понял, чья рубаха на нем. – Рубашечки две, ну, бeльишко там, книга по локомотивам, документы. Оказывается, вместе они шли, от немцев спасались, и вот те на... Погиб.

– Да, много людей погибло, – сказал Агеев, чтобы нарушить наступившую вдруг тягостную паузу. – И военных и гражданских.

– Погибло. И еще гибнут. Вот и у нас в местечке... Ненасытная она, эта война, такой еще не было.

Агеев молчал. Что он мог сказать ей, чем облегчить ее горе? Потерять взрослого сына – что может быть горше для матери?

Теперь он понял, откуда у нее такой монашески скорбный вид и такой горестный голос.

– Вот тут хочу показать вам, – сказала хозяйка, немного успокоясь, и полезла куда-то за сено. – Если что, тут одна дощечка поднимается. Вот с самого низа. А там, за стеной, малинник, там огород и картошка до самого оврага. Вдруг, если что... Время такое, сами понимаете. Вы уж извините...

– Все ясно. Спасибо вам, теточка, спасибо, – растроганно сказал Агеев.

Она тихонько ушла – выскользнула из его норы, а он с горькой усмешкой подумал: действительно, настало времечко! Вместо того чтобы он, командир Красной Армии, защищал от врагов эту тетку, оберегал ее жизнь и покой, так она оберегает его жизнь и заботится о его безопасности. Теперь он в ее власти и зависит от ее щедрот и сообразительности. Конечно, он безмерно благодарен ей, но все же... Не просто было ему принять ее заботы как должное и преодолеть чувство неловкости, виноватости даже...

Он сразу узнал этот хорошо уже знакомый ему гул немецких дизельных двигателей, который откуда-то выплыл в утренней тиши над местечком, проурчал в отдалении и смолк, наверное, в центре, на площади. Сognaв остатки дремоты, Агеев напряженно слушал – все-таки дом Барановской стоял ближе к окраинной части местечка, если не на самой окраине, и отзвуки происходившего в центре не сразу достигали его. А там действительно происходило что-то, донесся какой-то приглушенный окрик, может, команда, невнятный говор людских голосов, перемежаемый рыкающим воем автомобилей. И вдруг совсем явственно в тиши прозвучал женский плач поблизости, может даже, в конце этой улицы. Он еще не затих, этот вопль отчаяния, как там же послышался тоненький вскрик ребенка: «Мама, мама, мамочка!!!» Агеев повернулся на бок, сел на топчане, осторожно, чтобы не причинить себе боль, подобрал раненую ногу. Щели в стенах едва блестели синеватым отсветом раннего утра, наверное, на дворе было уже видно. И тогда откуда-то справа, с дальнего конца местечка, стал наплывать многоголосый тревожный шум, Агеев не сразу понял, что это было – плач, говор или, может, молитва сотен людей. Но то, что этот гул состоял из множества голосов, не вызывало сомнения, глухая разноголосица, объединенная ритмом и тоном, сливалась в один мощный, приглушенный расстоянием стон, который то чуть затихал, то усиливался, медленно смещаясь в пространстве справа налево. Агеев догадывался, что там происходило, это было похоже на исход, на выселение или избиение, когда сотни людей, поднятые жестокой, злой волей с насиженных веками гнезд, уходили, куда их гнали, в страхе, опасении, без веры и надежды. С окаменевшим лицом он слушал, стараясь не пропустить ни единого звука, достигавшего его убежища, чтобы понять и запомнить все. Разум его словно в оцепенении исторгал из возмущенных глубин одно только слово: «Сволочи, сволочи...» И в этом слове-проклятии были и его ненависть, и его бессилие, причинявшие ему едва переносимое страдание.

Прошло, наверное, не так много времени, но уже совсем рассвело, и местечко, слышно было, стало походить на растревоженный улей. Уже трудно было выделить отдельные звуки в этом тягостном протяжном хоре, состоящем из воя и стонов, который то крепчал, то замирал временами, то рассыпался на отдельные очаги горя и отчаяния. И вдруг совсем рядом, несомненно, на этой улице прозвучало четко и явственно:

– Шнель! Шнель!..

– Не толкай, гнида, сама пойду!..

– Иди, быстро, шнель, чево стала?..

– Пан полицейский, нельзя же так быстро, я старый человек...

– Шнель, юда паршивая!..

– О боже, о, святой заступник...

Снова притихло все, наверное, изгоняемые потащились на свою последнюю Голгофу, умолк и конвоир. И вдруг, как молния в ночи, взвился к самому небу вопль мольбы и ужаса:

– Мама! Мама!! Мамочка!!!

И затихло. Ни слова в ответ, ни крика. Агеев весь сжался на топчане в совершенном смятении. Что там? Что там случилось? Звуки не объяснили ему ничего. Но трагедия вокруг продолжала вершиться, и он был ее незрячим свидетелем, беспомощным ее участником. Или неучастником, что, впрочем, было одно и то же, потому что было нестерпимо мучительно все это слышать и ничего не мочь.

Тем временем то, что он слышал в отдалении, что доносилось до него гулом и ропотом, постепенно подкатилось ближе и рассыпалось на отдельные голоса, крики и плач. Вспыхивали и пропадали резкие слова команд, смысл которых, однако, трудно было понять отсюда. Где-то, по-видимому, на соседней улице отчаянно бляла коза – по козлятам, что ли? – несколько раз глухо промычала корова. Там же послышался злой окрик на скотину и ругань, похоже, это сгоняли куда-то и животных. Агеев подумал, что вроде еще никого не убивают, как тут же за углом гулко грохнул винтовочный выстрел и несколько куриц с кудахтаньем бросились на огороды. Раздался развязный мужской хохоток, и он понял: это развлекалась полиция. Он и еще ждал выстрелов, но их больше не было, вроде начал стихать

шум в отдалении, и в этой наступившей тишине вдруг явственно послышалась характерная, как будто картавая немецкая речь. Мужской голос что-то произнес по-немецки, но Агеев различил только несколько слов: «...организацйон, абенд...» Несомненно, это были немцы, они прошли в двадцати шагах от него по улице, он мог бы их снять из пистолета, если бы сумел их увидеть. Держась за топчан, он припал к одной щели в стене, к другой – напротив были заросли малинника, борозды картошки на земле и далее угол соседней хаты. Больше там ничего не было видно.

Шум людских голосов доходил волнами из какого-то одного места – наискосок от угла, наверное, с площади в центре. Теперь он оставался в одинаковой силе, не убывая и не ослабевая больше. Объятый тревогой, Агеев слушал и ждал. Слушать все это в течение длительного времени было мучительно даже для него, а каково же там, этим людям на площади, подумал Агеев. И тут вовсе не в лад со своими чувствами он ощутил в себе злость: как же можно было допустить такое? Надо же было что-то предпринять, может, бежать или скрываться, но наверняка не подчиниться, сделать что угодно, но не то, чего добивались фашисты. Только что сделать, подумал он погодя. Всегда удобно судить со стороны, там же под дулами автоматов все, наверное, было сложнее. И страшнее. Особенно если учесть, сколько там малых да старых, детей и женщин. Тот, кто судит со стороны, всегда судит умнее, но честнее ли – вот в чем вопрос.

Когда шум в отдалении стал понемногу затихать, иссякли отдельные невнятные голоса, выкрики и плач, поблизости послышались другие, обычные, будничные голоса, и он понял: это выгоняли скотину. Напротив через улицу что-то грузили или, быть может, выносили из хат барахло, стаскивали в одно место, и он слышал: «Стой, куда прешь?.. Пошла, пошла... Держи... Поворачивай ты живей, глаза у тебя есть?.. Федька, Федька, заберешь остатки!..» Шла хозяйственная работа, сбор и отправка награбленного, и занимались ею полиция или кто-то под их присмотром. Эта возня по дворам и хатам продолжалась все утро, казалось, не обещая когда-нибудь кончиться, хлопотливые отзвуки ее долетали то с одной, то с другой стороны улицы, то слышались поблизости, то в отдалении.

Только, может, к обеду все стало стихать, и наконец жуткая мертвенная тишь объяла местечко. Агеев неподвижно сидел на топчане, угнетенный, почти раздавленный, и думал: на сколько еще дней и часов хватит его выдержки, сколько продлится его иссякавшее по крупицам терпение? Он чувствовал себя на лезвии ножа, на пороховой бочке во время пожара – в тягостном ожидании гибели не сегодня, так завтра. А может, и следовало рассчитывать именно на такой конец? Но тогда зачем сидеть здесь, тянуть время? А если не сидеть, то что сделать в его положении? Дождаться, когда придут, и пустить в ход пистолет? Или самому выйти с пистолетом на улицу и погибнуть с музыкой?

Пока, однако, шло время, а за ним никто не приходил. Не шла даже тетка Барановская, и он стал беспокоиться: не стряслась ли и с нею беда? Может, и ее угнали вместе с евреями?

Барановская пришла к вечеру. Обостренным до крайности слухом Агеев еще издали различил ее торопливые шаги во дворе, дверь нешироко приоткрылась, и в чулан проскользнула маленькая темная фигурка.

– Фу! А я уж думала! Так беспокоилась...

Взмахнув с облегчением руками, она опустила на высокий порог и заплакала, едва слышно всхлипывая и утираясь уголками темного в крапинку платочка. Агеев молчал, он уже догадывался, отчего она плачет.

– Ой, что они с ними сделают!.. Они всех их собрали... Всех, всех... Никого не оставили, все ихнее забрали. Это ж и меня заставили зерно выгрести... У кого какое осталось, все выгребли...

– Куда их погнали? – дрогнувшим голосом спросил Агеев.

– А кто же их знает! Говорят, на станцию. Куда-то отправлять будут. А некоторые говорят: постреляют в Горелых торфяниках.

– И что, никто не убежал?

– Как же убежишь? Они же с винтовками на всех улицах, на огородах. Двоих молодых

застрелили за то, что не подчинились, говорят. И Евсеевну с ними...

– Евсеевну? – почти с испугом переспросил Агеев.

– Евсеевну тоже. У нее же мать старенькая. Так с матерью и погнали.

Агеев про себя тихо выругался. Со вчерашнего дня он с часу на час ждал акушерку – надо было сделать перевязку, из-под бинта стало подтекать на брюки, и, хуже того, ему все время казалось, что в ране шевелятся, поедают его плоть белые черви, одно представление о которых заставляло его вздрагивать. Но он ничего не мог сделать, чтобы помочь себе, у него не было ни клочка ваты, ни бинта, ни лекарства. Будет забот, если снова не заладится с раной, подумал он. Барановской, однако, он ничего не сказал, той за сегодняшний день и без него хватило волнений, и тихо сидел на топчане, протянув вдоль сенничка свою бедолагу ногу. Немного успокоясь, хозяйка вытерла глаза и вздохнула.

– Пойду. Картошки надо сварить на ужин.

– Не до ужина тут, – сказал он грубовато.

– Ну как же! Надо же вам скорее на ноги встать...

– Оно бы не мешало...

Барановская выскользнула из сарайчика, а он стал думать, как выбраться из этой западни, в которой его теперь уж, определенно, не ждало ничего хорошего. Прежде хоть была какая-то надежда на доктора, его помощь и лекарства, а теперь вот и эта надежда убита... Что-то следовало предпринять, что-то придумать. Но что? Он все время напряженно думал, ломал голову в поисках выхода, но выхода не было, раненая нога лишала его подвижности, и постепенно ему стало казаться, что он обречен, потому что когда-то пропустил свой единственный шанс, промедлил или поступил не так, как следовало поступить в его непрестом положении, и теперь оставалось одно – готовиться к расплате за свою оплошность.

Правда, у него был Молокович.

И Агеев стал с нетерпением ждать Молоковича, все-таки тот обладал большими, чем он, возможностями в этом местечке, хотя бы большей подвижностью, уж он лучше владел обстановкой и должен помочь. В прошлый раз они не условились о встрече, и теперь Агеев надеялся, что тот скоро придет, они обсудят их положение и что-то придумают.

Когда в хлеву-сарая послышались осторожные шаги, он так и подумал, что это идет Молокович, потому что с кем же еще могла там тихонько разговаривать Барановская? К этому времени на дворе еще, может, только сгущались сумерки, а в сарайчике почти уже стало темно. Агеев едва различал прямоугольник низкой двери, которая тихонько отворилась – шире, чем если в нее входила хозяйка, и в сарайчик влез кто-то, явно не Молокович, кто-то, еще не бывавший здесь, громоздкий и незнакомый. Агеев настороженно вскинулся, но из-за широкой спины вошедшего послышался негромкий успокаивающий голос хозяйки:

– Так вы уж вдвоем тут. Я на дворе побуду...

– Да, посмотрите там...

Сказав это, вошедший тем же густым низким голосом сдержанно поздоровался и, неопределенно потоптавшись на месте, уселся на высоком пороге. Курица, что весь день спокойно сидела в углу на покладе, встревоженно прокудахтала и утихла. Агеев понемногу успокаивался, он уже понял, что человек этот не враг, врага Барановская не привела бы сюда. Но, кто это был, о том предстояло только гадать. Они недолго помолчали. Агеев ждал, гость, похоже, вслушивался в гнетущую тишину, которая установилась к ночи в потрясенном дневными событиями местечке.

– Вы давно тут... отдыхаете? – спросил наконец вошедший.

Агеев умел с первых слов по тембру и звукам голоса определять характер человека. В армии обычно старались показать в голосе твердость и деловитость независимо от того, были они в наличии или говорившему только хотелось, чтоб были. Так или иначе, но в голосе многое отражалось, надо было лишь уметь слушать его. Голос же пришедшего, вне всякого сомнения, обнаруживал в нем человека штатского, не очень молодого, даже вроде пережившего что-то трудное, и Агеев скупно ответил:

- Три дня... отдыхаю.
- Да, отдых, конечно... Не приведи бог!
- Вот именно.

Они опять помолчали. Агеев ждал, а гость, по-видимому, все не решался начать разговор, ради которого он, несомненно, и пришел сюда.

- Я тоже на этом топчане неделю провалялся. До вас.
- Вот как!

Агеева это удивило: тут уж явно просматривалась какая-то общность их судеб, хотя и требовавшая некоторых уточнений.

- Что, по ранению?
- Представьте себе. Хотя и не военный, но вот нарвался на пулю.
- Ах, вон что, – несколько разочарованно сказал Агеев.
- На станции, знаете, при эвакуации. Пришлось остаться. Но ведь в чем сложность – в райкоме работал, все меня знают. И полиция тоже. Спасибо вот Барановской – укрыла, выходила.

- Да. Меня тоже выхаживает.
- А вы в бою?
- При прорыве из окружения. В ногу.
- Да-а... Окруженцев теперь идет ой сколько! Все на восток.
- На восток, куда же еще! За фронтом. Я тоже, если бы вот не нога.
- С раненой ногой, конечно, далеко не уйдешь.
- А у меня был еще и осколок. Спасибо вот извлекли.
- Евсеевна? – живо догадался гость.

Агеев промолчал, не зная, стоит ли называть имя его спасительницы. Но гость, видимо, понял все и без его подтверждения.

– Евсеевна, она тут многих на ноги поставила, – сказал он в темноте и вздохнул. – Но, кажется, больше не придется... Угнали сегодня вместе со всеми...

- Их уничтожат?
- Похоже на то.
- Ужасно!
- Ужасно – мало сказать. Чудовищно! Половина местечка как вымерла. А ведь они здесь жили столетиями. Тут на кладбище десятки их поколений...

– И ничего нельзя было сделать?

– А что же сделать? Не готовы мы были к этому. Да и силы пока не те. Борьба ведь только разворачивается.

- Партизаны? – догадался Агеев.
- И партизаны, и еще кое-кто. Осваиваем разные методы, – несколько уклончиво ответил гость и вдруг спросил: – Вы член партии?

Агеев помедлил с ответом, однако уже понимая, что надо отвечать по совести, в открытую. Кажется, настал именно такой момент, когда уклоняться от прямого ответа или тем более лгать было неуместно.

- Кандидат, – сказал он просто и зatih.
- Что ж, это хорошо, это почти что член. Тогда будем знакомы. Я Волков, секретарь райкома.

Гость протянул руку, Агеев пожал ее, молча скрепляя полный неизвестного, но наверняка значительного смысла их тайный союз. Агеев еще не все мог представить себе, но уже почувствовал, что именно с этого знакомства начинается новая полоса его жизни, вряд ли спокойная, но содержащая именно то, чего ему не доставало. Во всяком случае, было ясно, что он избавлялся от одиночества и неопределенности, приобщался к организованной силе, отсутствие которой он так болезненно ощущал все последние дни их блуждания по немецким тылам и пребывания в этом местечке.

- А вы что же, проживаете здесь? – спросил он, несколько удивляясь, что секретарь

райкома продолжал находиться в местечке.

– Нет, проживаю не здесь. Вот пришел специально кое-кого проведать. Так вот, у нас к вам будет предложение. Или просьба. Понимайте, как хотите. Как вам сподручнее.

Агеев насторожился. В общих чертах было нетрудно представить характер этого предложения-просьбы, хотя и, без необходимых подробностей. Но он хотел сперва объяснить, что его возможности ограничены, потому что он пока не ходок, поэтому может стать полезен разве через недельку-другую, в зависимости от того, как поведет себя эта проклятая рана. Но Волков, будто разгадав его мысли, сказал:

– Оно понятно, вы не ходячий, и мы вас пока с места не строим. Лечитесь... Но прежде всего надо легализоваться.

– Как легализоваться? – не понял Агеев.

– Это просто. Барановская даст вам документы погибшего сына. Его тут мало кто знает. Но это скорее формально, для полиции. Вы вернулись домой, не совсем здоровы, работаете по хозяйству.

– Да, но... Как по хозяйству?

– Ну, во дворе, на огороде, дровишки... Понимаете, нам нужен свой человек в местечке. Наши, понимаете, всем тут известны, наших сразу раскроют. Вы же по документам инженер, беспартийный специалист. К тому же сын священника.

– Какого еще священника?

– Отца Барановского. Ведь тетка Барановская – бывшая попадья. Она в полном доверии у властей.

– Вот как!..

– А почему это вас так удивляет? Попадья, да. Но она честная женщина, она вас прикроет. А вы ведь командир, оружие знаете...

– Как не знать – начальник боепитания.

– Тем более. Нам именно такой и нужен. К тому же тут, понимаете... Подходы к хате Барановской очень удобные. Из овражка и во двор.

– Подходы действительно...

Далее Агеев плохо слушал этого вечернего гостя. Хотя он и был готов выполнять все, что ему поручалось, он не ожидал для себя такого рода поручений и теперь торопливо осмысливал их, соображая, как совместить все это с его армейским положением. Все-таки он был кадровым командиром армии, из которой никто его не увольнял, и он продолжал чувствовать на себе непростой груз ее военных обязанностей, прерванных разве что временными неудачами и его ранением.

– Мы очень рассчитываем на вас, – нажимал тем временем секретарь райкома.

– Ну что ж! Разве что до прихода наших. Ведь я должен пойти в армию, на фронт.

– Ох, фронт, фронт! – сокрушенно проговорил Волков. – С фронтом беда, товарищ. Кажется, наши Смоленск оставили.

Действительно, черт знает что творилось на фронте, что происходило в оккупации! Разумеется, в такое время было бы преступлением спокойно лежать на этом топчанчике и ждать, когда тебя вызволят из-под немецкой власти. Борьба с этими сволочами не прекращалась, и здесь она, может, только еще налаживалась, значит, он был обязан и не имел права уклониться от участия в ней. Но это чисто умозрительно, почти теоретически. Теоретически все было просто и, несомненно, легче, а как вот на деле? Стать сыном попадья Барановской, сменить фамилию, жить по чужим документам да еще легализоваться перед немецкими властями... Черт знает что такое!..

– Пока что фронт движется на восток, – усталым голосом исстрадавшегося человека говорил Волков. – К Москве катится. Но, я так думаю, не долго еще будет катиться. Где-то должен произойти перелом. Где-то им дадут в зубы!

– Должны бы!

– А здесь полный разбой. Повылазили разные гады. Да и наши некоторые. Начальником полиции – армейский командир. Сам добровольно пошел.

– Таких сволочей стрелять надо! – возмутился Агеев.

– А вам придется иметь с ними дело.

– Это похуже.

– Похуже, но надо. Как-то надо поладить, на это мы и рассчитываем. Будете держать связь только со мной. Волков – конечно, мой псевдоним. Придет кто, мужчина или женщина, скажет: от Волкова. Это значит, от меня. Ваш друг Молокович будет работать на станции.

– Да? – обрадовался Агеев. – Вы с ним говорили?

– Конечно. Работенка у него не бог весть – в кочегарке. Но нам именно там и надо. Он как человек? Надежный?

– Хороший парень. Вполне!

– Мы тоже так думаем. Будете работать в паре. Барановская поможет. Она в курсе.

– Ну спасибо! – Агеев был растроган.

И в то же время он почувствовал, как быстро растет в нем тревога.

Его взбудоражил этот разговор, неожиданные заботы и опасения все круто меняли в его положении. Прежней оставалась разве что его рана, которая властно напоминала о себе при малейшем движении.

Они почти уже обговорили свое сотрудничество, условились о главном и, когда Барановская принесла ужин, сидели молча, погруженные в свои невеселые мысли. Агеев без прежнего аппетита поел картошки с огурцами – теперь все его заботы уходили в будущее, в область новых, непривычных для него отношений с Волковым и, что особенно заботило его, с врагами, в общении с которыми он должен был отказаться от себя прежнего и надеть новую личину. Как это у него получится? И чем может кончиться? Впрочем, чем может кончиться при неудаче, он представлял отлично, но теперь хода назад не было, предстояло готовиться к любой неожиданности. Все эти недели после разгрома полка он не мог отделаться от навязчивого чувства виноватости оттого, что он так нелепо выпал из жестокой войны, выбыл из части, которая, вполне возможно, перестала существовать вообще. Но ведь существовала армия, а с ней оставался в силе и его воинский долг, определенный когда-то принятой им присягой. Правда, он был ранен, и это обстоятельство оправдывало в его судьбе многое, хотя далеко не все. Даже будучи раненым, он не имел права на спокойное житье под немцем, бездейственное выжидание перемен к лучшему на жестоком фронте борьбы. Он чувствовал, что, если ему суждено будет прибиться к фронту, там придется что-то объяснять, в чем-то оправдываться, ведь у него оставалось оружие, которое он должен был использовать против фашистов. Конечно, то, что ему предлагал теперь этот Волков, лишь отдаленно напоминало вооруженную войну с захватчиками, но что делать – другая война была пока за пределами его возможностей.

После ухода вечернего гостя Агеев лежал с открытыми глазами, думал. Как всегда, его чуткий слух был настороже, проникая в обманчивую тишину ночи, в которой таилось разное. Молокович так и не пришел сегодня, и Агеев думал: не случилось ли и с ним что-нибудь скверное? В таком его положении лишиться Молоковича было бы более чем печально. Хотя в данный момент он уже и не чувствовал себя таким одиноким, как прежде, все же Молокович продолжал оставаться его главной опорой – юный лейтенант связывал его с их недавним воинским прошлым, горемычным полком, тяжелыми боями и утратами, прошлым, которое хотя и не стало предметом их гордости, но и не давало повода устыдиться. Свой боевой долг они выполнили как только могли, и не их вина, что все обернулось таким драматическим образом.

К ночи опять разболелась рана, в глубине которой стало болезненно дергать; пульсирующая боль отдавалась в бедро, и он, стараясь поудобнее устроить ногу на сенничке, вертелся на топчане то так, то этак. Наверное, Барановская со двора услышала его возню и заглянула в сарайчик.

– Как вы тут? Может, принести чего?

– Нет, спасибо. Ничего не надо.

– И я вот спать не могу. После всего, что навиделась, что наслышалась...

– Ужасно! Что и говорить.

Она не торопилась уйти, в темноте он почти не видел ее, только чувствовал ее деликатное присутствие и сказал без особой настойчивости:

– А вы побудьте со мной.

– Побуду, да. Знаете, одной теперь невозможно. Просто не хватает выдержки.

– Да, сейчас выдержки надо иметь уйму. Скажите, а этот Волков... Он говорил с вами?

– Антон Степанович? А как же, разговаривал. Вы не беспокойтесь, я же говорила, что сынок мой был очень похож на вас. И возрастом такой же.

– Как его звали? Олегом?

– Олегом. Олег Кириллович Барановский. Так что теперь вы Барановским будете. Вместо сына.

– Ну спасибо. А что, муж ваш – священник? – вдруг без всякого перехода спросил Агеев и почувствовал в темноте, что хозяйка слегка смутилась, вздохнула и ответила погодя, не сразу.

– Был священником Святодуховской церкви. Той, местечковой, что возле базарной площади. Хотя вы же не знаете...

– Не знаю, не видел.

– А я в народном училище работала. Давно это было, – горестно сказала она и умолкла.

– Ну как давно? До революции?

– И после революции. Отец Кирилл был настоятелем до самого закрытия церкви в тридцать втором году. Я перестала работать за десять лет до того. Уже нельзя было. Сами понимаете: попадья – какая же учительница?

– Вы и родом отсюда?

– Нет, родом я из Двинска, одно время жила в Вильно, там окончила Высшее Мариинское училище. Отец был банковским служащим, служил в Вильно, в Полоцке, в Двинске. А сюда я попала с отцом Кириллом, ведь тут его родина. О, это длинная история, как и длинная жизнь. Рассказывать все в подробностях – не хватит рождественской ночи, не то что августовской.

– Трудная была жизнь?

– В наше время легкой вообще не было. Но нам досталась особенно каторжная. И теперь вот... Был один сын, вся моя надежда, казалось, живу для него только, но вот и его не стало. Одна! Иногда думаю: зачем жила? Какой смысл жить дальше? Да еще в такую войну? Все страшно, трудно, изломанно. Думаю иногда, может, где неудачно сделала выбор, ошиблась в главном? Нет, вроде нигде. Всегда старалась жить в согласии с совестью, с добром, даже с передовыми идеями века. Но как назло именно такую меня век и не принял. Может быть, опоздала или, быть может, рано в него явилась, в этот наш бешеный век. Подруга у меня была, Любочка Чернова, славная девчушка, вместе музыке учились, талант не бог весть какой, но консерваторию окончила, в Москве неплохо пристроилась, вышла замуж за соработника. А мне музыки было мало – я рвалась в народ, нести ему разумное, доброе, вечное, облегчить его участь, просветить, открыть светлый путь к знанию. Отец не одобрял все это, он многое из того, что тогда витало в воздухе века, не одобрял, придерживался старых взглядов, был недоверчивый, довольно подозрительный к новому чиновник. Но мама, моя милая восторженная мамочка, она горячо поддержала мой выбор профессии народной учительницы, она сама всю жизнь жаждала обучать, просвещать, к прислуге всегда относилась, как к милым родственникам, баловала и одаривала ее к каждому празднику. Толку от этого было немного, они только нагтели, все эти Фрузы, Архипки, Ганки, ленились, опускались, а при случае могли и стянуть, что плохо лежало. Но у матери это не считалось большим преступлением, она утверждала, что все это от темноты и невежества, и она их просвещала, читала по вечерам на кухне Толстого, Некрасова и обучала грамоте. Окончив училище, я пошла обучать грамоте деревенских мальчишек в глухом уезде Витебской губернии. Не скажу, что эти годы были худшими в моей жизни, скорее наоборот – мальчишки меня любили, да и я привязалась к ним, ничего не жалела, ни сил, ни труда,

приобщала к культуре и элементарным знаниям, сама перебиваясь с хлеба на квас, ютясь по углам у местечковых евреев. Но в этом я видела свой долг перед народом и исполняла его с жаром и рвением. Сами понимаете, в молодые годы этого рвения всегда в избытке.

– И вы здесь, в местечке, работали? – спросил Агеев.

– Нет, не здесь, в разных местах. Но больше всего в Дриссенском уезде. Одно время под Двинском, в десяти верстах от города. Там и познакомилась с отцом Кириллом.

– А он что, уже и тогда был священником?

– Только что окончил духовную семинарию, собирался получить приход, может, не самый худший в епархии. Но, конечно, народ, как везде, был беден, жил в темноте, и отец Кирилл с не меньшим жаром, чем я, взялся за духовное его воспитание. Это теперь так говорится, что религия – опиум для народа, а тогда так не думали, большинство считало наоборот, что вера возвышает, облагораживает, приобщает к истине и свету жизни. Правда, и тогда были атеисты, такие, что считали ее далеко не главным в жизни общества, на первое место ставили просвещение, пользу знаний. Я тоже принадлежала к этим последним...

– Как же вы тогда замуж вышли? За попа? – улыбнувшись в темноте, спросил Агеев.

Как-то вопреки своему настроению он слушал рассказ Барановской – и все с большим для себя интересом, постепенно открывая в хозяйке совершенно другого человека, чем тот, который ему показался сначала. Это было неожиданно и даже удивляло. А он ее принял за темную деревенскую тетку, эту выпускницу виленского Мариинского училища и жену приходского священника.

– В том-то все и дело, и я собиралась рассказать вам, как это случилось в моей жизни – все наперекор убеждениям, склонностям. Разных мы придерживались убеждений, а вот слюбились, не знаю даже почему. Хотя влюбиться в отца Кирилла было нетрудно, он был такой видный, высокий, с русой бородкой, глаза синие-синие, взгляд вроде наивный, мечтательный, а голос... С голоса все и началось. Впервые услышала его в церкви, зашла во второй раз, а потом встретила с ним у исправника на рождество, а на масленой неделе он уже просил моей руки. Родители были под боком, в Полоцке, но я все решила сама, и обвенчались в той же его церкви. Отец мой, когда узнал, ничего не сказал, а мама закатила истерику – такого она не ожидала. Но гнев ее долго не длился, стоило ей увидеть моего голубоглазого священника, как гнев сменился на милость – Кирилл очаровывал любого прежде всего своим кротким видом, затем осанкой, ну и умом, конечно. Кроме священных канонов он неплохо разбирался в литературе, знал искусство, современное, западное и византийское, да и к православной церкви относился умеренно критически, видя в ней не только плюсы, но и ряд минусов. Однако он избегал порицать руку, дающую ему хлеб, и обязанности свои исправлял прилежно.

В пятнадцатом году родился у нас Олежка. Я жила тогда у родителей в Полоцке, Кирилл был на фронте, он служил полковым священником в Галиции, часто писал о бедствиях русского солдата в той нелепой войне. Через год летом приехал на побывку, одарил нас коротеньким счастьем и уехал. И тут, знаете, я словно вдруг повзрослела, может, под его влиянием или оттого, что стала матерью, но именно с этого лета у меня мало что осталось от демократизма моей молодости и впервые приоткрылась великая тайна бога. А может, потому, что время изменилось – настали долгие годы разрухи в тылу, бедствий на фронте, человеческих трагедий. Как раз летом этого года погиб на фронте под Ригой мой двоюродный брат Юра, которого я так любила. Славный был, чистый мальчик, пошел из патриотических побуждений вольноопределяющимся в артиллерию, но постепенно разочаровался в войне, незадолго до гибели писал полные тоски письма и погиб, спасая батарею от неприятеля. Помню, меня тогда поразило это – ненавидел войну, фронтовые порядки, начальство, а когда пришел час, проявил героизм и погиб, до конца исполнив свой долг. И я думала: что это, высшая доблесть или мальчишество? Я все примеривалась к характеру брата и не могла понять, способна ли я сама на такое.

– Ну, вам-то зачем было примериваться? Вы же женщина. Да еще молодая мать, – сказал Агеев.

– Наверное, в том-то и все дело, что стала матерью, это, знаете, всегда меняет психологию женщины, особенно в трудное время, привязывает к ребенку и, знаете, к мужу тоже. Я это поняла, когда дождалась наконец Кирилла – пришел уже под осень в семнадцатом, измотанный, обовшивевший, душевно надломленный. Октябрьский переворот он встретил спокойно, без особенной радости, но и без печали, сам он был выходцем из крестьян, знал жизнь беднейших классов, близко принимал их интересы и нужды. Многое из старого рушилось, свергалось, предавалось поруганию, но, казалось, все это делалось в интересах трудовых масс, для пользы народа. А коль для народа, то какой мог быть разговор – народ мы уважали с дней нашей юности, для народа мы готовы были на жертвы. Но на разумные жертвы. И, когда у нас разграбили имение барона Бротберга, сожгли библиотеку, поуродовали дорожную мебель, скульптуру, Кирилл возмутился, ведь все это очень пригодилось бы для новой, народной власти. Но имение – ладно, имение, в конце концов, дело наживное, а вот то, что расстреляли директора народного училища, который всем сердцем и трудами служил именно народу, это уже бог знает что! А расстреляли только потому, что тот пытался воспрепятствовать разгрому поместья, имея в виду перенести туда училище, так его расстреляли как защитника буржуазии, поместье сожгли. И кто? Те самые темные, подневольные мужики, дети которых учились в народном училище у этого самого директора Ивана Ивановича Постных. Может быть, этот случай, а может, другие, подобные ему, заставили меня думать, что людей надо делить не по сословной и классовой принадлежности, не по профессиям и должностям, а на добрых и злых и что на одного доброго в жизни приходится десять злых. И что доброта невозможна без бога, а со злом в человека обязательно вселяется дьявол, которому уже не будет удержу.

После гражданской войны Кирилл получил приход в родном местечке, До него тут долгие годы заправлял церковью отец Филипп Заяц. Это, я вам скажу, был не лучший из служителей божьих, да и из сынов человеческих тоже. Типичный поп-обирала, обжора и пьяница, каких тогда немало встречалось в провинции. Этот умел приспособить религию для личных целей, да так ловко приспособливал, будто она для него и была создана. Попадья тоже подобралась под стать батюшке, такая же жадная и корыстная; впрочем, она и правила и батюшкой, и приходом – невежественная, свирепая женщина. До революции прихожане ежегодно подавали жалобы, до священного синода дошли, но Заяц, где надо, умел прикинуться агнцем, а жалобщиков потом пускал по миру. Последнюю жалобу на него посмела написать молодая сельская фельдшерица, так он довел ее до того, что девушка отравилась морфием. И мертвой еще отомстил: не разрешил похоронить на кладбище – закопали за оградой с тыльной стороны. Но все же если не жалобой, то смертью своей она добилась, что Зайца отстранили от прихода, назначили отца Кирилла. Переехали в эту вот хату. Когда-то тут прошло детство мужа, теперь проходило детство нашего Олежки. Я в школе уже не работала, была просто иждивенкой, попадье, жили мы преимущественно с огорода да с того немногого, что жертвовали прихожане. Трудно жилось. Но тогда всем трудно жилось. Я полюбила этот домик, и двор, и соседей по улице – все они были трудолюбивые, простые, бесхитростные люди. Я старалась со всеми жить в мире и добре, чем могла помогала многодетным семьям, уличным детишкам, у нас появились друзья из простонародья. Интеллигенция – учителя, совработники – как-то с нами не очень общались, но бог с ними, я их понимала. Потом стало хуже, отец Кирилл заболел, стал плохо спать, часто нервничал, хотя исправно правил службу, ездил на требы, добросовестно делал все, что полагалось делать приходскому священнику. Но разворачивалась борьба с религией, и, как нередко бывает, эта борьба стала переходить на личности, обретать конкретные цели. Понятно, что отец Кирилл стал первым объектом этой борьбы. Часто стали нарушаться порядки на обеде – то выкрики, то пьяные свары. Потом стали его вызывать – в ОГПУ, в сельсовет, а то на диспуты в народ. Он не противился, послушно ходил, участвовал в диспутах, где, конечно же, верх принадлежал не ему. Верх всегда одерживал Коська Бритый – не знаю, кличка это или фамилия. Но однажды, когда отец Кирилл рассказывал о происхождении святого евангелия, этот Коська Бритый решил сразить его вопросом: «А ты

сам бога видел?» Отец Кирилл стал объяснять, что бога невозможно увидеть, что это скорее нравственное понятие, чем персона, но Бритый заорал, как дурной, что «нравственность или норовистость – это от кобылы, которая не хочет идти в оглобли, а мы люди свободные, теперь нам воля и плевать мы хотели на бога!».

Все это было довольно курьезно, если не возмутительно, но Кирилл умел смирять свой гнев и еще пытался объяснить что-то, может быть, более популярно, пока двое дружков этого Бритого не взобрались на сцену и не надвинули на глаза священника шапку, без лишних слов закрывая тем диспут. Потом было много разного, больше скверного... О выкриках, обидных репликах на улице, в лавках вслед отцу Кириллу и мне я уж не говорю, я к ним как-то привыкла и старалась не замечать их. Хуже стало, когда малый Олежка стал приходить с улицы с жалобами на товарищей – то обзвали, то обидели, а то и побили. Помучились мы, погоревали, да и отвезла я сына к бабушке в Полоцк. Там он был просто Олег Барановский, пошел в школу, учился, как все, и только летом приезжал на несколько недель к отцу и матери. Что творилось в моей душе, этого никому не понять. Даже муж не знал всех моих мук, тем более что ему хватало своих.

Барановская говорила прерывисто, с трудом, часто останавливалась, словно прислушивалась между мыслей к невнятному шуму ушедших лет, и Агеев понял, что это не просто рассказ – это исповедь исстрадавшегося человека, реквием по уходящей жизни. И он внимательно слушал, пытаясь понять сокровенный смысл чужой судьбы. Никакого личного отношения к этой судьбе у него поначалу не было, как не было ни сочувствия, ни осуждения, был только тихий, зарождающийся интерес, любопытство. Сам он принадлежал другому времени и шел совершенно иной тропой в жизни. Иногда, слушая ее голос, он переставал видеть ее нынешней и представлял в мысленных образах прошлого – то дореволюционного, то учительского, потом местечкового, поповского быта. Хотелось узнать, как оно было дальше и что стало с ее голубоглазым священником.

– Отцу Кириллу совсем плохо стало, когда в начальство над местечком вышел этот Коська Бритый, уж как только он не издевался над нами! Ни одного собрания, заседания или спектакля в нардоме не проходило, чтобы он не поносил бога, церковь и священника, отца Кирилла, прорабатывал его как последнее исчадие яда. И я немало удивлялась терпению отца Кирилла, который не озлобился, ни разу не вспылил даже, терпел все, иногда вступал в диспут, а чаще молчал, потому что разговаривать с Бритым всерьез было невозможно, тот только грозил и ругался. И вот дело кончилось тем, что однажды весной церковь закрыли – как раз перед пасхой. Конечно, это вызвало ропот верующих, некоторые подавали жалобы властям и даже писали Калинин. Но все жалобы возвращались для разбора к тому же Коське Бритому, который после этого распался пуще прежнего. Однажды, когда уже организовалась МТС, он подогнал два трактора к церковной ограде, наш верхолаз в прямом и переносном смысле Лекса Семашонок взобрался на купола и зацепил за кресты канаты. Наверное, собралось полместечка смотреть, как трактора, ревя и дергаясь, выломали из куполов кресты и стащили их с крыши. В непогоду церковь стало заливать дождем, утварь и внутренности стали портиться, так продолжалось с год, пока однажды комиссия сельсовета не реквизировала все имущество. Утварь отправили в город. Книги растащили мальчишки и долго еще из рукописных пергаментов мастерили воздушных змеев, запускали возле школы. А из риз промартель шила тюбетейки, и весь район ходил летом в этих шитых золотом и серебром мусульманских уборах.

Отец Кирилл едва пережил закрытие церкви, однажды совсем было впал в уныние. Другой работы он делать не умел, да ему никакой и не давали, и вот тогда он надумал: попросил одного знакомого из Ленинграда прислать ему сапожный инструмент, ну там колодки, щипцы, молотки и стал чинить обувь. Как-то надо было жить, доходов у нас никаких не было. Конечно, сапожник получился из него неважнецкий, зарабатывал иногда пять яиц за день, иногда ведро бульбы или копеек пятьдесят деньгами, с того и жили. Но и то продолжалось недолго, частных облагали большими налогами, нельзя было заниматься частным предпринимательством. А в сапожную артель его не принимали – мешало

соцпроисхождение. Что было делать?

Барановская замолчала, переживая что-то недосказанное или недодуманное, и Агеев немного погодя спросил, выговаривая слова как можно тише и деликатнее:

– Ну, а как же вы жили?

– Плохо жили, что и говорить. Иногда казалось, судьба замкнула на нас свой капкан, из которого не было выхода. Разное думалось, больше плохое. Но порядочность и вера удерживали нас от последнего шага, а главное, держал в жизни Олег. Когда однажды ночью не стало отца, а вскоре сломал себе голову этот мучитель наш Коська Бритый, в местечко приехал Антон Степанович.

– Этот самый Волков?

– Этот самый. Несомненно, он происходил из добрых людей, как бы ни назывался и чем бы ни занимался у власти. Олег кончил школу, но, сами понимаете, куда ему было сунуться с такими его родителями? И вот однажды пошла, в райком, рассказала Антону Степановичу все без утайки, как вот теперь вам, он выслушал, не шевельнувшись за своим столом, не перебив ни разу, потом встал, заложил руки назад и так молча заходил по кабинету – из конца в конец. Я уже хотела уходить, всплакнула, а он остановился у окна и, не оборачиваясь, говорит тихо: «Я вас понимаю я помогу вам. Потому что... потому... Мужа вашего уже не спасешь, а сыну жить надо. Сын за отца не отвечает. А вот нам придется когда-нибудь ответить перед народом. Когда-нибудь он спросит...» И, знаете, он дал такую бумагу, что, мол, Барановский Олег, будучи происхождением из семьи священника, порвал с родителями и желает строить бесклассовое социалистическое общество. Признаться, прочитав такую бумагу с печатью, я заплакала, а он говорит: «Не плачьте, так надо. Для вас это самый подходящий вариант». И правда оказался подходящим – Кирилл пропал без следа, а Олег поступил в институт, окончил его и стал специалистом. Для него вроде налаживалась новая жизнь, не та, что прожили мы, но вот и это все рухнуло.

Кажется, она исповедалась и замолчала, может, всплакнула немного, и Агеев, приходя в себя после рассказа, завозился на топчане.

– Да-а... Однако... – не мог он чего-то понять. Драматический смысл этой судьбы не сразу, постепенно и как бы рывками, с препятствиями осваивался его сознанием. – Религия, она, конечно, того... Не совместима...

– Дело не в религии, – перебила его Барановская. – Дело у совести, которую далеко не со всем в нашей жизни совместить было можно.

– Знаете, когда шла классовая борьба...

– Вот вы говорите – борьба! Но борьба, когда двое друг с дружкой борются. А ведь мы не боролись. Мы приняли ее, новую власть. А вот она нас не приняла. Боролась с нами. И это разве не обидно?

Что он мог ответить этой бывшей попадьей? Все, что происходило в те годы в стране, было ему хорошо знакомо и выглядело обоснованно – если смотреть, конечно, со стороны. Но стоило вот краем глаза заглянуть в душу этой вот женщины, как становилось больно и обидно, это он почувствовал точно.

Барановская Оказала:

– Знаете, мы были обделены в нашей жизни добром, может быть, потому так дорожили его жалкими крохами, которые нам доставались. И которыми мы старались оделить других. Что же еще могло быть дороже? Золото? Богатство? Их у нас никогда не было, а доброта была, к ней меня приучил муж, вечная ему память за это. Для себя уже не надо, мне что... Для других. Тем более для хороших людей. Которые в ней нуждаются...

Которые в ней нуждаются...

Когда она ушла, наверное, уже за полночь, он все думал, что бы делал сейчас, если бы не людская доброта, не христианское, человеческое или какое еще там милосердие этой тетки-попадьи? Сколько уже недель он жил на вражеской территории, эксплуатируя именно эту доброту людей – с пропитанием, укрытием, а теперь еще и с уходом за ним, раненым, – не воздавая за нее ничем, все получая по праву... По праву защитника, что ли? Но какой же

он оказался защитник, если немцы оттяпали всю Беларусь и дошли до Смоленска, плохой из него получился защитник. А вот ведь не стыдно, даже в чем-то ощущается правота перед этой бывшей попадьею, которая его кормит, обихаживает, охраняет.

Чем он отплатит ей?

Он верил ей и не сомневался в искренности ее исповеди, но где-то в глубине его души все же таилась подленькая опаска: как бы она не подвела его, эта попадья. Все-таки она принадлежала к чужому классу, а разность классовых интересов есть вечная предпосылка для борьбы, это он усвоил себе со школы. Столько настрадавшись в жизни, потеряв мужа и сына, как можно платить за свое горе добром? Но, видно, можно, недаром же ей доверился секретарь райкома, теперь доверили его, Агеева. Стало быть, есть в ней что-то выше ее классовых обид, а может быть, и выше врожденного стремления к справедливости. Что-то добрее доброты, повторял он в уме, не находя ответа и чувствуя, что засыпает...

3

Проснувшись, как всегда, на рассвете, Агеев тянул время, не вылезая из мешка, думал. Дождя, кажется, уже не было, ветра тоже. Верхняя часть палатки медленно просыхала, освобождаясь от мокрых пятен. Он рассеянно смотрел на извилистые очертания этих пятен, с рассветом все больше прорисовывающиеся на парусине, и вспоминал несуразный сегодняшней сон, стараясь постичь его смысл. Он давно уже приноровился разгадывать запутанные пророчества своих снов, обычно относящихся к наступавшему дню. Вообще это могло показаться смешным, и он никому о том не рассказывал, боясь прослыть странным или суеверным, но у него сложилась своя система разгадок, глубоко личная, скорее эмпирическая, чем сколько-нибудь научная, но, руководствуясь ею, он мог даже сказать, что из его снов сбудется в первой половине дня, а что во второй. Все в его снах четко соотносилось со временем предстоящих суток. Конечно, было в них и немало неясных или сложных символов, не до конца понятых им значений, но одно оставалось неизменным – скверные сны всегда оборачивались чем-то недобрым в яви и наоборот, радостные сны влекли за собой радостные ощущения в наступившем дне.

На этот раз все было просто и коротко, но до крайности угнетающе – он увидел себя неодетым, без брюк и трусов, в суетливом потоке людей, какой бывает у стадионов во время матча, на привокзальной площади после прибытия поезда, на рынке. Все шли навстречу, а он ничем не мог прикрыть свою наготу и очень переживал от неодетости, которой, однако, не находил объяснения. Сон продолжался, наверное, несколько минут в ночи, но испортил настроение надолго, и он думал: какую еще пакость готовит ему день грядущий? Он нисколько не сомневался, что эта пакость, наверняка состоится, затрудняясь определить только ее смысл и содержание. Впрочем, об этом он думал недолго, со вчерашнего дня его ждало дело, он и так потерял уйму времени, которое быстротечно убывало, ничего не выясняя из того, что он жаждал для себя выяснить. Подрагивая от сырой промозглости утра, он натянул поверх трико свою синюю куртку и, прихватив лопату, пошел к обрыву.

Безотрадная картина, открывшаяся ему вчера после ливня, почти не изменилась за ночь: огромные лужи на дне карьера по-прежнему наполнились желтой водой; рухнувшая с обрыва глыба щебенки и глины развалилась посреди одной из них широкой перемышкой, по-прежнему пугая своим объемом. Это сколько понадобится дней, чтобы перебросить ее в сторону, может, снова попросить бульдозер, подумал Агеев. Но теперь бульдозер сюда, пожалуй, не влезет, бульдозерист не станет рисковать машиной. Да и что проку в бульдозере, который может перевернуть сотни кубов, но мало полезен там, где надобно все перебрать руками.

Агеев спустился с пригорка к дороге и протоптанной им в бурьяне тропинкой, местами оскальзываясь на мокрой земле, спустился в самую глубь карьера. Давно слежавшийся песчано-гравийный грунт здесь не очень поддавался дождю и там, где не было луж, хорошо держал человека. Вода в лужах была непроницаемо мутной, отсвечивающей густой

желтизной, в самых глубоких местах она, пожалуй, достигала до пояса. Самое обидное было в том, что ливень почти затопил самое нужное ему пространство под крутым обрывом, на которое вдобавок ко всему еще и обрушилась рыхлая глыба грунта. Агеев в нерешительности ступил на край этой глыбы и на ее кромке у воды увидел нечто такое, что заставило его выпустить из рук лопату.

Это была омытая дождем, сморщенная и изогнутая женская туфелька неопределенного цвета, на высоком каблучке, с открытым носком и узеньким ремешком на пуговке – точно такая, какие носили перед войной и называли лодочками. Она почти истлела от долгого пребывания в земле, раскисла от влаги, едва сохраняя свою первоначальную форму, но всем своим видом заставила Агеева испытать внезапное волнение, почти растерянность. Правда, по мере того, как он смятенно вертел находку в руках, ощупывая ее размягченную кожу, полуоторванный каблук с остатками вылезших проржавевших гвоздей, волнение его стало убывать под напором трезвых, таких успокоительных мыслей: мало ли тут могло отыскаться брошенной обуви, ему уже попадались и кирзовые голенища от сапог, и рваные детские калошики, теперь эта туфля... Но ведь туфля! Он не запомнил тогда, какой у нее был размер, но их знакомство в том далеком году началось именно с таких вот туфель, кажется, светло-бежевого цвета, которые она принесла ему, новоявленному местечковому сапожнику. Он еще не умел толком подбить каблучки к изношенным мужским сапогам, а она попросила наложить на носок заплатку, и он немало помучился тогда – в узкий носок пролезали лишь два его пальца, попробуй развернись там с иголкой! Может, кому другому он бы отказал в столь неудобном ремонте, но ей отказать не посмел – эта девушка приглянулась ему с первого взгляда.

Пожалуй, однако, это чистейшая тут случайность – туфелька, попавшая в карьер, может, несколько лет назад, вряд ли она могла сохраниться здесь с сорок первого года, со смешанным чувством разочарования и облегчения подумал Агеев и, отложив в сторону находку, взялся за лопату. Он копал и отбрасывал в сторону рыхлую влажную щебенку, пристально ощупывая взглядом каждый комок земли. Но ничего больше там не обнаруживалось – все та же щебенка, песок без следа каких-либо вещей, даже обычного мусора теперь там не было. Накопив немалую кучу, притомившись и разогревшись до пота на спине, он вогнал в землю лопату и, отойдя, где посуше, присел отдохнуть.

Как-то вяло, нерешительно начинался день, дождя с ночи не было, но утро не спешило распогодиться, в небе над карьером висела мягкая молочная пелена, из-за которой нигде не выглядывало солнце. Трудно было угадать, какой выдастся день – то ли прояснится к полудню, то ли снова соберется дождь и вовсе зальет карьер. Тогда совсем будет плохо. Может, впервые за время, которое Агеев провел здесь, у него промелькнула скверная, предательская мысль: сколько же можно? Ну ясно, ему стало необходимо это, сначала любопытство, а потом и непреодолимая потребность подняли его из дома и погнали за сотни верст в этот заброшенный карьер, но ведь сколько можно выкладываться? Он потратил здесь большую часть лета, убил столько и так уже невеликих своих стариковских сил, испытал столько разочарований и столько переволновался зря, по-пустому, а чего достиг? Прежняя загадка, годами тревожившая его сознание, ни на сантиметр не приблизилась к разгадке, породила новые сомнения и новые проблемы. Он перевернул здесь гору земли, с каждой лопатой ожидая увидеть хоть что-то, что могло сохраниться в земле за четыре десятилетия и что с определенной долей уверенности можно было бы отнести к ней: пуговицу, гребешок, пряжку от пояса... Но ничего подходящего ему не попадалось, кроме вот этой туфли, которая могла принадлежать ей с таким же основанием, как и тысячам других женщин. В глубине души это отчасти радовало, потому что продлеvalo неопределенность и тем самым питало надежду. С самого начала надежда была для него благодатнейшим выходом, она давала возможность жить, действовать, оставляя хоть крошечную щелочку для выхода в будущее. Но должна же она наконец обрести хоть маленькое, но разумное обоснование, эта надежда. Именно для надежды следовало исключить из сомнения этот карьер, на котором для него замкнулось самое важное, не перейдя через который, невозможно было рассчитывать на что-

то определенное.

Нет, несмотря ни на что, надо было копать.

Главное он уже сделал, он переворошил огромный завал, перетер в пальцах кубометры земли, осталось меньше. Наверное, он бы закончил все через неделю или дней через десять, если бы не этот неожиданный ливень. Ливень ему все испортил. Что теперь делать?

Однако похоже на то, что он сегодня устал прежде времени, сердце учащенно билось, медленно успокаиваясь, может, причиной всего было его волнение, вызванное этой находкой? Похоже, однако, он начал расклеиваться, возможно, от длительного напряжения стали сдавать нервы, что совсем не годилось. Может, не следовало так изнурять себя работой, а отдохнуть сегодня, расслабиться, думал он, продолжая, однако, сидеть на еще не просохшем отвале земли. Сидя так, он вскоре услышал голоса и, подняв голову, взглянул в сторону дороги. По пояс укрытые зарослями лопухов на входе в карьер, негромко переговариваясь между собой, стояли три человека, взглядами отыскивая кого-то в глубине карьера. Агеев не спеша поднялся, стараясь понять, что им могло тут понадобиться. Это были двое мужчин и женщина. Передний, наконец завидев его в карьере, кивнул остальным, и они друг за дружкой осторожно, боясь поскользнуться на мокрой земле, потянулись в глубину карьера.

Пока они пробирались к нему, Агеев успел рассмотреть каждого, но так и не понял, что это были за люди. Передний, щуплый мужичок в кепке и сером поношенном пиджачишке со смятыми бортами, проворными шажками семенил по тропе, издали то и дело поглядывая на него маленькими, с веселым прищуром глазками. Поотстав от него, тяжело пыхтел тучный немолодой мужчина в черном распахнутом плаще и в летней капроновой шляпе на голове.левой рукой он то и дело опасливо взмахивал на скользких местах, а правой прижимал под мышкой тонкую картонную папку с тесемочными завязками. Последней шла пожилая женщина в цветастом платье, туго обтягивавшем ее богатырскую грудь и могучие плечи, неподвижно неся седоватую голову с собранными на затылке жидкими волосами.

– О, как тут налило! – сказал передний, увидев под обрывом лужи. – Хоть карасей запускай.

– Для карасей не подойдет, – чтобы не молчать, сказал Агеев. – Высохнет, наверно.

Он уже понял, что это к нему, возможно, от какой-нибудь организации или поссовета, и сдержанно ответил на приветствие того, что был в шляпе.

– Ну, скоро не высохнет, – сказал щуплый. – Теперь до осени. А осенью тут будет озеро. Прошлый год, как замерзло, мои тут на коньках бегали, – сообщил он, обращаясь, однако, к спутнику, который молча, все пыхтя и отдуваясь с усталости, разглядывал карьер. Стоя на небольшом возвышении, он поворачивался всем корпусом то в одну, то в другую сторону, все основательно изучая и храня непроницаемо отчужденное выражение на одутловатом потном лице.

– Вы раскопали? – наконец в упор спросил он у Агеева. Полы его плаща широко распахнулись, и Агеев увидел на левом борту пиджака несколько цветных планок наград. Кажется, что-то для него стало проясняться.

– Я, – сказал он негромко.

– Позвольте спросить, с какой целью вы производите здесь раскопки?

Теперь уже все втроем уставились на него: спрашивающий – с командирской строгостью в холодных глазах, щуплый – с некоторым даже любопытством. Женщина, повернувшись к нему вполборота, смотрела угрюмо и подозрительно, и Агеев решил отшутиться.

– Да вот посмотреть, какая земля. Порядок залегания пластов и так далее.

Исполненные подчеркнутого внимания гости промолчали.

– Это с научной целью или как? – полюбопытствовал щуплый.

– Подожди, Шабуня, – начальническим голосом оборвал его тучный. – Пусть гражданин объяснит членораздельно. Если с научной, то должен предъявить документ. От какой организации?

– Хотя бы от НИИ Белгоспрома, – подпустил туману Агеев. – Научно-исследовательский институт, – пояснил он. Это пояснение, однако, совсем не понравилось тучному, который почти обиделся.

– Понимаем, что такое НИИ, грамотные. У меня у самого внук в НИИ под Москвой работает. Так что не сомневайтесь. Предъявите документ!

– Какой документ?

– Документ на право раскопок, – уточнил он, и опять все втроем уставились в Агеева.

Агеев про себя чертыхнулся – пригнало же их в эту рань на его голову, как теперь от них отвязаться?

– А вы кто будете? Чтобы требовать документы, следует сперва предъявить свои, – сказал он, перенимая неподкупную строгость их тона.

– Мы уполномоченные. Подполковник в отставке Евстигнеев, товарищ Шабуня из горкомхоза и вон товарищ Козлова, общественница, – мрачно отрекомендовал коллег подполковник в отставке.

– Очень приятно. Доцент Агеев, – сказал Агеев и решительно протянул руку, которую подполковник с явной неохотой слегка пожал потными пальцами. Потом он подал руку Шабуне и обиженно насупившейся Козловой. – Вижу, от вас просто не отделаешься, – сказал он, все еще не зная, как быть. Все трое с настороженным ожиданием во взглядах смотрели на него, и Агеев, вздохнув, кивнул вверх, в сторону кладбища. – Пройдемте к палатке.

Взбираясь по косогору к своему стойбищу, он все не мог взять в толк, что сказать им, как объяснить свое появление в этом карьере. Весной, приехав в поселок, он ненадолго зашел в исполком поссовета и не так, как хотелось, второпях, минуту поговорил с председателем, который куда-то спешил, у крыльца его ждала «Волга» с представителями из области. Но, кажется, председатель все же понял суть его дела и не возразил. Впрочем, он ему и не говорил о раскопках, он сказал только, что намерен кое-что посмотреть в карьере. И вот теперь эти уполномоченные. Видать, кто-то уже наябедничал, пожаловался в поссовет или выше. Теперь объясняй.

Подойдя к палатке, он расшнуровал вход и, пока подполковник с остальными поднимались по косогору, вытащил из-под барахла рюкзак и развернул полиэтиленовый пакет с предусмотрительно прихваченными из дому документами. Из полдюжины книжечек и обложек он выбрал зеленое удостоверение участника войны и диплом кандидата технических наук, подумал, что эти документы, пожалуй, произведут какое-то впечатление на придирчивого отставника. Он сунул их в руки подошедшего подполковника, который не спеша разыскал в многочисленных карманах очки в тонкой оправе, зацепил дужки за уши. Потом он обмахнул лицо снятой с головы шляпой и только после этого углубился в документы. Это изучение длилось довольно продолжительное время. Шабуня также пытался что-то там рассмотреть, однако скоро отвернулся, буркнув про себя: «Без очков ни черта не вижу», – и лукаво подмигнул Агееву. Козлова, стоя в сторонке, сосредоточенно смотрела куда-то ему под ноги, всем своим отрешенным видом выражая молчаливое неодобрение.

– Документы в порядке! – наконец решительно объявил подполковник. – Участник, кандидат наук. Но что вы ищете в этом карьере, позвольте узнать? И почему без разрешения властей?

– С властью согласовано, – несколько воспрянув духом, сказал Агеев. – Был разговор с товарищем Безбородько.

Подполковник и Шабуня несколько загадочно переглянулись.

– Безбородько месяц как не работает в исполкоме. Снят за нарушения, – мрачно сказал подполковник.

– Вполне возможно, – согласился Агеев. – Но это ничего не меняет.

– Решительно ничего. Так что требуется письменное разрешение.

– Письменное разрешение на что?

– На производство земляных раскопок.

– Каких же раскопок? – несколько притворно удивился Агеев. – Разве это раскопки?

– А что же, позвольте узнать? – театралью взмахнув тощей папкой, подполковник расстегнул завязки. – Вот, пожалуйста: начал с восьмого июня. Девятнадцатого июня с применением бульдозера. С восьми тридцати утра до двенадцати двадцати. Итого, три часа пятьдесят минут механизированных раскопок.

«Однако все верно. Именно столько работал бульдозер, – с удивлением отметил про себя Агеев. – Правильно подсчитали. С хронометром...» Очень ему не хотелось объяснять им что-либо из действительных причин его интереса к карьере, но он уже понимал, что отговориться пустяками, наверно, не удастся. Этот отставник хватал тренированной бульдозерной хваткой, увернуться от которой не просто.

– Ну вот что! – сказал он несколько мягче. – Дело в том... Дело в том, что в этом карьере осенью сорок первого расстреляли группу подпольщиков...

– Это нам известно. В центре поселка им памятник.

– Так вот, знаете, сколько там похоронено? – холодно спросил Агеев.

– Ну, трое.

– А здесь, – он указал на карьер. – Здесь расстреляны пятеро.

– Ну да? – усомнился Шабуня. – Было трое, я сам видел. На похоронах тогда, как из леса пришел. Три гроба стояло...

Его, в общем, добродушное, в мелких морщинах лицо сделалось недоверчиво-обиженным, казалось, он готов был возмутиться от услышанной явной несурезицы.

– Не спорю. Действительно, там захоронены трое. Но... Вот перед вами четвертый...

– Ха! – неопределенно выдохнул подполковник.

– Ну да? – удивился Шабуня, а Козлова пробормотала что-то удивленно или недоверчиво, было не понять. Агеев же не стал объяснять подробности, он и так сказал слишком много. – Во чудеса! – замялся Шабуня, сдвинув на затылок кепку, обнажив белый, совершенно не загорелый лоб. – А где же пятый?

– Вот пятого и ищу, – сказал Агеев.

Он снова стал волноваться, и, пока убирал в мешочек диплом и удостоверение, его огрубевшие, в свеженатертых мозолях пальцы противно подрагивали. Подполковник тем временем что-то напряженно соображал с явной мукой на всем его одутловатом, разопрелом лице. Но вот он наконец нашелся и почти сразил его внезапным вопросом:

– Чем вы докажете?

– Что докажу? – не понял Агеев.

– Что были четвертым? И что был пятый?

– А я и не собираюсь доказывать. Я же ни на что не претендую. Ничего не прошу.

– А раскопки?

– Дались вам эти раскопки! – начал терять самообладание Агеев. – Вам что, жалко этого мусора? Или этой грязи в карьере?

– Нам не жалко, товарищ Агеев. Но, если каждый начнет копать, где захочет, что будет? Форменный беспорядок. А задача общественности поддерживать порядок. На всякое действие должно быть разрешение. А у вас его нет. Поэтому мы обязаны составить акт. На факт нарушения.

– Ваше дело. Можете составлять, – отчужденно сказал Агеев и, отойдя в сторону, сел на перевернутое пластмассовое ведро. Гостям тут сесть было негде, но он не стал их устраивать, пусть устраиваются сами. У него опять заколотилось сердце, окрестности знакомо поплыли перед глазами, и он на минуту прижмурился, чтобы совладать с собой, удержаться при гостях от валидола. Спазм длился, однако, недолго, и, когда он снова взглянул на гостей, те, отойдя к кладбищенской ограде и разложив на камнях картонную папку, углубились в составление акта. Общественница Козлова стояла в сторонке, угрюмо наблюдая за ними.

– Имя, отчество ваше? – издали спросил подполковник, поверх очков взглянув на Агеева.

– Агеев Павел Петрович.

- Где проживаете?
- В Менске.
- Адрес? Улица? Дом?

Ну вот, только этого и не хватало! Как на преступника! Ему очень хотелось срезать этого поборника порядка какой-нибудь колкостью, но он уже знал по опыту, что в таких случаях лучше не затевать свары, смолчать. Себе же будет дешевле, как говорил когда-то Валерка Сеницын, его сослуживец по институту.

Составление акта длилось довольно долго, подполковник несколько раз прерывал работу. Он явно страдал от одышки и потливости и, то и дело снимая шляпу, обмахивался ею, бубня про себя:

- Ведет... ведет раскопки... Нет! Производит раскопки, так лучше, а, товарищ Шабуня?
- Ага, так лучше, – не очень уверенно соглашался Шабуня.
- ...составили этот акт... Нет! Составили настоящий акт! – поправлял себя подполковник, и Шабуня поддакивал:
- Настоящий, ага...
- Ну вот, теперь подписать. Предлагаем вам подписать, – нагнув голову, поверх очков уставился он на Агеева.

– Нечего вам делать! – с досадой сказал Агеев, все еще не в состоянии сладить с сердцем. Он встал и, с усилием переставляя ноги, подошел к оgrade. – Кому помешали мои раскопки?

При этих словах его вдруг обеспокоенно завозилась неподвижно замершая до того Козлова и впервые отозвалась грубым мужским голосом, который показался Агееву очень знакомым. И он тут же догадался, что это хозяйка ярко-желтого дома за дорогой напротив. Как он не узнал ее сразу?..

- А вот и мешают! – протяжно заговорила она. – Занял тут выгон, расположился... А гуси в потраву ходют. Тут не ходют, пугаются... В в потраву ходют.
- Ах, гуси!..

Теперь все стало ясно. Как-то утречком вскоре после того, как он разбил здесь палатку, со стороны дороги появилось стадо гусей, и могучий красавец гусак, предводитель стада, удивленно замер у его палатки. Агеев ласково поманил гусака, но тот вдруг зло зашипел, выгнув шею, и повернул назад. За ним в обход карьера повернуло все стадо, где, наверно, и совершило какую-то потраву. Теперь придется ему держать ответ и за это.

Агеев взял папку с густо и неровно исписанным листком бумаги. Наверно, надо бы почитать, что там сочинил этот отставник подполковник, но без очков он тоже немного видел, а возвращаться за ними в палатку не захотел и небрежно расписался внизу под «птичкой», заботливо проставленной составителем акта.

- Пожалуйста! – сказал он, с нажимом пристукнув шариковой ручкой.

Подполковник спрятал листок в папку, сняв очки, сунул их в нагрудный карманчик пиджака и вдруг спросил странно изменившимся, почти просительным голосом:

- В шахматы играете?
- Что? – не понял Агеев.
- В шахматы, говорю, играете?

Агеев повертел головой – какие еще шахматы? Уж не предложит ли этот законник после всего, что случилось, сыграть с ним партию? Но подполковник не предложил, он лишь вздохнул озабоченно и сказал:

- Вы это... Не обижайтесь, товарищ Агеев. Но порядок есть порядок. Все следует делать как полагается.

- Конечно, конечно, – поспешил согласиться Агеев, не имея никакого желания спорить.

Общественники-уполномоченные почему-то прошлись к обрыву, заглянули в карьер. Проворный Шабуня обежал его поверху до половины, что-то объясняя и показывая, но Агеев не слушал и не стал их провожать, он снова опустил на свое ведро, на котором иногда посиживал по вечерам у костерка и, вслушиваясь в сердечные перебои, думал. Мысли его

были под стать его настроению. Как мало надобно, думал он, чтобы изгадить настроение, и как трудно наладить его снова. Вот ведь ничего страшного не произошло, что ему нелепые домогательства этих настырных общественников, он их ничуть не боялся, потому что не видел в своих действиях ничего сколько-нибудь предосудительного. А вот на душе скверно. Он вовсе не опасался, что их дурацкому акту может быть дан какой-нибудь ход, да и оставалось ему тут, наверно, еще несколько дней поковыряться в этом карьере, и он уедет, скорее всего, так ничего и не определив для себя, ничего не найдя. Да, мудрено, видно, найти что-нибудь спустя сорок лет. Но вот он объяснил им то, что не имел обыкновения объяснять никому, отчего же он не удержался? То, что с ним тут случилось, касалось только его, ну, и ее, разумеется, тоже. Вот перед ней бы он должен держать ответ, но ни перед кем больше. Но ее давно не было, не было даже ее белых косточек, которые, возможно, давным-давно превратились в пепел где-нибудь в крематориях Дахау или Освенцима, а он ищет их здесь. Но, чтобы предположить что-то иное, прежде надо было обрести уверенность, что она в ту осень не осталась в карьере. Потом можно предполагать все что угодно, но только исключив из этих предположений карьер. Если же это ему не удастся и она все-таки окажется здесь, тогда все. Тогда для него «полная финита ля комедия, и ничего больше», как любил повторять все тот же Валерка Сеницын.

Когда немного отлегло, он все же спустился в карьер, взял лопату. Но копать сегодня он, видно, не мог, пугающая слабость в груди упорно не хотела выпускать его из своих ватных объятий. Постояв немного, он поднял найденную утром туфлю, очистил ее от грязи, сполоснул в воде. Все-таки это не ее туфля, решил он. Там, где кожа сохранилась получше, было заметно, что она крашена в темный цвет, ее же лодочки были светлые, он это помнил отлично.

Туфлю он, однако, не бросил, поднявшись к палатке, повесил ее каблучком на растяжку – пусть сушится. Тем временем утро незаметно перешло в день и, хотя солнце так и не показалось в небе, стало тепло, от влажной земли поднимался густой душный пар. Дышалось с трудом, атмосферное давление было низким, Агеев чувствовал это по вялой работе сердца, которое едва шевелилось в груди, то и дело сбиваясь с ритма. Он ждал, что слабость пройдет, надо было посидеть в покое, может, залезть в палатку, отлежаться. Но он все сидел у входа в нее, размышлял. Вспомнил свой сон и печально улыбнулся: все так и есть, как напорочила ему ночь, день подтвердил, пакость свершилась. Надо было сходить за водой во второй от конца улицы двор, где был колодец, но не хотелось вставать, напрягаться, казалось, он утратил сегодня способность двигаться и расслаблено сидел у палатки. К полудню из-за карьера с полей подул легкий ветерок, разогнавший духоту и потревоживший покой угрюмых кладбищенских деревьев, Агеев с усилием поднялся и взял полиэтиленовый бидончик, чтобы сходить за водой. Но, едва отойдя от палатки, он увидел, как из-за угла кладбищенской ограды вынырнул Семен, здоровая рука его размашисто отлетала в такт спорному шагу. Семен был все в той же желтой трикотажной рубашке с короткими рукавами, подол которой непослушно выбивался из-под брючного ремня, слабо стягивавшего его тошую талию.

– Привет! Что не копаешь? Или перекур? – бодро заговорил Семен.

– Перекур.

– Ну и хорошо! У меня тоже. С утра свою пайку сгребал, а тут баба погнала за хлебом. Да черта с два: поцеловал замок. Говорят, подвезут после обеда. Вот прогуляюсь, думаю.

– Ну и хорошо, – сдержанно сказал Агеев и ногой пододвинул гостю ведро. – Садись, отдыхай.

– Ты садись. А я там, где стою.

Он неловко взмахнул кулечей и, не выбирая места, опустился на мелкую, уже подсохшую от дождя травку, привычно скрестив под собой длинные, в растоптанных сандалетах ноги. Здоровый рукой сразу полез в карман за куревом.

– Комиссия приходила, – тихим голосом сообщил Агеев.

– Какая комиссия?

– Подполковник в отставке, потом один из райкомхоза и вон соседка Козлова.
– Какого рожна им надо? – прикуривая от зажигалки, удивился Семен.
– Составили акт на раскопки без разрешения.
– А, так это Евстигнеев! Он всегда акты составляет. С папкой такой, ага?
– С папкой.
– Этот всегда – акты. У «Голубого Дуная» кто поругается – акт. Кто улицу перед домом не подметет – акт. Все на актах.
– Зачем это ему?
– А чтоб по начальству ходить. Вот составит и – в горисполком. В милицию. В товарищеский суд. За порядок воюет, всегда при деле. Без дела не может. В шахматы сыграть предлагал?
– Предлагал, – вспомнив, удивился Агеев.
– Надо было сыграть. И проиграть. Страсть как любит выигрывать. Беда, однако, – ему редко проигрывают. Разве что Скороход. Но этот с расчетом, из подхалимажа. Есть тут один такой вояка, – уловив недоуменный взгляд Агеева, объяснил Семен.
– Да. И еще Козлова с ними.
– Козлова? А эта зачем? – в свою очередь, удивился Семен.
– Да вон гусям ее помешал.
– Ах, гусям! Ну, понятно. Таким завсегда все мешает. Потому что много хотят. Через край. Скажу тебе: с ума посходили люди. Как перед концом света. Все чего-то добиваются, о чем-то хлопочут, достают. Уж чего не достают только! Как то золото. Год назад такие очереди! Толпы! И в поселке, и в городе. Был, видел. У каждой бабы тут, тут понацеплено. Зачем? И вот прошел год – как отрезало. Вон в универмаге лежит, пожалуйста, бери хоть кило. Никому не надо. Что это? Потребность? – возмущенно говорил Семен, словно выговаривая Агееву. – Скажу тебе, много беды оттого, что чересчур баб распустили. Много им позволяем.
– Ты тоже своей позволяешь? – спросил Агеев.
– Позволишь, куда денешься.
– Строгая?
– Язва! – коротко бросил Семен, затыкаясь «Примой».
– Видишь ли, наверное, позволяем потому, что сами не без греха. В семье или на службе. Вот они этим и пользуются, критикуют нас, – попытался улыбнуться Агеев.
– Ох, критикуют! – всерьез подхватил Семен. – Если критика в одну сторону, почему не критиковать. Сдачи не дашь ведь. Ого, попробуй! Она сразу в местком, в партком, в милицию. К соседям, к подругам, к родственникам. И ей верят. А ты куда побежишь? Тебе бежать некуда. Чуть что, кричит: выпивает! А раз выпивает, то и разговора нет. А я хоть и выпиваю, но, может, честнее их всех вместе взятых. Куркулей этих хитропопистых.
– Это вполне возможно, – вздохнул Агеев.
Он поспешно сел, снова почувствовав противную слабость в груди, боясь свалиться на землю, напугать гостя. Но слабость не проходила, и он вынул из заднего кармана трико металлический пенальчик с таблетками.
– Что, зажало? – насторожился Семен.
– Немножко...
– Может, доктора позвать? Если что, говори! Я мигом. В больнице меня знают.
Агеев устроил под языком тошнотворно пахнущую таблетку валидола, минуту подумал.
– Обойдется, может. Лучше водички принеси, пожалуйста. Вон в том доме.
– Да знаю...
Семен подхватил пластмассовый бидончик и без лишних слов припустил вниз, к дороге. Агеев, едва преодолевая боль, смотрел перед собой и думал почти с испугом, что, кажется, ему не повезло основательно. По опыту знал, такое не скоро пройдет, придется залечь или обращаться к врачам. Но и то, и другое было ему не с руки, и он не знал, как быть

и что делать...

Как-то утром, на пятый или шестой день своего пребывания у Барановской, Агеев не утерпел, снял повязку. Вернее, она сама снялась – сползла ночью к колену, обнажив рану, которая хотя и не кровоточила, но вовсю загноилась, по-прежнему источая зловоние. Размотав мокрый, в гнойных разводах бинт, Агеев сидел на топчане, не зная, что предпринять, когда в сарайчик вошла Барановская. Он попытался прикрыть кожушкой ногу, но хозяйка сразу догадалась о его беде и, отстранив полу кожушка, взглянула на ногу.

– Гноится? Это плохо. И больно?

– Не очень. В глубине только дергает.

– Надо перевязать. Я поищу кое-что. Но вот лекарства никакого нет. И Евсеевны нет. В торфяниках всех постреляли.

– В торфяниках?

– В старых разработках. Всех до единого.

– Этого и следовало ожидать! – в сердцах бросил Агеев. – На что было надеяться?

– Человек всегда на что-то надеется. Даже вопреки рассудку. Что же еще остается в безысходности? – сказала хозяйка и вышла.

Скоро она вернулась с белой тряпицей в руках, стряхнув которую, начала рвать на полосы.

– Знаете, я вот думаю... У вас сало, вижу, осталось?

– Осталось, – сказал он, взглянув на стол-ящик, где, завернутый в бумажку, лежал принесенный Молоковичем кусочек сала.

– Оно соленое?

– Соленое вроде.

– Когда-то, помню, после той войны, соленое сало прикладывали к чирьякам. Помогало. Сама на себе испытала.

Что ж, сало так сало, он готов был на все, лишь бы скорее сладить с этой проклятой раной, которая так некстати свалила его с ног. Барановская нарезала на бумажке тоненькие пластинки сала и стала обкладывать ими набрякший от гноя зев раны, в уголках которой белели крохотные червячки, заставившие Агеева брезгливо поморщиться.

– Что, больно?

– Черви...

– Черви – это не страшно. Черви не повредят, говорила Евсеевна.

Агеев недоверчиво хмыкнул, но позволил хозяйке обложить рану пластинками сала, потом они туго обвязали ногу мягкими ситцевыми полосами. Было больновато, но двигать ногой стало сподручнее, острая боль минула, и он собрался выйти во двор. Тем более что предстояла работа, нелегальное его пребывание в этом сарайчике окончилось. Вчера Барановская ходила в полицию хлопотать о вернувшемся на постоянное место жительства сыне Олеге, просила у начальника Дрозденко разрешение открыть мастерскую по ремонту обуви. Чтобы легализоваться, Агееву надо было пристроиться на какую-нибудь работу, иначе ему грозило принудительное трудоустройство через полицию. К тому же он должен был что-то есть, а продовольственные возможности его хозяйки почти исчерпались, кроме огурцов и картошки с огорода, у нее ничего больше не было. Агеев видел, как всякий раз, чтобы накормить его, она отдавала последнее, иногда бежала к соседям одолжить хлеба, и этот добытый ею кусок с трудом лез ему в горло. Ему было неловко за себя, непрошеного ее нахлебника, и он все думал, как помочь ей и себе прокормиться. Так постепенно созрел в его голове этот, может, и сумасбродный план о сапожничестве. Барановская, подумав, с ним согласилась, оставалось получить разрешение полиции. И вот начальник Дрозденко, недоверчиво выслушав жительницу местечка, немного подумал и разрешил. Лишь в конце разговора добавил, что придет сам познакомиться с новым сапожником. Конечно, для знакомства он мог бы вызвать его в полицию, но Барановская сказала, что сын болен и не может ходить, повредил ногу по дороге из Волковыска. Начальник полиции криво ухмыльнулся, но промолчал, и она с легким сердцем заторопилась домой.

Надвигающиеся перемены в своей судьбе Агеев воспринял, однако, без радости, если не сказать больше – тайком он уже проклинал тот час, когда согласился свернуть в это местечко. Но вся беда в том, что ничего более подходящего ему не представилось, запросто он мог оказаться в плену или погибнуть где-нибудь в стычке с немцами. Так что с самого начала выбор у него был небольшой, приходилось соглашаться с тем, что предложил ночной гость Волков и уготовила ему его нескладная военная судьба.

Впрочем, этот вариант, может, был не из худших. Агееву и до армейской службы приходилось иметь дело с обувью, правда, далее мелкого ремонта его мастерство не поднялось, и о том, как шьются сапоги, он имел смутное представление. Но здесь шить сапоги, пожалуй, и не придется, следовало уметь совсем немного – подбить каблук или наложить заплатку, на большее он не замахивался. У самого выхода со двора на улицу кособоко ютилась старая, крытая гонтом беседка, когда-то приспособленная под поветь для просушки пожинков из огорода; три ее стороны были обшиты тесом, а четвертая, выходящая во двор, оставалась открытой. Именно эту беседку Агеев и облюбовал для мастерской, вчера они с Барановской затащили туда небольшой кухонный столик, один табурет. Инструменты отца Кирилла сохранились все в целости, и бывшая попадья сволокла с чердака тяжелый ящик с чугунной лапой, щипцами, молотками, колодками – все это Агеев разложил и развесил в беседке. Оставалось, однако, главное – обзавестись вывеской, потому что какая же мастерская без вывески? И вот весь этот день до вечера он вырезал ножом из старой фанерки объемные буквы. Конечно, буквы лучше бы написать, но у Барановской не оказалось ни краски, ни подходящего для того материала. Он вспомнил такого рода вывески, виденные им в Белостоке, и подумал, что его будет не хуже. Правда, буквы получались весьма корявые, тупой нож плохо резал фанеру, которая местами расслаивалась и ломалась. За время, пока он работал в беседке, по улице прошли, может, человек пять, каждый из них внимательно присматривался к нему, по-видимому, недоумевая, кто это колупается во дворе бывшей поповской усадьбы. И он с опаскою думал, признают ли его тут за поповского сына или он засыплется со своим нелепым подлогом. Но, так или иначе, отступать было некуда, приходилось играть роль, на которую его обрекла война.

Солнце стало клониться к закату, когда он прикрепил эту доску-вывеску к внешней стороне беседки. Получилось, конечно, неумело и примитивно, буквы трудно было расположить в одну линию, и они слегка вольничали, встав на доске каждая по себе. Но, в общем, с улицы было заметно, что тут «Ремонт обуви», в беседке лежали разложенные на столе инструменты, клубок суровых ниток, горстка мелких гвоздей в ржавой баночке из-под гуталина и хорошо просохшая березовая чурка для заготовки деревянных гвоздей – на подошву. Покончив с обустройством, Агеев уселся на табурет с брошенной на него телогрейкой, болезненно вытянул под столом свою бедолагу ногу.

Улица, однако, была пустой, за какой-нибудь час ни один человек не прошел больше мимо его дома, лишь за изгородью в соседнем дворе показалась и исчезла женская голова в платке. Все время хлопотавшая во дворе Барановская куда-то пропала, наверно, пошла в огород накопать картошки, и он, изрядно устав, пригорюнясь, сидел на табурете, чувствуя, что ввиду позднего времени сидение его потеряло смысл. И, когда он уже намеревался выбраться из-за стола, что с больною ногой оказалось непросто, в конце этой коротенькой улицы послышался говорок и показались две девушки. Одна была худенькая, среднего роста, с коротко стриженными светлыми волосами, в выгоревшем на солнце сарафане, с обнаженными до плеч руками; она тихонько засмеялась чему-то, обращаясь к подруге, такого же возраста, но пониже и поплотнее девчужке, на голове которой свежо белел платочек, повязанный по-городскому – узелком на затылке. Обе они игриво помахивали на ходу небольшими корзиночками в руках и беспечно болтали, пока не увидели его в беседке. Видно, его появление здесь их удивило, девушки враз примолкли и медленно подходили, оглядывая преображенную за день беседку. Несколько не дойдя до него, меньшая тихонько, но так, что он услышал, сказала подруге:

– Ой, Мария, не смотри на него так пристально!

Та, что была повыше, слегка толкнула локтем подружку, заставляя ее замолчать, а сама, не отрывая глаз, все всматривалась в него, и в этом взгляде ее ему показалось что-то хотя еще и неопределенное, но уже значительное, восторженно обещающее, что ли, словно она, радуясь, медленно узнавала его. Он, однако, не узнавал их, этих девушек он видел впервые и лишь проводил их взглядом – мимо беседки к соседнему дому на улице. Однако возле соседнего дома девушки остановились в нерешительности, коротко переговорили о чем-то, и одна решительным шагом вернулась к беседке.

– Вы и вправду чините обувь? – спросила она Агеева, застенчиво улыбнувшись.

– И вправду чиню, – с припрятанной усмешкой ответил Агеев.

– И недорого берете?

– Недорого, Мария.

– Ой, откуда вы знаете мое имя? – удивилась девушка.

– Я все знаю, – сказал он, уже открыто и широко улыбаясь.

– Нет, правда! Я вас тут раньше не видела.

– А я тут недавно.

Она помолчала недолго, что-то обдумывая или вспоминая.

– Так можно принести туфельки? У меня, знаете, от подошвы как-то... оторвалось.

– Принесите, посмотрим.

– А платить рублями или как?

– Как хотите. Можно рублями, а можно и продуктами.

– Вот хорошо! – обрадовалась Мария и, обернувшись, окликнула подругу: – Вера!

Поди сюда.

Подруга неохотно, будто недоверчиво даже прошла вдоль штакетника и остановилась у входа во двор.

– За продукты чинит. Я уже договорилась, может, принесем наши туфли?

– Мне не надо, – махнула рукой Вера и с явным недоверием посмотрела на Агеева.

– Так я свои принесу. Завтра? Или можно сегодня?

– А когда хотите. Можно и сегодня.

– Нет, лучше завтра, – решила Мария. – А пока вот вам...

Сунув руку в покрытую платком корзинку, она достала оттуда горсть черных ягод.

– Вот вам задаток. Угощайтесь!

Агеев принял в подставленные пригоршни маленькую горсточку ее черники, смущенно поблагодарил, она мило улыбулась на прощание и выскользнула в открытый, без калитки выход на улицу. Немного посидев в раздумье, он стал есть по одной черные, подернутые сизым налетом ягоды. Об этой своей первой заказчице он старался не думать. Подумаешь, угостила черникой и одарила ласковым взглядом вдобавок – до ласковых ли тут взглядов, когда творится такое. В этом самом местечке несколько дней слышится сплошной стон сотен людей, стоят в ушах их предсмертные хрипы, а эта – с ласковым взглядом! Нашел время думать о чем!

Старался не думать, но все-таки вопреки желанию думал, вернее, продолжал ее видеть такой, какой она только что была перед ним: стремительной и гибкой, с крепкими лодыжками загорелых ног, обутой в старенькие разношенные босоножки. Встряхнув копной светлых волос, она подхватила тогда подругу под руку, и они, помахивая корзиночками, скрылись за углом соседней избы.

Агеев просидел еще полчаса в своей пустоватой, наспех обставленной мастерской и никого не дождался. Никто к нему не спешил с обувью, прохожих на улице появлялось немного, да и те, наверное, были соседями с этой или ближайших улиц. Начало его новой сапожнической карьеры, похоже, получалось комом, без единого намека на удачу. Когда дальнейшее ожидание потеряло смысл, он выбрался из-за стола и, опираясь на вырезанную вчера из орешины палку, вышел во двор.

Двор был хорош и живописен в своей милой сельской запущенности. Укрытый с одной стороны сплошным рядом построек, сверху он почти весь был упрятан под широко

разросшиеся ветви старого клена, чей толстенный, в три обхвата ствол мощно вознесся подле беседки. За кленом на огороде росло несколько старых суковатых яблонь и стояли в ряд молодые вишенки над тропинкой, где вскоре и показалась его хозяйка с ведром свежей картошки. Не дойдя до входа в сарай, она опустила ведро на тропинку и оглянулась.

– Тут никого? Там это... Возле овражка вас ждут.

– Кто ждет? – вырвалось у Агеева.

Но хозяйка не ответила, только взглянула мимо него на улицу, и он догадался: не надо спрашивать. Он привычно одернул под узким пояском сатиновый подол рубахи и с дрогнувшим сердцем заковылял по тропинке мимо хлева и сараев на огородные зады к овражку.

Ковыляя, он всматривался в кустарник подлеска на краю овражка, что терялся в сутеми под вольно и высоко раскинувшейся стеной старых вязов, но там никого не было видно. Не было никого и на убранной полоске сенокоса за огородной изгородью, в одной стороне которой кривобоко темнела небольшая копенка сена. Именно из-за этой копенки кто-то взмахнул рукой, давая ему знак подойти, и Агеев свернул с тропинки. Он думал увидеть тут Волкова или Молоковича, но из-под копешки навстречу ему привстал тщедушный паренек в синей трикотажной сорочке с белой шнуровкой, это был его недавний знакомый, студент Кисляков, и Агеев сдержанно поздоровался.

– Ну как вы? Как нога? – поинтересовался Кисляков.

Агеев не спешил с ответом, ясно понимая, что не нога в первую очередь интересовала этого парня.

– Я от Волкова. Волков говорил с вами?

– Говорил, – не сразу ответил Агеев.

– Вот он передал, чтоб вы были у себя во дворе безотлучно. На днях привезут груз.

– Какой груз? – насторожился Агеев.

– Не знаю какой. Надо спрятать. А потом мы заберем.

– Вы?

– Я и те, кто будут со мной. Больше чтоб никому, – сказал Кисляков, вглядываясь куда-то в сторону ведущей из оврага тропинки. На Агеева он, кажется, и не взглянул ни разу.

– Понятно, что ж, – ответил погодя Агеев.

Он, конечно, сделает все как надо, только ему было немного не с руки подчиняться приказам этого щуплого парнишки, его самолюбие было задето от такой подчиненности. Но, видно, так надо. Или иначе нельзя, подумал он и спросил:

– А как Молокович?

– Молокович на станции. Но, дело такое, вы не должны с ним видеться. Если что надо, я передам.

– Вот как! А если что... Где мне тебя искать?

– Советская, тринадцать. Только это на крайний случай. А вообще мы незнакомы.

– Что ж, пусть будем незнакомы.

– И этот, что придет, скажет: от Волкова. И прибавит: Игнатия.

– Понятно.

– Вот такие дела, – сказал Кисляков и впервые открыто, даже вроде по-приятельски взглянул на Агеева.

– Что там на фронте? – спросил Агеев.

– Победа под Ельней, это за Смоленском, – сказал Кисляков. – Наши разгромили восемь немецких дивизий.

– Ого! Это хорошо. Может, теперь начнется, – обрадовался Агеев.

Это действительно было большой и неожиданной радостью для него, за лето истосковавшегося без единой удачи на фронте, и теперь этот худенький остроносый студентик с его известием показался ему давним, желанным другом.

– Ты все слушаешь? – спросил он с неожиданной теплотой в голосе, и Кисляков снизу вверх застенчиво усмехнулся ему.

- А как же! Каждую ночь.
- Ну и что там еще?
- Еще плохо. Тяжелые бои под Киевом.

Агеев не прочь был и еще поговорить с этим информированным парнишкой, но тот, видать, сказал все и вскочил из-под копешки.

- Так мы незнакомы. Не забудьте, – напомнил он на прощание.
- Ну как же! Запомню.
- Так я пошел.

Прямо от копешки он повернул к овражку и скоро исчез под вязами в зарослях ольхи и орешника. Агеев, хромя, пошел к стежке во двор.

Растревоженная за день нога остро болела при каждом движении, но теперь он мало прислушивался к боли, может, впервые за последние несколько дней отдаваясь радости, все-таки восемь разбитых дивизий – это была хотя и не решающая победа на фронте, но, может, ее благое предвестие. По крайней мере, очень хотелось, чтобы было именно так, и где-то в глубине души чувствовалось, что так оно и будет. Фронт покатится на запад, наши наконец соберут силы, и военная судьба переменится по справедливости. И тут перед его глазами опять встала Мария – ее улыбчиво-внимательный взгляд, лаской и добром проникающий в душу, исстрадавшуюся от неудач и одиночества, измученную сомнениями, несбыточными надеждами, жестокой пыткой войны. И совершенно непонятной была эта связь фронтовой вести с мимолетной встречей на исходе дня. Разве что счастливым обещанием того, что все скоро изменится к большой, настоящей радости.

Ужинали в тот вечер на крохотной кухоньке Барановской. В качестве сына хозяйки Агеев мог не скрываться, хотя и лишний раз высовываться на люди тоже было ни к чему. Маленькая, оклеенная уже выцветшими обоями кухонька поражала чистотой, какой-то удивительной опрятностью: пол, два гнутых стула и подоконник были чисто выскоблены, темный буфет застлан цветной салфеткой, окно завешено марлей. На дворе темнело, и они в робком сумеречном свете из единственного окна сидели за большим круглым столом со сваренной картошкой в фарфоровой миске. Подле лежали свежие огурцы на тарелке, хлеба был один черствый кусочек, от которого Барановская бережно отрезала три тоненьких ломтя. Выходящую во двор низкую дверь хозяйка заперла на крючок, две другие двери, одна из которых вела в горницу, а другая, оклеенная обоями, в кладовку, были также заперты. На стене в желтой потускневшей раме висел какой-то зимний пейзаж, от еще не остывшей плиты исходило приятное домашнее тепло. Вся эта спокойная вечерняя обстановка располагала к тихому разговору, и Агеев сказал:

– Варвара Николаевна, ответьте откровенно... Вот вы меня тут кормите, оберегаете... Это как по своей охоте или потому, что вам... Волков приказал? – спросил Агеев, на две половинки разрезая огурец. Он давно собирался выяснить это у хозяйки, чтобы определить истинный смысл ее к нему отношения.

– А почему вы думаете, что мне приказал Волков? С какой стати ему мне приказывать? – удивилась Барановская.

– Ну, однако же, вот вы меня приютили. И даже более того – снабдили документами сына. А разве ж вы меня знаете?

– Почему же не знаю? Знаю преотлично. Вы командир Красной Армии. Раненный в бою с немцами. Вы же погибнете, если вам не помочь.

– Может, и так...

– Ну так как же я могу вам отказать в помощи? Ведь это было бы не по-человечески, не по-божески. А я же христианка.

– Скажите, а вы очень в бога веруете?

– А во что же мне еще верить?

– И молитесь? Ну и там прочие обряды соблюдаете?

– Обряды здесь ни при чем. Верить в бога – вовсе не значит прилежно молиться или соблюдать обряды. Это скорее – иметь бога в душе. И поступать соответственно. По совести,

то есть по-божески.

Она умолкла, и он подумал, что, по-видимому, все-таки не слишком понимает в той области, о которой завел разговор. Действительно, что он знал о религии? Разве то, что она опиум для народа...

– Вы святое Евангелие читали? – спросила Барановская, уставясь в него внимательным взглядом из затененных провалов глазниц.

– Нет, не читал. Потому что... Потому.

– Ну понятно. А, например, хотя бы Достоевского читали?

– Достоевского? Слышал. Но в школе не проходили.

– Не проходили, конечно. А ведь это великий русский писатель. Наравне с Толстым.

– Ну, про Толстого я знаю, у Толстого было много ошибок, – сказал он, обрадовавшись, что уж тут кое-чего знает. – Например, непотворение злу.

– Далось вам это непотворение. Только это и запомнили у Толстого. Хотя и непотворение во многом справедливо, но спорно, допустим. А вот, прочитай Достоевского, вы бы знали, что если в душу не пустить бога, то в ней непременно поселится дьявол.

– Дьявола мы не боимся, – улыбнулся Агеев.

– Дьявола вы не боитесь, это я знаю. Но вот немцев приходится бояться. А они для нас и есть воплощение дьявола. То есть злой разрушительной силы. Правда, силы извне.

– С силой, конечно, нельзя не считаться.

– Вот. А как противостоять этой силе?

– Против силы – только силой, разумеется.

– Ну да, это армия против армии. Там, конечно, две силы. И кто кого. Это война. А вот нам, мирному населению, как же? Мы-то что можем? Где наша сила?

Она задавала ему нелегкие вопросы, неуверенно отвечая на которые, он чувствовал уязвимость своих ответов и напрягал мысль, чтобы найти и выразить свою правоту, в которой был уверен. Но это оказалось не просто.

– Надо не подчиниться оккупантам.

– Не подчиниться – это хорошо. Но как? Вон евреев всех уничтожили. Как они могли не подчиниться? Для неподчинения нужна сила, а где им ее взять?

– Ну и что же делать, по-вашему? – спросил он, помолчав, сам не находя ответа на ее вопрос.

– Если ничего нельзя сделать, надо собрать силы, чтобы остаться собой. Не мельтешить душой, как это делают некоторые из расчета или из страха. Вот я хочу остаться собой, пусть в соответствии с христианской моралью, чтобы помочь другому. Вам или Волкову, потому что вы нуждаетесь в помощи и ваша, богом вам данная жизнь находится под угрозой. К тому же я не могу не помнить, к какому народу принадлежу, какие муки перенес на фронте мой муж в ту, николаевскую войну. От чьей руки погиб мой брат. И я вижу, что делается сейчас. Как же я могу быть безучастной?

– Но вы же понимаете, что вам угрожает?

– Слава богу, не маленькая. Но что же я могу сделать? Что будет, то будет. От судьбы не уйдешь. Не очень умно, но утешительно все-таки. А человек всегда нуждается в утешении.

– Это конечно, – сказал он. – А я, признаться, опасался...

– Чего? Наверное, что я попадья?

Он промолчал, но она все поняла и, вздохнув, тихо сказала:

– Это, конечно, для меня огорчительно. Тем более что давно уже не попадья. Но бог вас простит. Я понимаю вас.

– Вы уж простите, что я заговорил об этом, – сказал Агеев, пожалев, что завел такой разговор. Но, может, и хорошо, что завел, они выяснили главное, и хотя он не во всем разобрался, но, кажется, освободился от тяготившего его сомнения – пожалуй, ей можно было верить. Человек с такой твердостью взглядов всегда что-нибудь значит и невольно вызывает доверие. Может, ему еще и повезло с хозяйкой, подумал он, хотя и без должной

уверенности. Но время покажет.

Он доел картошку, и она, первой поднявшись из-за стола, начала прибирать посуду; помолчав, сказала:

– Мне надо будет отлучиться дня на три. Съездить кое-куда. Думаю, вы тут без меня управитесь.

Сказала она это тихо, почти спокойно, но за этим ее спокойствием Агеев уловил едва скрытое напряжение и насторожился.

– Думаю, управитесь. Теперь, когда вы уже сапожник, с голоду не помрете. Отец Кирилл полтора года с сапог кормился.

– Да я что... Я пожалуйста. Если надо, так надо, – поспешно сказал он, однако ожидая пояснений причин ее неурочной отлучки. Она же, ничего более не объясняя, сказала погодя:

– Спать можете в хате. Если там холодно станет.

– Да, да. Спасибо.

– Картошки копайте, сколько вам надо. Хлеб я у Козловичевых покупала. Это вот через дорогу, напротив. Они могут и в долг дать. Я им сказала.

– Хорошо, спасибо.

Агеев осторожно выбрался из-за стола, поискал в темноте возле порога свою ореховую палку. Все-таки нога изрядно болела, и он подумал, что завтра надо будет перевязать рану. В сарайчике еще оставалось немного чистого тряпья, может, хватит на одну перевязку.

– Так мы еще увидимся? – спросил он с порога. Барановская с полотенцем в руках, которым она вытирала тарелку, живо обернулась к нему в сумерках кухни.

– А как же! Непременно. Бог даст, увидимся.

Он помедлил, поняв, что она придала другой смысл его вопросу, и хотел переспросить, увидятся ли они до ее отлучки на три дня, но тут же раздумал. Все-таки неудобно было набиваться с расспросами, если человек сам не изъявляет желания объяснить все сразу. Позже он не раз пожалеет о том, но, что упущено, того уже не воротить. Пожелав ей спокойной ночи, Агеев вышел во двор и, постояв немного в сгустившейся темноте ночи, поковылял в свой сарайчик. Со следующего дня для него начиналась новая жизнь – нелепое его сапожничество ради куска хлеба или маскировки. Для чего более, он сам толком не знал. Он лишь чувствовал, что война загоняет его все дальше в угол, из которого найдется ли какой-либо выход, кто знает?

Назавтра, проснувшись раненько утром, он полежал недолго, привычно прислушиваясь к редким звукам извне, но не уловил ничего тревожного или сколько-нибудь стоящего внимания. Где-то рядом в лопухах за стеной возились соседские куры, тихонько закудахтали, наверное, потревоженные Гультаем, послышались приглушенные голоса людей из соседних дворов, а вообще было тихо. После недавно пережитых потрясений местечко замерло, затаилось в страхе перед неизвестностью, которая не обещала хорошего, денно и ночью грозясь немецкими строгостями, угрозой расстрела за любое нарушение, репрессиями за слушание. Агеев ждал, как обычно, признаков того, что уже поднялась Барановская, которая обычно, встав, начинала возиться на огороде, бряцала цепью у колодца, тихо стучала дровами на дровоколье. После нее поднимался он, не желавший раньше времени беспокоить хозяйку дома. В это утро, кроме того, он хотел попросить ее посмотреть ногу, чтобы вдвоем перевязать рану, потому что он просто не знал, как быть с этим ее лекарством – салом: то ли прикладывать его снова, то ли уже можно обойтись без него. Но вместо привычных и сдержанных знаков ее утреннего хозяйничанья во дворе он вдруг услышал нетерпеливый окрик, от которого у него сразу захолонуло сердце:

– Есть тут кто, в конце концов?!

Дважды прозвучавший, этот нетерпеливый мужской голос сразу дал Агееву понять, кто к ним пожаловал. С такой требовательностью могли появиться лишь представители сильной, уверенной в себе, несомненно, Немецкой власти.

Спросонок сильно потревожив рану, Агеев подхватился с топчана, не сразу попадая здоровой ногой в штанину, завозился с брюками. Непростительно промедлив несколько

секунд, на ходу застегиваясь, без палки выковылял из ворот хлева. Во дворе уже рассвело, возле беседки, широко расставив ноги в хромовых сапогах и таких же, как у него, командирских диагональных бриджах с красными кантами, стоял какой-то высокий хлыщ с прутиком в руке. На нем плотно сидел темно-синий танкистский френч со споротыми петлицами на коротких отворотах. Сзади, у выхода со двора застыл в ожидании по виду пожилой мужчина, почти старик, с дряблыми свежесбрившими щеками и такой же дряблой кожей на шее, слишком свободно тянувшейся из широкого воротника мундира под серым распахнутым плащом. На голове у него, однако, гордо сидела высокая офицерская фуражка. Агеев лишь мельком взглянул на него, привычным взглядом военного нащупывая погоны, и будто ожегся об их витое серебро, тускло блестевшее на плечах. Этот немец старик был, однако, высокого чина, и сердце у Агеева сжалось в недобром предчувствии. На улице стояли, не заходя во двор, человек пять немцев и полицейских с повязками. Полицейский во френче, нетерпеливо постегивая прутиком по голенищу сапога, сказал:

– Ты, сапожник, а ну пособи оберсту! Там в сапоге что-то...

Чувствуя, как медленно сплывает в его глазах скверный туман, Агеев проковылял в беседку и сел на табурет. Оберет присел на скамейку подле клена, и немец в коротеньком, с разрезом мундирчике, виляя упитанным задом, легко и бережно снял с его тощей ноги сапог, передал Агееву. Сапог был добротный, еще почти новый, с твердым блестящим голенищем и крепким высоким задником; его внутренность еще источала терпкий запах хорошо выделанной кожи. Гвоздь был в самом носке, чуть выступая из подошвы, и Агеев подумал с облегчением, что забить его – пара пустяков. Пока он настраивал лапу, на которую надевал сапог, старик оберет, полицай в танкистском френче и все, сколько их было, немцы пристально следили за его торопливыми движениями. Не в лад со своим ощущением он вдруг дерзко подумал: вот бы гранату теперь на всех вас! Но только подумал так, не поднимая от сапога взгляда и боясь, как бы они не поняли, что у него в мыслях.

Нескольких ударов молотка действительно хватило, чтобы забить гвоздь, и он протянул оберсту его злополучный сапог, который, однако, тут же перехватил денщик с нанизанными на пальцы перстнями. Недоверчиво ощупав его изнутри, он буркнул «гут» и бросился обувать оберста. Напряженно откинувшись на скамье, тот удерживал на весу ногу, на которую денщик бережно натянул сапог. Потом он слабо притопнул им оземь и картавящим голосом что-то невнятно произнес по-немецки.

– Встань! Ты! Слышь! – подхватился полицейский во френче. Агеев медленно поднялся с табурета. – Сюда, сюда! Перед господином оберстом.

Стараясь не хромать, Агеев неловко ступил три шага из беседки и выпрямился, подумав, что оберет, по-видимому, станет его благодарить. Тот и в самом деле картавяще произнес что-то, дряблое лицо его с покрасневшими словно от недосыпу глазами изобразило некоторое подобие улыбки, но вдруг холодно застыло, и немец, стоя вполборота, строго обратился к полицая. Тот, встрепенувшись, вытянулся и что-то односложно ответил тоже по-немецки, что удивило Агеева: гляди-ка, умеет! Но он почувствовал уже, что речь шла о нем, и встревожился.

– Господин оберет спрашивает: ты военный служащий Красной Армии?

– Я? Нет. Я железнодорожник, – упавшим и противным для самого голосом сказал Агеев и подумал: кажется, влопался!

– Он спрашивает: почему хромаешь? Ранен?

– Несчастный случай. На железной дороге, – бодрее ответил Агеев и невольно напрягся, словно по стойке «мирно» перед начальником. Но тут же расслабился, одну руку сунул за пояс вышитой рубахи, так, как если бы никогда не имел дела с армией и ее порядками. Вот только его диагональные брюки с кантами предательски выдавали в нем командира, и Агеев, внутренне сжавшись, гадал, поймет это оберет или не поймет. Оберет, однако, уже не смотрел на него – все более распаяясь, он строго выговаривал что-то полицая во френче, и тот, лихо щелкая каблуками, ел его взглядом близко к переносице посаженных глаз, то и дело повторяя свое «яволь!». Агеев не понял, что разгневало этого

старичка оберста, но он чувствовал, что речь шла о нем, и в напряженном внимании ждал развязки. Наконец немец, похоже, выговорился, его гневный напор стал иссякать, он вытащил из кармана брюк блестящий, с затейливой инкрустацией портсигар и тонкими пальцами выбрал из него сигаретку. Как только он сделал первый шаг к улице, все стоящие подле расступились, направляясь следом. Возле соседнего дома за изгородью их ждала легковая машина с парусиновым верхом пепельного цвета. Оставшись возле беседки, Агеев краем глаза проследил, как они там рассаживались, подумав: неужели пронесло? Но полной уверенности, что пронесло, не было, оберет еще угрожающе помахал пальцем перед полицаем в танкистском френче, что-то выговаривая ему, и тот, наверно, в свое оправдание изредка вставлял короткие слова по-немецки. Казалось, это продолжалось нестерпимо долго. Пока немцы не уехали, Агеев не мог чувствовать себя в безопасности, неосознанная тревога не унималась, и он, может, впервые понял, на какой трудный путь встал с этим своим сапожничеством. Он вздохнул, только увидев, как взвихрилась пыль позади машины, но тут же выругался с досады: трое полицаяев остались и, выждав, когда машина скрылась за поворотом улицы, повернули назад. Они опять шли к его двору.

Первым вошел все тот же рослый полицай во френче, устало согнал с лица выражение озабоченности.

– Ну, понял? – резко, в упор спросил он Агеева. Тот отрицательно покачал головой. – Не понял? Какой непонятливый! В лагерь тебя приказал спровадить! Как военнопленного.

Мощеная земля во дворе странно зашаталась перед глазами Агеева, он взглянул в сторону улицы, выход на которую, однако, уже преградили два полицая с винтовками.

– Скажи мне спасибо! Поручился За тебя, ясно? – бросил полицейский и неторопливо прошелся в глубь двора.

– Что ж, спасибо, – выдавил из себя Агеев, не зная, что еще сказать. И даже что подумать по этому поводу.

– Вот так! Что ж, думаешь, это просто? Думаешь, он сразу и послушал? – обернувшись, сказал полицейский.

Видно, все еще переживая неприятный разговор с немцем, он минуту прохаживался туда-сюда по двору. Агеев выжидательно стоял на месте, чувствуя, что его сегодняшние испытания, видно, еще не кончились. Еще что-то ему готовится. Наконец полицейский отбросил свой прутик и решительно сел на скамью под кленом.

– Ладно, черт с ним! Ты это... Посмотри-ка заодно мои сапоги.

Резким движением он содрал с ноги тесноватый хромовый сапог, сунул его Агееву, и тот подался на свое место в беседке. Полицейский, положив ногу на ногу, внимательно посмотрел в его сторону.

– Ты давно?

– Что? – обернулся Агеев.

– Что, что... Ранен, говорю, давно? – гыкнул полицай. – Не понимаешь...

«Черт бы тебя взял с твоей понятливостью!» – зло подумал Агеев, не зная, как лучше ответить о своем ранении. Но, видно, ответить придется по правде, этого не проведешь. Сам, видно, оттуда...

– Да недавно. Как отступали... Красные.

Полицейский коротко хохотнул.

– Красные! А сам ты кто, белый разве?

– Я? Да так...

Разом согнав с твердого, волевого лица усмешку, полицейский взглянул на своих помощников, которые в терпеливом ожидании торчали у палисадника, чутко прислушиваясь к их разговору.

– Ладно темнить! Не видно по тебе разве! Думаешь, бриться перестал, так никто не узнает? Командир? – вдруг резко спросил он, буравя Агеева острым взглядом пристальных глаз. – Командир, конечно. Вон по чубу видать. Рядового бы остригли.

Выкладывая из ящика инструмент, Агеев молчал, все еще соображая, как вести себя, за

кого выдавать. По документам Барановского он инженер-железнодорожник, такую и отработал версию, но ведь этот не спрашивает документы. Натренированным глазом он, видно, сразу усмотрел в нем военного, и отпираться, наверно, было рискованно. Только больше запутаешься или вызовешь подозрение в чем-либо еще более опасном.

– Ладно, – помолчав, сказал полицейский. – Посмотрим, какой ты сапожник. Подбей косячки. Как у немцев. Чтоб шел – издали было слышно: идет начальник полиции, а не хрен собачий. Понял?

– Ясно, – сдержанно ответил Агеев, уже понимая, что, по всей видимости, перед ним сам Дрозденко, о котором он слышал от Молоковича. И это его первые клиенты – фашист и его прислужник с их пустячным ремонтом. Если только дело действительно в этом ремонте. – Вот беда, новых косячков нет! – сказал он, покопавшись в жестяной коробке с гвоздями. Среди проржавевших гвоздей выбрал три ржавых, видно, оторванных от старых каблуков косячка. – Вот такие пойдут?

– Ладно, пойдут, – сказал Дрозденко и снова вблизи пристально заглянул в лицо Агеева. Тот, делая вид, что не замечает этого взгляда, примерял косячок на заметно стесанный каблук начальника полиции. – Ты кто по званию? – вдруг тихо спросил тот, опершись локтем на колено разутой ноги. Оба полицаи из-за ограды – один белобрысый, пожилой, в немецкой пилотке и второй, молодой крепыш в кепке – заметно навестили уши, и начальник полиции метнул строгий взгляд в их сторону. – Эй, вы там! Расстарайтесь-ка мне молочка попить...

Застучав сапогами, полицаи ринулись во двор, но Дрозденко сразу остановил их зычным окриком:

– Не сюда, обормоты! Здесь ни черта нет! У соседей!..

Когда полицаи выбежали, вламываясь в калитку к соседям, он снова наклонился к Агееву.

– Так какое звание? Лейтенант, старший?

– Старший, – сказал Агеев.

– Не политрук, часом?

– Нет, не политрук. Начальник боепитания.

– Ого! Специалист по оружию. А я вот из танковых войск. Был начштаба батальона.

– Что ж, большое начальство, – пробормотал Агеев, в душе проклиная этого разоткровенничавшегося собеседника. Он заколачивал железные гвозди в каблук, сапог вздрагивал вместе с чугунной лапой, на которую был надет, и каждый удар больно отдавался в его распухшей ноге. Начальник полиции закурил «Беломор», пуская в беседку дым, и Агеев с жадностью вдохнул знакомый запах этих папирос, хотя сам никогда не курил.

– Было! – со вздохом сказал Дрозденко. – Было начальство да сплыло. Как дым, как утренний туман. Теперь другое начальство, немецкое. Кто бы подумал, а? Сказал бы кто год назад, что стану начальником полиции, я бы тому в морду плюнул. А ведь стал. Почему? Потому что за других погибать не хотел. Слушай, ты откуда родом?

– Я? Я издали, – сдержанно ответил Агеев. – А вы?

– А я здешний. Из местечка. Ну и какие планы?

– Да какие планы. Нога вот! – шевельнул коленом Агеев и поморщился.

– Что, здорово садануло?

– Здорово, – сказал Агеев, возвращая сапог. – Вот посмотрите. Пойдет?

Дрозденко взял сапог, придирчиво осмотрел каблук и вдруг тихо, зло выпалил:

– Говно ты, а не сапожник! Кто же так подбивает? Надо подложить кусочек кожи. А то ведь криво!

– Была бы она у меня, кожа, – развел руками Агеев. Действительно, он не нашел в поповском ящике ни кусочка подошвенной кожи.

– Да-а... Ну ладно, подбивай второй. Не ходить же так.

За изгородью на улице показались оба полицаи, один остался с винтовкой у входа, а второй в вытянутых руках нес кринку молока, которую осторожно протянул начальнику.

– Вот, только надоенное. Парное, – белобрысое лицо полицаи подобострастно расплылось в угодливой улыбке. Дрозденко обеими руками благодушно облапил кринку.

– Что ж, попьем парного. Говорят, полезно для здоровья.

– Очень даже полезно, – еще более осклабясь, подтвердил полицаи, закидывая на плечо сползший ремень винтовки, и Дрозденко вдруг уставился на него немигающим взглядом.

– Уже испробовал? Хотя бы пасть вытер, скотина!

С запоздалой поспешностью полицаи провел рукой по толстым губам, и его начальник брезгливо опустил кринку.

– Вот с кем приходится работать! – пожаловался он Агееву. – С такими вот курошупами. Он же в армии дня не служил. Не служил ведь?

– Так забраковали по здоровью, – сказал полицаи, дочесывая у себя под мышкой.

– Потому что кретин. А в полицию взяли. Потому что некому. Ответственности гора, а возможности крохи. Ладно! Марш на улицу. И смотреть мне в оба! Как инструктировал!

Подержав кринку в руках, он все-таки поднес ее к губам и, отпив, поставил на землю возле скамьи. Тем временем Агеев кое-как пригвоздил к каблуку и второй косячок, после чего начальник полиции с усилием вздел сапог на ногу.

– Вот другое дело! Тверже шаг будет! А то...

Он пружинисто прошелся туда-сюда по двору, звонко цокая каблуками по каменной вымостке. Агеев глядел на его сапоги – первую свою работу в новом положении, и сложные чувства овладевали им. Он почти презирал себя за эту мелкую угодническую услугу немецкому холую, от которого, однако, зависел полностью, тем более что тот раскрыл его с первого взгляда, можно сказать, раздел донага. Именно эта его обнаженность сделала Агеева почти беззащитным перед полицией и прежде всего перед ее начальником в лице этого бывшего танкиста. Как было с ним поладить, чтобы не вызвать его гнев и не погубить себя? Без особой нужды Агеев перекладывал инструменты на своем шатком столике, искоса наблюдая, как Дрозденко прохаживается по двору. И вдруг тот резко остановился напротив.

– Тебя как звать?

Агеев весь напрягся, соображая, как лучше ответить этому полицаю – по своей железнодорожной версии или как есть в действительности.

– Ну, по документам, я Барановский...

– Хрен с тобой, пусть Барановский. Нам все равно. Пойдешь работать в полицию.

С нескрываемой тревогой в глазах Агеев взглянул в ставшее озабоченно-решительным лицо начальника полиции, который, произнеся это с утвердительной интонацией, однако же, стал ждать ответа – согласия или отказа. И Агеев шевельнул коленом больной ноги.

– Какая полиция! Нога вот! Едва передвигаюсь по двору, около дома...

– Ничего, заживет!

– Когда это будет?! – сказал он, почти искренне раздражаясь.

Дрозденко сдвинул набекрень фуражку, оглянулся в глубину двора.

– Ладно. А ну зайдем в дом!

Агеев не знал, где Барановская (с утра она не появлялась во дворе), и, медленно выбравшись из-за стола, направился к двери. Дверь на кухню была не заперта, на приборном столе под чистым полотенцем стояли миска и кувшин, подле лежала вчерашняя краюшка хлеба – наверное, его сегодняшней завтрак. Хозяйки нигде не было слышно.

– Тут что, никого нет? – спросил Дрозденко и, растворив дверь, заглянул в горницу. – Никого. Вот какое дело! – он вплотную шагнул к Агееву. – Жить хочешь?

Агеев помялся, не зная, как ответить на этот идиотский вопрос, и не понимая, куда клонит этот блюститель немецких порядков.

– Ну как же... Понятно...

– Я тебе помогу! – с живостью подхватил начальник полиции. – Помог раз, помогу и второй. Все-таки мы оба военные и должны стоять друг за друга. Иначе... Сам понимаешь! Немцы в бирюльки не играют. Так что, лады?

– Ну, спасибо, – неуверенно протянул Агеев, почувствовав, что это лишь часть

разговора. Главное, пожалуй, еще впереди.

– Но и ты должен нам пособить.

– Что ж, конечно...

– Вот и хорошо! – оживился Дрозденко. – Тогда это самое... Небольшая формальность. Садись!

Ухватив за гнутую спинку стул, он широким хозяйским жестом переставил его к Агееву, который, все еще мало что понимая, неуверенно присел к столу. Дрозденко вытащил из кармана френча потертый, наверно, еще довоенный блокнот с рисунком парусной яхты на обложке.

– Так, небольшая формальность. Немцы, они, знаешь, бюрократы похлеще наших. Им чтоб все оформлено было. Вот чистая страница, вот тебе карандаш... Пиши!

Не сразу, в явном замешательстве Агеев взял из его рук исписанный, тупой карандаш, повертел в пальцах. Он уже явственно понимал, что это его писание не принесет ему радости, но и не знал, как отказаться. Все это произошло так неожиданно, что никакой подходящей причины для отговорки не подвернулось в памяти.

– Пиши: я, Барановский... как там тебя? Олег? Пусть будет Олег... Значит, Олег Батькович, настоящим обязуюсь секретно сотрудничать по всем нужным вопросам. Написал? Что, не согласен? – насторожился он, увидев, что Агеев замер с карандашом в пальцах. – Ты брось дурить! Иного выхода у тебя нет. Фронт под Москвой, а немцы на соседней улице... Чуть что, загремишь в шталаг [*немецкий лагерь для военнопленных*].

Почти не слушая его, Агеев лихорадочно соображал, что делать. Конечно, он не мог не понять пагубного значения этой подписки, которая запросто могла изувечить всю его жизнь. Но, и отказавшись подписаться, он рисковал не менее просто распроститься с этой своей жизнью. Дрозденко, обеими руками опершись на стол и нависая над ним, с напором диктовал, не давая передышки, чтобы подумать или заколебаться.

– Пиши, пиши: секретно сотрудничать с полицией, а также службой безопасности и эсдэ. Вот и все! Написал? Теперь подпись и дату!

Уже явственно ненавидя этого немецкого холуя, облеченного, однако, властью, и его помятый, со следами пальцев блокнот, а заодно себя тоже, Агеев поставил в конце какую-то закорючку вместо фамилии и вывел дату.

– Вот и прекрасно! – одобрил Дрозденко. – Ты нам, а мы вам. В долгу не останемся. Только это... Фамилию напиши разборчивее. Бара-нов-ский! Вот так. Теперь другое дело. Ну, а кличка? – вдруг спохватился Дрозденко. – Какую кличку возьмем?

– Какую еще кличку?

– Ах ты, святая простота! Не понимаешь? Для конспирации!.. Ну так как назовемся?

Агеев пожал плечами. Он уже плохо стал соображать – наверное, за это утро начал превращаться в идиота.

– Не поймешь? Глупый? Скоро поумнеешь. А пока так и назовем: Непонятливый.

– Да, но... В чем я могу вам помочь? – стараясь сохранить спокойствие и преодолевая мелкую дрожь в руках, сказал Агеев. – Я тут никого не знаю, нигде не бываю.

– Не имеет значения! – парировал Дрозденко, торопливо запихивая блокнот в карман синего френча. – Ты сапожник! У тебя будут люди. И они будут искать с тобой связь.

– Кто они? – почти искренне удивился Агеев.

– Большевики, кто же! Те, что в лесу. Теперь они в лес перебазировались. Вот ты вечерком нам и стукнешь. Я буду наведываться. Понял?

– Но, понимаете...

Все внутри у него протестовало против этого предательского закабаления, последствия которого легко предвиделись в будущем, но он не находил слов, чтобы отвести беду. Да, пожалуй, было уже поздно что-либо исправить. Ближе к переносью посаженные глазки Дрозденко нещадно буравили его, словно стараясь проникнуть в сокровенный ход его растрепанных мыслей.

– Что, дрейфишь? Большевиков боишься? Не дрейфь! У тебя защита. Полиция всей

округи! Эздэ! Немецкая армия. А большевикам все равно крышка. В самом скором времени.

– Но...

– Не но, а точно! Немцы окружают Москву. К зиме война кончится.

– Да-а! – выдохнул Агеев, лишь бы нарушить наступившую гнетущую паузу в этом, не менее угнетающем его разговоре, и подумал, что если этот человек не оставит его через пять минут, то, пожалуй, все для обоих закончится на этой кухне. Он уже заглянул за печь, где находились тяжелые вещи – ухваты, кочерга, но увидел за рамой кухонного окна подобострастную рожу белобрысого полицая, бесцеремонно заглядывающего в кухню.

Дрозденко, однако, скоро вымелся, пообещав на прощание навещать, и даже совсем по-дружески потряс его руку. Проводив полицая, Агеев сел на вкопанную под кленом скамейку и подумал, что, кажется, влез в дерьмо, из которого неизвестно как будет выбраться. Проклятая рана, как она стреножила его! Будь он здоров, он бы теперь был далеко от этого злополучного местечка с его полицией и от этого подонка из танковых войск. Может, он навсегда лег бы в сырую землю, зато у него было бы честное имя, которое теперь неизвестно как отмыть от фашистской грязи.

Наверное, он долго просидел под кленом, сокрушенно переживая коварные события этого злополучного утра. Утро между тем незаметно перешло в день, из-за крыш соседних домов выглянуло и стало пригревать солнце, хотя двор еще весь лежал в густой тени от деревьев. Барановская нигде не появлялась, и он подумал, что, по-видимому, она уехала. Куда только? Но это ее дело, он не имел ни возможности, ни особого желания вникать в ее, видать, тоже непростые заботы – ему доставало собственных. И, когда на выходе со двора тихо появилась девушка в вязаном зеленом жакете, погруженный в горестные переживания Агеев недоуменно взглянул на нее, не понимая, что от него требуется.

– Вот принесла туфельки...

Только увидев у нее в руках пару светлых туфель, он узнал свою вчерашнюю знакомую Марию и вспомнил, кем он недавно стал в этом местечке. Он сапожник, и это налагало на него определенные обязанности, за которые, по-видимому, и следовало держаться.

Он доковылял до беседки, молча забрался за стол, даже не взглянув на девушку, которая тоже молча стояла напротив. Усевшись на табуретку, протянул руку.

– Дайте, что там?

– Да вот, видите, немножко прорвалось.

Озабоченный своими неприятностями, Агеев бегло оглядел туфлю: на изгибе возле подошвы была небольшая дыра, на которую следовало наложить заплатку. Он покопался в сапожном ящике отца Кирилла, нашел мягкий кусочек кожи, из которого косым ножом вырезал небольшую, размером с березовый листок заплатку. Все это время девушка выжидательно стояла напротив, и он сказал:

– Да вы сядьте. Сейчас попробуем залатать.

С помощью шила и нетолстой дратвы он пришивал заплатку, а Мария молча сидела рядом, пристально наблюдая за его работой. Работа, однако, не слишком спорилась, в узкий носок туфли пролезали лишь два его пальца, которыми очень неудобно было ухватить иголку. Скоро он больно укололся ею, и Мария сказала:

– Наперсток надо.

– Какой наперсток?

– Наперсток. Женский, с которым шьют толстую ткань.

Агеев с любопытством взглянул в ее нежное, почти не загоревшее личико с крохотными сережками в ушах и вдруг понял, что она не здешняя, вполне возможно, как и он, заброшенная сюда коварными путями войны.

– Давно тут? – спросил он тихо.

– Я? С июня. Уже третий месяц. А почему вы спрашиваете?

– Да так. Вижу, не здешняя вроде.

– Так ведь и вы не здешний. Откуда про меня знаете?

– А откуда вы знаете, что я не здешний? – спросил он, не поднимая головы от туфли.

– А мне Вера сказала. Та, что вчера со мной приходила.

– Вера – здешняя?

– Почти здешняя, – вздохнула Мария, обтягивая на коленках подол сарафанчика. – Учительница, в школе работала. А я из Менска. Приехала на свою голову и вот застряла.

– К родственникам приехала?

– К родственнице. Вера же – моя двоюродная сестра, здесь живет, у жестянщика Лукаша, вон на соседней улице. Мужа на войну взяли, теперь она с двумя детьми.

– Да, это нелегко. В такое время и с детьми, – тихо рассуждал Агеев, сосредоточенно колдуя над туфлей. Он хотел сделать все поаккуратнее, но аккуратно у него не получалось – стежки выходили неровные, кожа заплатки морщилась, а главное, протереть внутрь иголку было чертовски неудобно. Мария, видно, заметив это, виновато сказала:

– Плохо получается? Задала я вам работы...

– Ничего. Как-нибудь.

– Конечно, вы еще только учитесь. Когда-нибудь и получится.

Он с некоторым удивлением посмотрел на девушку.

– Это почему вы так думаете?

– А что ж, разве не видно? Какой вы сапожник? Командир, наверное...

Вот те и раз, подумал Агеев, неприятно задетый ее словами. Второй клиент подряд сомневается в его сапожном умельстве, с первого взгляда видит в нем командира – это уже никуда не годилось. Надо было что-то придумать, отрастить подлиннее бороду, что ли? Или усовершенствовать это проклятое ремесло, которое ему почему-то неожиданно трудно давалось.

– А ты в Менске чем занималась? – грубовато спросил он, задетый ее пронизательностью. Мария, однако, не обиделась.

– Я в педагогическом училась. Готовилась математику преподавать. Да вот, видать, не придется, – сказала она, и лицо ее помрачнело.

– Ничего, как-нибудь. Главное, чтоб остановить его, – сказал он почти доверительно, и она подхватила с горячностью:

– Да? Вы так считаете? Говорят, за Смоленском уже остановили, какой-то город освободили. А тут что делается!..

– Евреев побили?

– Расстреляли всех до единого. Сперва сказали, в город погонят, велели ценности взять, деньги и на трое суток продуктов. А самих в тот же день в торфяниках постреляли. Зачем продукты?

– А чтоб не догадались, куда погонят, – сказал он, сразу разгадав эту уловку немцев. Мария удивилась.

– Ой, как вы сообразили! А я вот не смогла. Все думала: ну они же неглупые, к тому же все у них продумано до мелочей – зачем продукты? Ведь все с убитыми побросали в ямы.

– Дурное дело нехитрое, – сказал он и, может, впервые за утро внимательно посмотрел на нее. Ее юное личико, взгляд серых, широко раскрытых глаз были уже тронуты страданием, видно, досталось и ей в этом местечке. – В Менске родители есть?

– Мама была. Семнадцатого июня уехала в Ставрополь к тете. Не знаю теперь, вряд ли вернулась.

– Вряд ли успела.

– Не успела. Кто думал, что фронт так быстро откатится. Покатился без удержу.

– Да, на фронте теперь не малина. Кровавое месиво!

– А вас на фронте? – кивнула она в его сторону с вдруг загоревшимся любопытством во взгляде.

– Что на фронте?

– Ну, ранило на фронте?

– А откуда знаешь, что ранен?

– А с палочкой. Вчера видела. С улицы подсмотрела.

– Вот как! Ты уже и подсматриваешь?

– Да нет, я не нарочно. Просто проходила мимо, а вы шли с палочкой. Так хромали, так хромали, что мне жалко стало.

Агеев озадаченно промолчал. Сегодня после всего, что произошло у него с этим начальником полиции, ему самому было жалко себя, и неожиданно сочувствие Марии тронуло его.

– Ничего, ничего. Как-нибудь, – грубовато утешил он девушку, но больше себя самого. Заплатку он уже дошивал, на довольно сношенные каблучки ее туфель надо было подбить и набойки, но у него не было, чем подбить, и он тряпкой старательно начистил их светлые носки.

– Уже сделали? – обрадовалась Мария, вскакивая со скамейки. – Ой, как хорошо!

– Не слишком хорошо, – откровенно признался он, в самом деле мало довольный своей работой, и улыбнулся – впервые за сегодняшний день. – Авось как-нибудь научусь! Не пройдет и месяца...

Прижав к груди обновленные туфельки, Мария тихо спросила:

– Наверное, пока заживет рана?

– Именно, – сказал он. – Пока заживет.

– А потом?

– Потом видно будет.

С внезапной грустью в глазах она бросила взгляд на улицу.

– Завидую вам. Если бы я знала, куда... Ни дня бы здесь не осталась. Я бы на фронт пошла, я бы их убивала...

Это уже было серьезно, и он промолчал. Что-то поняв, она замолчала тоже, однако не уходя от него и все сжимая в руках отремонтированные туфельки.

– На фронте есть кому бить. А для вас и тут должно найтись дело...

– Какое? – быстренько спросила она.

– А это надо подумать. Сообразно обстоятельствам.

Она еще недолго постояла молча, о чем-то размышляя или, быть может, ожидая услышать от него что-то. Но Агеев подумал, что и так сказал лишнее, что ему теперь следовало остерегаться – кто знает, не значится ли и ее подпись в блокноте начальника полиции Дрозденко?

Наверное, она поняла его молчание по-своему.

– Как вам заплатить?

– А как хотите. Можно хлебом, можно картошкой. Или яблоками.

– Ну, яблок у вас своих вон сколько!

– Тогда поцелуем.

– Ну скажете!..

Немного постояв молча, она, не прощаясь, повернулась и выскользнула на улицу. Он остался в беседке. Очень хотелось ее увидеть, услышать ее то радостный, лукавый, то опечаленный голос; что-то она заронила в его омраченную душу, какое-то душевное родство стало медленно, но явно сближать их, этих двух разных людей, волею случая оказавшихся в одном местечке. Когда спустя четверть часа Мария вернулась с туго набитой авоськой, лицо ее, уже без тени былых забот, светилось радостным дружелюбием; торопясь, она стала выкладывать на стол какие-то куски и свертки, обернутые в клочья старых газет.

– Вот это вам... за работу. Это чтоб заживали раны... Это варенье, грибы сушеные...

– Зачем столько! – воспротивился он. – Вы что, в самом деле? За одну заплатку?..

– Вот это масло. У тетки же коровы нет, так что понадобится.

– За одну заплатку?! – едва не взмолился Агеев.

– Не за заплатку. За то, что вы... Что вы есть такой...

Она выложила все на стол поверх его инструментов и метнулась к выходу, радостно озадачив его своей добротой и трогательной признательностью за ерундовую, в общем, услугу. Но, видимо, в этой услуге она увидела нечто большее, чем заплатанная туфля, и эта

ее прозорливость невольно отозвалась в нем тихой, робкой еще благодарностью.

Недолго посидев в беседке, он проковылял в сарайчик и занялся раной, которая тупой болью неотвязно беспокоила его с ночи. Особенно когда он пытался ходить. Агеев размотал сбившуюся, со следами гнойных пятен повязку, конец которой, однако, основательно присох к верхнему краю раны, и, пока он отдирал его, почти взмок от пота и боли. К его удивлению, опухоль над коленом уменьшилась, болезненно набрякшие ткани по обе стороны раны потеряли напряженную плотность. Агеев выбросил расплзшиеся ломтики сала, подумав, что теперь, может, обойдется и так, и туго перетянул ногу прежней повязкой, подложив под нее чистую, сложенную вчетверо тряпицу. Наверное, надо было перекусить, он давно уже ощущал сосущую пустоту в желудке и с палочкой в руке вышел из хлева.

Возле его беседки на скамейке сидела старушка в темном толстом платке, с такой же, как у него, палкой в руке. Она явно дожидалась кого-то, и Агеев приковылял к ней сзади.

– Вам кого, бабушка?

Бабуся не спеша обернулась, взглянула на него отсутствующим взглядом глубоко упрятанных под костлявые надбровья глаз.

– Мне во ботиночки внучке... Каб починить... Одна внучка осталась, ни отца, ни матери. Дык, сказали, тут чинять в поповской хате.

– Чинят, да. А что, ботиночки сильно поношены?

– Дык панюшаны... Вот! Новых жа няма, где я возьму. Теперь жа не купишь.

– Теперь не купишь!

Он взял из ее рук связанные узловатыми шнурками детские ботинки, до того разбитые – с проношенными подошвами и сбитыми задниками, с дырами на сгибах, – что ему стало тоскливо: как их починить? Но бабка будто приговора ждала его слова, и он, вздохнув, не смог отказать ей.

– Ладно, как-нибудь сделаем. Сегодня к вечеру.

– Дякуй табе, сынок, дякуй. Я ж в долгу не останусь, отблагодарю. Хай тябе бог ратуе...

Он проводил бабушку и подошел к беседке. Надо было браться за дело, но хотелось есть и было гадко и боязно на душе – все от того утреннего визита полиции. Что она сулит ему, та его подлая подписка? Конечно же, работать на них он не намеревался, но он чувствовал, в какую западню попал и как трудно будет выкручиваться теперь из фашистской кабалы. Обязательно надо было предупредить о том Волкова или хотя бы Кислякова, рассказать, в какое дело втягивает его полиция, и совместно придумать, как ему действовать. Потому что... Потому что эта двойственность его положения может очень скоро вылезть боком для этих людей, да и мало ли еще для кого, но прежде всего для него самого. Он ясно понимал всю сложность своего положения, но что он мог сделать? Разве что проклинать войну или этого ублюдка Дрозденко? Но, и проклиная его, сетуя на войну и свою злополучную долю, наверно, придется жить и делать что-то в соответствии со своей совестью и своими обязанностями командира армии, которая теперь истекает кровью на огромном фронте от севера до юга. Наверное, тем, кто под Москвой или за Смоленском, не легче, тысячами ложатся навсегда в братские могилы – ему ли сетовать на свою участь? Придется терпеть и, пока есть возможность, делать какое-то дело – против них, но только бы не повредить своим. Хотя это будет, наверно, нелегко.

Наскоро перекусив на кухне, он вспомнил Барановскую и пожалел, что в такой час ее не было дома. Он уже стал привыкать к этой своеобразной женщине – своей хозяйке, наверно, в таком деле она бы что-то ему подсказала или хотя бы сообщила, чего он не знал. Она же как местная жительница знала тут все и, кажется, неплохо разбиралась в людях. А люди ему, пожалуй, скоро понадобятся. Без людей в его положении – гибель.

Все оставшееся до обеда время он провозился с детскими ботиночками и кое-как слепил их на живую нитку. Для более капитального ремонта нужны были материалы – кожа, подошвы, которых он не имел, и думал, что с таким обеспечением его ремонтное дело непременно зайдет в тупик. Чем тогда он будет кормиться? Сидеть на скудном иждивении хозяйки? Дожил, нечего сказать, бравый начбой Агеев, то есть инженер Барановский Олег

Кириллович. Он совсем уж начал путаться в своих именах и не знал, какое из них будет для него предпочтительнее.

Бабка пришла после обеда, к вечеру, когда он, поставив на угол стола ботиночки, сучил впрок дратву – для новой починки. Но больше заказов не было, никто к нему не пришел, и он, насучив дратвы, собирался выбраться из-за стола. Ощупывая посошком дорогу, бабка, будто слепая, свернула с улицы и молча остановилась перед беседкой.

– Вот, бабка, готовы!

– Готовы? Дякуй табе, касатик, дякуй боженьку. Вот за труды твое с бедной бабы...

Она бережно положила на уголок стола сложенный почти до размера почтовой марки советский рубль и взяла ботинки.

– Пусть носит на здоровье, – сказал Агеев.

– Ой дякуй жа табе. Хай бог даст здоровьичка...

Ворча про себя благодарности ему и богу, она вышла на улицу, а Агеев взял со стола рубль, распрямил его. Вот и первый денежный заработок, подумал с иронией. Если так дело пойдет и дальше, придется переквалифицироваться в управдомы, сказал он себе, вспомнив когда-то читанный роман Ильфа и Петрова.

В тот день он ничего больше не делал, даже не перекусил в обед, хотя на столе стояли и лежали под полотенцем принесенные Марией гостинцы, к которым он все время возвращался в мыслях. Просидел в кухне до вечера, то и дело поглядывая в окно – не зайдет ли еще кто во двор. Сам старался без нужды там не показываться, заказчики его не очень занимали – будут так будут, а нет, тоже беда не большая. У него уже были заботы поважнее – он ждал кого-нибудь из леса, от Волкова или Кислякова, ему надо было сообщить о новом повороте в своей судьбе. Но как назло до вечера во дворе никто не появился, не появился и вечером.

Когда совсем стемнело и над местечком установилась ночь, он побродил в темноте возле дома, послушал и с тяжелым сердцем пошел в свой сарайчик.

4

В тот день с самого утра Агеев сидел возле палатки и ждал.

Накануне вечером его доняло-таки сердце, и, как только немного отлегло, он сходил в поселок и дал телеграмму сыну, чтобы приехал. Он давно уже не звонил в Минск и не знал, застанет ли телеграмма Аркадия, тот часто отлучался в командировки – в Москву, на Урал и Поволжье; работая в проектно-институте, он был связан с рядом предприятий по всей стране. И вот Агеев ждал терпеливо и напряженно, потому как стало уже ясно, что работа в карьере не для него и, чтобы довершить это столь растянувшееся дело, ему надобна помощь.

Когда к полудню стало припекать солнце, Агеев, прихватив ведро, перешел в тень под каменной, в рост человека оградой у кладбища. Здесь было прохладно, вверху тихонько шумела листва тополей, и ему было хорошо и покойно в его ничегонеделании. Если бы еще работало сердце исправнее... Но сердце работало по-прежнему плохо, приступы жестокой аритмии с небольшими перерывами лишали его сил, и он пугался при мысли, что может не дождаться сына и вообще ничего не дождаться. Так прошло немало времени, солнце стало поворачивать к западу, широкая с утра тень от деревьев сузилась до неровной полосы под самой оградой, и он уже подумывал, что придется уходить отсюда, когда на дороге из-за кладбища появился красный «Жигуленок» третьей модели. Агеев сразу узнал машину и, испугавшись, что та проскочит мимо, поднялся, замахал рукой. Машина притормозила, вроде остановилась даже, а затем круто свернула на пригорок и подкатила к его палатке.

– Батя!

Сын был большой, бородатый, как и полагается современным молодым мужчинам, он трогательно обнял полноватое, как-то сразу обмякшее тело отца, похлопал его по спине.

– Ну что ты? Ну как? Прижало, ага?

– Ничего, ничего, – сказал Агеев. – Знаешь, так вот... Спасибо, Аркадий, что приехал...

– Получил телеграмму, как раз с Худяковым сидели. Ну, говорит, поезжай. Два дня назад квартальный отчет сдали, так что...

– Спасибо, спасибо...

– Я думал, ты в гостинице. Приехал – говорят, нет, не значит, – рассказывал сын, помахивая цепочкой от ключа зажигания. – А ты, стало быть, на воздух перебрался. Или, может, выселили?

– Да нет, почему? Просто ближе... – сказал Агеев и замялся: о своих делах в этом поселке он ничего не говорил сыну, просто сказал как-то по телефону, что задерживается, есть старые по войне дела. Сын знал, что в сорок первом отец недолго жил здесь, участвовал в подполье.

– Разве отсюда ближе? – удивился Аркадий, поворачиваясь к нему – рослый, широкоплечий, в импортной, на кнопках сорочке с кармашками и в поношенных джинсах, туго обтягивающих его тощий зад. – Может, километр от центра.

– Ну кому как, – неопределенно ответил Агеев. Сердце его билось учащенно, по-прежнему то и дело сбиваясь с ритма, но теперь он не обращал внимание на сердце, не прислушивался к себе. Он думал, чем угостить сына, наверное, проголодавшегося с дороги, но тот сразу шагнул к машине.

– Я тут тебе одно лекарство, достал. Импортное. Великолепно действует при сердечной недостаточности.

Выхватив из салона маленькую кожаную сумочку с ручкой-петелькой, он расстегнул «молнию».

– Вот: ди-гок-син. Вчера у Ермилова достал. Специально для тебя.

– Ну, спасибо, – сказал Агеев, принимая из его рук небольшую коробочку с синей латинской надписью. – Если поможет.

– Поможет, поможет! Наш директор только им и спасается. Отличное средство. И вот кое-что из жратвы. Думаю, ты тут не голодаешь, конечно, на сельских харчах, но все-таки...

Он раскрыл багажник и начал извлекать из его вместительной глубины аккуратные свертки, кульки и пакеты, буханку черного бородинского хлеба; подбросив вверх, ловко перехватил рукой бутылку грузинского коньяка с синей наклейкой.

– Это ни к чему, – сказал Агеев.

– Ничего, пригодится. Я спрашивал, сказали, коньячок тебе можно. Для расширения сосудов.

Что ж, наверное, самое время было перекусить, и, чтобы не располагаться на жаре, они отошли к кладбищенской ограде, в тень. Правда, сын чуть поморщился от такого соседства, но перенес туда два складных стульчика из машины, быстро раскинул дюралевые ножки портативного столика – сын был человеком предусмотрительным. Агеев принес из палатки свой охотничий нож, термос, в котором еще что-то плескалось, и они присели по обе стороны столика, друг против друга.

– Ну, так выпьешь немножко? – спросил сын, откупоривая бутылку.

– Нет, не буду.

– А я, знаешь, выпью. Сегодня за руль больше не сяду, уездился.

– Выпей, чего ж, – сказал отец.

– Для расслабления нервов. Так за тебя, батя, – поднял он до половины налитый пластмассовый стаканчик, и Агеев кивнул головой. Сын не имел особенного пристрастия к алкоголю и в этом смысле не внушал беспокойства.

Видно, проголодавшись за долгую дорогу, он выпил и с аппетитом стал закусывать копченой грудинкой и сыром, устраивая такой вот, с детства любимый им бутерброд, и Агеев вспомнил, что у них с матерью не было больших забот с питанием сына – тот ел все и в любое время, как и отец, будучи совершенно непритязательным в еде. Вообще, пока жил с родителями, забот с ним было немного: хорошо окончил школу, с первого захода поступил в институт – не потребовалось никакой подстраховки, неплохо учился, теперь работает над кандидатской, умный, энергичный, знающий свое дело молодой человек. Вот только в

семейной жизни сразу не повезло, год назад развелся, оставив годовалого карапуза.

– Как внучок? – вспомнив об этом, спросил Агеев.

– Растет, что ему. На прошлой неделе видел... Во дворе. Правда, всего минуту, некогда было.

– А Света?

– Что Света? Какое мне дело... – посмотрел в сторону Аркадий и перевел разговор на другое: – Ну, а ты как? Добил свои дела?

– Нет, не добил, – сказал Агеев, вздохнув, и посмотрел вдаль, на утопавшие в зелени дома за дорогой. В одном из дворов калитка была растворена, и полнотелая женщина загоняла в нее гогочущее гусяное стадо со степенным гусаком впереди. В женщине он без труда признал Козлову.

– Слушай, вот не пойму, – сказал сын. – Какое тут у тебя дело? Расследование какое? Что у тебя тут приключилось тогда, в войну?

– Кое-что приключилось, – сказал Агеев.

– Помнится, ты что-то рассказывал. Мать говорила, будто тебя расстреливали. Это тут, что ли?

– Тут, – сказал он, взглянув в оживившиеся то ли от выпитого, то ли от любопытства глаза сына, и замер в ожидании новых вопросов, ответить на которые он был не готов. Сын, однако, ни о чем спрашивать не стал, сказал только:

– Я себе еще немножко плесну. Не возражаешь?

– Не возражаю...

Он и еще выпил немного, потом принялся закусывать, а Агеев налил из термоса остывшего уже чая, медленно помешивал ложечкой в кружке.

– Вот на этом обрыве, – почему-то дрогнувшим голосом сказал он, кивнув в сторону карьера.

– Как?

Кажется, это удивило сына, который, поперхнувшись, с куском хлеба в руке вскочил со стульчика и вытянул шею.

– В этой яме?

– В этой.

Сын побежал к обрыву, а Агеев остался сидеть над кружкой остывшего чая и на встревоженный голос сына тихо ответил:

– На том самом месте.

Минуту постояв над карьером, Аркадий энергичным шагом вернулся к ограде.

– Это ты копаешь?

– Я.

– Зачем?

– Ну, понимаешь, пытаюсь найти кое-какие следы. Кое-что реконструировать. Потому что не все понятно в этой истории с расстрелом.

– А что не понятно?

– Ну вот хотя бы – скольких тут расстреляли.

– А зачем тебе это? Ты что, следователь по особо важным делам?

Агеев медленно поднял голову, взгляделся в ставшее вдруг жестким бородатое лицо его двадцативосьмилетнего сына. Эта жесткость направленного на отца взгляда могла бы возмутить Агеева, но он все же понял, что это не со зла, а из жалости к отцу, из опасения за его здоровье.

– Я для себя, – сказал он, помолчав. – Для очистки совести.

– Ах, совести... Это другое дело, – холодно ответил Аркадий, усаживаясь на низенький стульчик. Прожевывая бутерброд, он о чем-то напряженно думал с минуту. – Вот порой думаю: много вы все-таки нахомутали с этой войной, – отчужденно сказал он.

– Это почему нахомутали?

– А вот все копаетесь, ищете, разбираетесь. Некоторые сорок лет воюют, успокоиться

не могут.

– Значит, есть причины.

– Причины! А жить когда будете? Во второй своей жизни, о которой индийские мудрецы толкуют?

– Другой жизни не будет.

– Вот именно. Да и эту дай бог прожить с толком. Если ядерный гриб не поставит всему точку.

Сын укорял, почти выговаривал, не так словами, как тоном, каким были сказаны эти слова, именно в этом его тоне что-то показалось Агееву знакомым, он уже не раз слышал эти упреки, хотя, может, и не всегда отвечал на них. Однако теперь его задело.

– Ну вот скажи мне, – сдержанно начал он. – Что значит, по-твоему, жить с толком? Сделать карьеру? Обзавестись степенями? Получать премии? Ездить в загранку?

– Ну бог с тобой, почему ты так думаешь? Не усложнять жизнь псевдопроблемами, так я полагаю. В нашей жизни реальных проблем не оберешься...

– Это каких же проблем?

– Будто сам не знаешь. Мало у вас в институте было проблем? Вспомни, если забыл. Да и в жизни, в быту. Вон ехал, нигде заправиться не мог. К бензозаправочным не подступиться, грузовой транспорт забил все подъезды, стоят часами.

– Проблема горючего – мировая проблема.

– Да никакая она не мировая! Какие у нас при таких запасах нефти могут быть проблемы с горючим? Безголовая организация, вот что! Просчеты планирования. И это в эпоху НТР, когда на новейших компьютерах считают.

– Дело не в компьютерах...

– Не в компьютерах, конечно. Дело в тех, кто считает.

– Вот именно. А считают люди. Значит, проблема в людях. Человеческая проблема... Вот еще одна «проблема» шагает, – сказал вдруг Агеев, взглянув поверх головы сына. – Давай сюда, Семен!

Действительно, на дороге из-за кладбища появился в своей желтой безрукавке Семен, который, наверно, увидев, что Агеев тут не один, замедлил шаг, словно раздумывая, не повернуть ли обратно? Агееву тем временем расхотелось продолжать начатый разговор, и он почти обрадовался неурочному приходу нового гостя.

– Здравствуйте, – подойдя, вежливо поздоровался Семен, обращаясь к Аркадию.

– Это мой сын, – кивнул Агеев. – А это Семен Семенов, ветеран, как видишь. Вот сейчас мы и потолкуем. Возьми там ведро и подсаживайся. В самый раз будешь.

Для приличия слегка помявшись, Семен присел с боку стола. Тени там уже не было, и бурое морщинистое лицо его скоро покрылось мелкими каплями пота, он не вытирал его, терпеливо оставаясь на солнцепеке.

– Проведать отца, так сказать? Это хорошо, это отцу завсегда приятно... – заговорил он, оглядывая стол, и задержал взгляд на бутылке.

– Вот, налей гостю, – сказал Агеев. – Наверно же, не откажешься, как я, например?

Семен притворно поморщился.

– Мы тут больше к вину привычные.

– А почему именно к вину? – спросил Агеев-младший, наливая стаканчик. – Дешевле?

– Не-а. Больше выпьешь, – улыбнулся Семен.

– Это резон! – одобрил Аркадий. – Ну, выпейте.

– А вы?

– Я уже все. Выпил, больше не пью.

– Так неудобно как-то одному...

Заскоружными пальцами правой руки Семен неловко подобрал с бумажки кусочек грудинки, устроил его на ломте хлеба, покряхтел, Степенно, не торопясь, он готовился к самому важному в этом угощении, примеривался, вздохнул. Агеев почти любовался его священнодействием, вдохновением, отразившимся на его просветлевшем лице, на загорелом

лбу, где белыми полудужиями выделялись вылинявшие за лето брови. Наконец, запрокинув голову, Семен, не торопясь, выпил – худой кадык на его длинной морщинистой шее прошелся снизу вверх и обратно.

– Хорошо, однако же!..

– Закусывайте, чем бог послал.

– Спасибо.

– Спасибом лимонад закусывают, – слегка назидательно заметил Аркадий, и отец уловил в его тоне неприятный холодок превосходства, который нередко раздражал его в характере сына.

– Семенов – истинный трудяга войны, – сказал он, обращаясь к сыну. – В разведке воевал. Имей это в виду.

– Разведчик – это теперь важно. Разведчиков уважают. Штирлиц и так далее...

– Да не Штирлиц! – повысил голос Агеев. – Войсковой разведчик! И это, будь уверен, не меньше...

Сын ловким ударом вогнал капроновую пробку в горлышко бутылки.

– Разумеется, разумеется...

– Ветеран, инвалид и так далее, – задетый тоном сына, раздраженно говорил Агеев. – Не выгадывал, как некоторые. Те, что на печке отсиживались или сразу в полицию побежали.

Семен спокойно слушал несколько натянутый разговор Агеевых, поблескивая металлическими зубами, не спеша дожевывая закуску. Выбрав подходящий момент, рассудительно заметил:

– Ну не все и в полицию бежали добровольно. Были там и по принуждению. Которых заставили. Или по глупости.

– Как можно по глупости? На такое дело? – удивился Аркадий.

– А случилось. Как я, например.

– А вы что, и в полиции были? – изумился Агеев-младший. Агеев-старший также удивленно уставился на Семена, который как ни в чем не бывало спокойно жевал закуску.

– Был. Где я не был только! В полиции, в партизанах. В плену был. И в армии. До Вислы дошел и вот... – он неловко шевельнул кулечей. – Считаю, на том свете побывал. Да я рассказывал...

Аркадий недоумевающе перевел взгляд на отца, но тот сделал вид, что не заметил этого взгляда, и сидел нахмурясь. Такого оборота в их разговоре он не предвидел.

– Я обо всем рассказываю. А что? Подумаешь, секрет! Знаешь, налей-ка ты мне еще. А то... Малюпашка такая.

– Это пожалуйста.

Аркадий с готовностью откупорил бутылку и налил полный до краев стаканчик. На этот раз Семен выпил залпом и, не закусывая, достал из кармана мятую пачку «Примы».

– Это вначале, наверно? В сорок первом? – спросил Агеев.

– В сорок втором, весной.

– В сорок втором больше в партизаны шли. Массовый приход после зимы. По черной тропе.

– Во, по черной тропе. Мы с Витькой Бекешем тоже так сообразили. Зимой перекапывались на печке, а по весне поняли: надо в лес. Тем более, уже о партизанах заговорили. Правда, далеко в лесу они появились, в Синявском лесу, и я говорю Витьке: погоди, запашем огород и рванем. Он: нет, медлить нельзя, себя же накажем, каждый день дорог. Конечно, поругались, и он утречком рванул один. Я бы, знаете, тоже пошел с ним, но мать жалко было: что она без огорода, старуха, чем прокормится? Корову зимой забрали, коня из колхоза не возвернули, прозевали, пока я в плену загибался, аж в Белой Подляске – там, может слышали, огромный шталаг был. Вот осенью оттуда бежал. Бежало много, но мало уцелело, немцы собаками потравили, постреляли. Мне повезло: к покрову приволокся домой – голодный, обовшивевший, весь в чиряках от простуды. К тому же дизентерию

прихватил. А дома что? Мать-старуха в холодной хате – ни хлеба, ни дров, ни картошки. Едва кое-как до весны дотянул, от хворобы оклемался – надо снова идти бить врагов. Бить оно, конечно, не отказываюсь, зла у меня против них по уши, но и старуху жалко.

– А что, дома больше никого не оставалось? – спросил Агеев, который уже близко к сердцу начал принимать этот рассказ.

– Кроме меня у матери была еще дочь, сестра моя старшая. Замужем в соседнем районе. Но у сестры четверо детей, мужа убили в первые дни оккупации, со свекром живет. Ну как туда матери? Сидит в своей хате старуха.

Так вот этот Бекеш напакоевал сидор и подался из села. Я остался, вкалываю на огороде, картошку сажаю. А дня через три вертается мой напарник – партизаны отправили назад. Оружие надо! Без оружия не принимают. А где его взять, то оружие? Это там, где бои шли, его пропасть на полях осталось, а в нашей местности боев никаких не было, фронт быстро прошел, ничего нигде не найдешь. С чем идти в партизаны?

А надо вам сказать, тут другая беда наслеза – в местечке гарнизон установили, полицию набирают. Ну, конечно, добровольцев, которые на Советскую власть зуб имели, таких всех подобрали и – мало. Стали брать разных. Присылают повестку явиться и забирают. Или просто приезжают, входят в хату и хватают. Хорошо, если кто может отказаться, ну там инвалид, больной, справку имеет. Я тоже от врача справку имел, что дизентерия, но справке той уже почти полгода исполнилось. Правда, подправлял раз и второй, уже почти дырка на том самом месте, где число написано, и третий раз подправить уже нет возможности. Худо дело! И вот как-то под вечер сошлись мы с Бекешем за баней, решаем, как быть. А надо сказать, Бекеш этот был парень грамотный, девять классов окончил, но молодой, горячий и очень переживал из-за осечки с партизанами. Вот он и говорит: «А что если запишемся в полицию? Получим винтовки и – в Синявский лес». Думаю, может, и правильно! А то досидишься, что силой возьмут или еще лучше – застрелят. Боязно, конечно, и погано как-то, но чем черт не шутит. Уж хуже, наверно, не будет, чем в том шталаге возле Белой Подляски. Конечно, служить мы не будем, нам бы только винтовки заиметь.

Ну вот, запахал я огород, картошку посадил, думаю, убьют, так хоть матери на первое время будет как перебиться. Старухе намекнул, а та в плач. «Лучше бы ты, – говорит, – на войне летом погиб, чем теперь в полицию идти». – «Ничего, мамаша, – говорю, – я им послужу. Я в партизаны перебегу, мне бы только оружие заполучить». Ну, кое-как успокоил старуху, и утречком мы с Бекешем подались в местечко.

Я уже говорил, что там знакомые были, двое из нашей деревни, из местечка несколько. Скажу вам, разные люди. Которые сволочи, а которые и ничего, только запуганные, особенно которые семейные, куда им? Чуть что, немцы ребят похватают, баб, расправятся жестоко. Ну, определили нас с Бекешем в третий взвод, начали муштроваться на плацу – учить строевой, приветствию, как в армии. Формы еще не было, в своем ходили, кто во что одет. Я в гимнастерке, серой шинельке, сапогах кирзовых. Винтовок пока не выдавали, все безоружных мурыжили. Полиция в школе располагалась, кирпичное здание такое, одноэтажка, в центре местечка возле моста. Начальником был зверь один, ходил весь в ремнях, с маузером на боку, лютовал – страсть. Чуть какое подозрение или нарушение – порол жестоко, а то передавал в СД на станцию, там немецкий гарнизон обосновался. Два взвода, которые уже вооруженные были, часто по тревоге поднимали – то на аресты, облавы, то против партизан. И вот однажды – в мае это случилось, уже лес распустился – ночью тревога. Все высыпали строиться, а я в наряде дневальным стоял. На этот раз всех погнали на подводах и верхами, где-то партизаны напали, выручать своих, значит. И третий взвод тоже погнали, только двое больных остались и трое нас из наряда. Как все убралось, я казарму подмел, стою у тумбочки в коридоре, другой дневальный только сменился, прикорнул под шинелью на нарах. А дежурный, старший полицейский Сурвила с винтовкой на крыльце ходит. Из всех нас только он с оружием. Вот, думаю, лег бы и он отдохнуть, я бы его винтовочкой и попользовался. Но не ложится, зараза. Под утро, на рассвете слышим выстрелы за лесом в стороне Слободы, густоватая такая перестрелка началась, может, с час

продолжалась. Сурвила этот нервничает – то внутрь зайдет, то снова выйдет, боится, сволочь, чтобы партизаны не напали. Подлец был большой, прежде районным Домом культуры заведовал, ряшка – во, плечи – во, сильный, собака, а трусоват. Вижу, мандраж всю его водит. Злорадно мне, но виду не подаю, стою в коридоре. На поясе у меня штык, обычный трехгранник, от нашей драгунки. Конечно, это не оружие, с таким в партизаны не примут. А где взять лучше? Все думаю о том, ломаю голову.

И вот только рассвело, возвращаются с операции, сначала конные, а потом на подводах, раненых привезли человек пять и двоих убитых. На палатках вносят в казарму, гляжу и чуть не закричал вдруг – Бекеш! Голову свесил, лоб белый, в волосах кровь запеклась. Не много так крови, от пульки, но – все. Насмерть. Вот тебе и добыл оружие! Даже в руках не подержал, при повозке был, коней караулил. Слепая она, военная судьба, ни черта не выбирает. Кого попало косит, чаще хороших людей, а сволочь какую даже пуля не тронет.

Значит, сгрузили убитых, положили раненых, и двое полицейских под руки ведут еще одного. Тоже раненый в ногу, нога едва перевязана, без сапога, прыгает на одной. Гляжу, вроде не наш, в полиции такого не было. Спрашиваю у Чернявского, полицейский из местечка, с которым когда-то вместе в школе учились, говорит: партизан пленный, раненым подобрали. Молодой такой, в черной кубанке, похоже, командир какой-то из леса.

Потащили его в канцелярию на допрос, а канцелярия как раз напротив, в двух шагах от меня, я стою у тумбочки и все слышу, как его там допрашивают. Начальник с маузером, от СД какой-то громила в желтых сапогах, несколько полицейских. Сначала к нему по-хорошему, но, видно, не хочет говорить партизан, так орать стали. Ну и дубасить. Он тоже орет, матерится. Но все-таки что-то и скажет. Слышу, фамилию свою назвал, а они все про Синявский лес добиваются. Начали сильнее дубасить. Вот он уже и сознание потерял, выбежали за водой, отлили. И снова бить. Потом перерыв. И опять. Этот допрос, наверно, часа три продолжался, меня уже сменили у тумбочки, только прилег вздремнуть, Сурвила поднимает. Говорит: «Запрягай телегу, поедем на задание». – «Куда?» – спрашиваю. «На станцию, пленного бандита повезем, немцы требуют». Очень не понравилось мне это задание – во-первых, партизана немцам отдать, ведь это для него верная смерть, во-вторых, я опять без оружия остаюсь. Говорю: «Пусть винтовку какую дадут, как мне с голыми руками ехать?» Говорит Сурвила: «Не трусь, я с оружием. Если побежит... Да и не побежит он – на ладан дышит».

Ну, запряг я лошадь, внесли в телегу партизана, устроили на соломе. Гляжу, и правда, едва жив, так отмузузили. Лицо сплошь в крови, на свет божий лишь одним глазом смотрит. «Куда вы меня повезете?» – спрашивает. А Сурвила ему: «Не все тебе одинаково, бандитская морда. Вот шлепнем на мосту и в воду!» Партизан ругается, матом честит и полицейских, и Гитлера. Мне поганно в душе, думаю: неужели я руки к его гибели приложу? Но что делать? Не откажешься ведь. Те, что ночью по тревоге ездили, теперь получили отдых, будут спать до обеда, а нам, значит, такое дело...

Выехали из местечка, катим по большаку. Пленный, несмотря, что изранен и избит, так еще и связан по рукам, а к здоровой ноге веревка пропущена. Я сижу в передке с вожжами, Сурвила сзади, наблюдает за обоими. Большаком навстречу проехало две повозки, прошли несколько баб с корзинами. А так пустовато. И тут начали у меня всякие мысли появляться. Стал я приглядываться к местности. До станции этой было версты четыре, дорога все время полем, но в одном месте, за мостком, начинались кустики, и в тех кустиках развилочка такая малоприметная: большак на станцию, а боковая дорожка через лужок – прямо в деревню Смоляны возле соснового бора. Думаю, вот бы туда повернуть. Но как повернешь, когда этот живодер сзади, в руках винтовка. Если что, быстро пулю меж лопаток схлопочешь.

И все-таки я решился. Как въехали в это мелколесье, я и говорю Сурвиле: «Слышь, возьми вожжи, а я на минутку. Живот что-то...» Он подумал, оглянулся, но слез, перешел к передку, взял вожжи. Ну, и, конечно, винтовку закинул за плечо, а мне только это и надо было. Выдернул я штык из-за пояса и, как кабану, сзади ему под лопатку. Только застонал, как боров, да и осел мне под ноги. Я за винтовку, себе на плечо, его за ноги да в канаву.

Потом сам – в телегу да по коням! Кони неплохие были, как врезал им, как рванули через лужок. Партизан сначала взвыл даже от боли, а потом, поняв, наверно, что к чему, замолчал. А потом и подсказал, куда ехать. «В Качаны, – говорит, – к кузнецу. Там скажут...» Я и примчал его в Качаны, там перепрыгали, переночевали в стожке, а назавтра из отряда приехали. Сразу четверо верховых, и мой спасеньш говорит: «Вот он меня спас, ребята. Спасибо, полицейай!» Оказывается, партизан этот не простой был, а начштаба отряда. Вот ведь какая штука, думаю! Однако ж и повезло мне. Только вот Бекеша жалко...

Определили меня пока что в резерв. Пригляделся я, что тут за люди. Оказывается, и тут есть знакомцы. Которые из района, меня не очень знают – я до войны в бригаде работал, молодой был. Потом служил действительную на ДВК [Дальневосточный край]. Зато я их помню. Заврайзо наш, начальник милиции. А однажды возле кухни гляжу – учитель из местечковой школы Багиров, нас в четвертом классе учил. Постарел только, почти весь седой стал. Но комиссар отряда.

Началась моя партизанская биография, и началась вроде неплохо. Меня хоть и не многие знали, но зауважали сразу – как же, начальника штаба от дурной смерти спас! Правда, некоторые и косились: из полиции, мол, как бы не подосланный оказался.

– Ну это вам повезло действительно, – сказал Аркадий. – Что подвернулся начальник штаба. Словно в кино. А если бы, например, рядовой? Или по дороге умер...

– Вот этого я больше всего боялся, – совершенно по-детски, открыто улыбнулся Семенов. – И по дороге, и потом в стожке ночью. Плох был начштаба, порой сознание терял. Вот, думаю, отдаст-концы, что тогда мне? Куда податься? Партизаны скажут: убил. И в полицию нельзя, не поверят. Да и Сурвилу найдут с моим штыком под лопаткой. А начштаба в отряде не было месяца два, устроили где-то в укромном месте, лечился. За это время я уже Совсем освоился, несколько раз в засадах участвовал, оружием разжился. То об одной винтовке мечтал, а тут у меня уже и «парабел» завелся – вытащил на шоссе у убитого офицера, и кинжал, хороший такой, с красивыми ножнами. Словом, настоящий партизан. И вот как-то вечером, только мы поужинали на кухне, выходим – навстречу незнакомый мужчина в кожанке и с палочкой, прихрамывает немного, смотрю: кто такой? А Колька Смирнов (москвич был, потом, как гарнизон громили, смертельную рану получил, у меня на руках помер), этот Колька толкает меня в бок: мол, что смотришь, приветствуй, это же твой спасеньш, начштаба! Ну, я руку под козырек, так, мол, и так. «Здравствуйте, товарищ начштаба, как здоровычко?» Правда, подал он руку. «Спасибо, – говорит, – за спасение». Говорю: «Ничего не стоит, обоих спасал – и вас и себя». – «А откуда, – говорит, – ты узнал, кого спасать надо?» – «Так я же, – говорю, – у тумбочки стоял, как вас допрашивали, слышал кое-что». Ничего мне не ответил в тот раз, но как-то помрачнел с лица. Я не обратил внимания – мало ли человеку пережить пришлось. Не очень веселое это дело – в их руках побывать.

И вот лето к концу идет, воюем мы в партизанах, аж треск по лесам идет. То мы их бьем в хвост и в гриву, а то они нам дают прикурить. Прежнего командира нашего переводят в комбриги, а на место его ставят начштаба Новиковского. Ребята меня поддевают. «Семенов, – говорят, – сходи к своему спасеньшу, похлопочи, пусть автоматчикам мяса подкинут». Или: «Закинь словечко, пусть после операции подъем на пару часиков позже сделают». Или: «Что ты в разбитых сапогах топаешь, попроси, пусть новые сапоги выдадут, которые из трофеев». Я, конечно, отшучиваюсь, никуда не хожу, не обращаюсь. Я уже смекнул, что мой командир на меня вроде дует, даже избегает меня. И не то чтобы поощрить чем, ну там дать лишний часик поспать, так еще наоборот, все куда-то услать меня норовит. Другие командиры ко мне все нормально, комиссар – тот меня в пример хлопцам ставит. Да и в самом деле, разве я плохо воевал? Подрывали мост в Шонцах, я полицейского часового снял. Да так удачно, что, пока в блиндаже очухались, мы всю взрывчатку к сваям прикрепили. Взорвали, караул целиком уничтожили и ни одного своего не потеряли. Комиссар благодарность объявил перед строем, гляжу, Новиковский морщится. Вот не нравлюсь я ему! В Ноябрьские стали к наградам представлять, комиссар говорит: орден

Семенову, а командир возражает: медали хватит. Ну «за бэзэ», значит. А как только где замаячит дохлое дело, как в Тростянном болоте, где немцы обоз наш перехватили, туда Семенова. Иди умри или верни обоз. Пошел и вернул, не умер. Спасибо, конечно, перед строем и так далее. Но, чувствую, ему было бы лучше, если бы не пришел, умер. Что-то он числил за мной, а что, долго не мог докумекать.

– Пожалуй, именно эту вашу службу в полиции, – сказал Аркадий.

– Да не службу, не в службе дело, – прервал свой рассказ Семен, уже не в первый раз косившийся на недопитую бутылку, стоявшую возле ножки стола. Аркадий, конечно, замечал эти его красноречивые взгляды, но делал вид, что не понимает их истинного значения. Агеев молчал, он уже понял все, к чему с такими подробностями подводил Семен. Но он слушал. Не сказать, что с большим интересом, скорее с ненавязчивым чувством узнавания мелочей и ситуаций, которыми полнилась его собственная память. – Не службу. Хотя и я сначала так думал. Что не доверяет. Или испытывает. А потом понял: сам виноват. Через свой длинный язык страдаю.

Однажды я ему лошадь седлал, ну так выпало, подвел, значит, к землянке (в Красной пуще стояли, в сосняке), подал поводья. Поблизости вроде никого не оказалось, он поводья взял, придержал стремя и, прежде чем вскочить в седло, спрашивает: «Скажи, Семенов, ты тогда до конца додневалил?» Я сразу смекнул, когда это _тогда_, но виду не подал, переспросил: «Это когда?» – «Ну как меня там дубасили?» Говорю: «Дневалил, но скоро сменился, в казарме спал». Соврал я ему, и, гляжу, глаза повеселели, что-то в них отошло, вскочил он на коня, а я и спрашиваю с невинным видом: «А что, товарищ командир?» – «Да нет, ничего», – говорит и прутиком коня по шее, поскакал. Вот соврал, и у человека отлегло от сердца, и мне легче стало. Как-то при построении подошел, пошутил, угостил закурить даже. Ну, думаю, держись, Семен, дело твое вроде уладилось, не проболтайся только. Короткое, однако, было мое везение, через неделю похоронили Новиковского – убили при переходе железки.

Семен замолчал, рассеянно держа в прокуренных пальцах потухшую сигарету, оба Агеевы тоже молчали. Отец ушел в свое давнее и тягостное прошлое. Аркадий вроде что-то обдумывал и вскоре признался:

– Не совсем понял, в чем соль. Он что, по заданию или как?

– Что по заданию? – не понял Семен. – Почему по заданию! Так просто.

– То есть?

– Да все ясно, – сказал Агеев. – Что разъяснять. Тут и младенцу понятно.

– Ну, – коротко подтвердил Семен.

– А вот мне не понятно, – упрямылся Аркадий.

Семен с хитрым прищуром поглядывал то на сына, то на отца, что-либо объяснять он воздерживался, и Агеев-отец сказал сыну:

– Возможно, ты и не поймешь. Потому что вы поколение, далекое от того времени. Не по объему знаний о нем, нет. Знаний о войне у вас хватает. Но вот атмосфера времени – это та тонкость, которую невозможно постичь логически. Это постигается шкурой. Кровью. Жизнью. Вам же этого не дано. Впрочем, может, и не надобно, чтобы было дано. У вас свое. А что касается войны, то, может, вам достаточно верхов, что поставляет массовая информация. Там все стройно и логично. Просто и даже красиво. Особенно когда поставленные в ряд пушки палят по врагу.

– Ну почему же! – возразил Аркадий. – Мы должны знать.

– Чтобы что-то знать по-настоящему, надобно влезть в это «что-то» по уши. Как в науке. Или в искусстве. Или когда это «что-то» станет судьбой. Но не предметом короткого интереса. Или, еще хуже, мимолетного любопытства.

– А, черт его!.. Лучше поменьше знать, – примирительно заметил Семен. – Спокойнее спать будешь. Я вот, как вспомню когда, ночь не сплю, думаю. Тогда столько не думал, а теперь на размышление потянуло.

– Значит, стареем, – сказал Агеев. – Размышления, как и сомнения, – удел стариков.

– А я не старик! Знаешь, я себя чувствую все тем же, как в двадцать шесть лет. Хотя вот уже скоро семьдесят. Но семьдесят вроде не мне. Какому-то старику Семенову. А я Семен. И все такой же, как был в войну.

– Это так кажется только.

– Конечно, кажется. Но вот так себя чувствую. Со стороны оно иначе видится...

– Со стороны все иначе.

Агеев время от времени поглядывал на сына и видел, как постепенно менялось выражение глаз Аркадия – от холодноватой настороженности к медленному робкому потеплению. Кажется, что-то он стал понимать. И отец думал, что великое это дело – человеческая открытость, правдивая исповедь без тени расчета, желания подать себя лучше, чем ты есть в действительности. Качество, встречавшееся теперь все реже. Он не раз замечал, как в компаниях молодых, да и постарше, каждый высказывал со своим «А я...», заботясь лишь об одном – произвести впечатление. Неважно чем: вещами или поступками, высоким мнением о нем окружающих, особенно начальства... Семен ни на что не рассчитывал – представал без претензий в своей оголенной человеческой сущности. Агеев давно почувствовал это в нем и оценил больше, чем если бы он похвалялся Честностью, сметливостью, умом или заслугами. Семен не числил за собой ни особого ума, ни каких-либо заслуг и тем был привлекательнее многих умных и вполне заслуженных.

– Выпьете еще? – совсем дружеским тоном спросил гостя Аркадий.

– А не откажусь, – легко согласился Семен. – Заговорил я вас, аж сам разволновался.

Аркадий щедро налил ему полный до краев стаканчик, себе наливать не стал, и Агеев, вдруг повинуясь неясному порыву. Протянул руку.

– Плесни-ка и мне тоже.

Сын округлил глаза, но плеснул – чуть, на доньшко, и Агеев обернулся к Семену.

– Давай, брат! За наши давние муки.

– Ага. Я, знаете, извиняюсь – иногда на меня находит.

– Ну и хорошо, что находит, – почти растроганно сказал Агеев.

– Нет, почему же, интересно. Так что спасибо, – вполне дружелюбно заключил Аркадий.

– Это что! Вот я как-нибудь не такое еще расскажу. Поинтереснее будет. Как мне Героя едва не дали.

– Что ж, будем рады, – сказал Агеев, держа в руке стаканчик.

Он выпил и, почти не закусывая, сидел, прислушиваясь к себе, чувствуя быстрое с непривычки опьянение. Он опасался за сердце, но то ли от проглоченной таблетки кордарона, то ли от выпитого коньяка сердце работало ровно, хотя и с нагрузкой, но пока не сбиваясь с ритма. И то слава богу.

В бутылке уже ничего не осталось, и она лежала на траве под столом. Семен, как-то заметно сникнув после своего длинного рассказа, посидел немного и поднялся. Простился он коротко, словно торопился куда, и, не оглянувшись, пошагал вдоль ограды к дороге. Солнце клонилось к закату, в упор ярко высветив плотную стену кладбищенских тополей, верхнюю часть каменной ограды с проломом в углу; косогор же с палаткой и карьером лежал весь в тени; с полей потянуло прохладой, и Аркадий легко поднялся со своего ветхого складного стульчика.

– Ну, будем устраиваться, батя. Ты ночуешь в палатке? Я, пожалуй, лягу в машине.

– А не коротко будет?

– Все приспособлено, раздвигается, не в первый раз.

Он принялся хлопотать в машине, раздвигая сиденья, долго накачивал красный, под цвет «Жигулям» надувной матрац. Агеев сидел за столом, думал. Состояние его, к счастью, не ухудшилось, сердце без заметных перебоев стучало в груди, хмель скоро прошел, и он думал, что ему принесет завтра. Он намеревался просить сына остаться дня на два чтобы помочь перелопатить обрушенную ливнем глыбу и немного под ней. Если там ничего не обнаружится, то можно на том и закончить его затянувшийся поиск.

Прошло три, пять и семь дней, а Барановская не возвращалась, и Агеев не знал, что думать, когда ее ждать. Расспрашивать о ней соседей не имело смысла, он не знал даже толком, куда она отправилась. Он по-прежнему ночевал в сарайчике; ночи еще были теплыми, на свежем воздухе под кожушкой спалось, в общем, неплохо. Нога его, кажется, пошла на поправку, опухоль спала, он раза два перевязал рану, экономно комбинировав старую повязку с чистой тряпицей, но ходил, все прихрамывая, опираясь на палку. Впрочем, ходил немного, со двора никуда не отлучался, даже на ближайšie улицы, только выглядывал иногда из калитки в оба конца своей коротенькой, на десяток домов, Зеленой, одним концом упиравшейся в овражные заросли. Там был тупик, в овраг от него сбегала тропинка. Питался он скудно, растягивая то, что оставила ему хозяйка, иногда варил картошку, к которой приносил с грядок желтые переспелые огурцы. Оченьгодились Мариины гостинцы – масло, сало, варенье. Хуже всего было с хлебом – хлеб у него кончался, и очень хотелось именно хлеба, без которого не лезло в рот ничто другое. Но идти к незнакомым Козловичевым он не решался и растягивал горбушку, как только можно было ее растянуть, пока однажды не съел последний кусок.

Как-то глухой ветреной ночью он вдруг проснулся от выстрелов, явственно прозвучавших в тиши где-то неподалеку, может, на окраине местечка или в ближнем поле. Выстрелов было немного, около десятка, и все из винтовок – это он определил точно. Кто мог стрелять, конечно, оставалось загадкой: может, кто из леса, а скорее всего, полицаи. Выстрелы эти взбудоражили его душу, в ту ночь он больше не уснул до рассвета. Он все ждал, не повторится ли стрельба в другом месте, но до утра выстрелов больше не было. И он думал: как было бы хорошо скорее поправиться, начать нормально ходить и убраться из этого местечка. Туда, где вокруг свои, глядеть в нормальные человеческие лица, не ожидая подвоха от первого встречного, не опасаясь за каждый час своей жизни. А риск? Риск, конечно, оставался всюду, ведь шла война и погибали люди. Но одно дело рисковать вместе со всеми, на глазах у своих, и совсем другое – подвергаться опасности среди недругов, каждодневно и ежечасно, совершенно не представляя, где тебя настигнет самое худшее. Нет, только бы зажила рана, и его здесь больше не увидят. Это все не по нему, он военный командир, его дело бороться с врагом в открытую, с оружием в руках.

Встав утром рано, он обошел двор, хлева, с глухой стороны по крапиве добрался до обросшего малинником угла сарайчика, где он накануне припрятал свой пистолет. Пистолет спокойно лежал себе на прежнем месте, под камнем, который он откатил от фундамента. Развернув тряпицу, Агеев стер ладонью слабый налет ржавчины на затворе – пусть лежит, авось понадобится. Устроив пистолет в ямке, снова придавил его камнем. Место, в общем, было надежное, и это его успокоило. Во дворе он стал думать, из чего состряпать сегодня завтрак – сварить картошки или ограничиться яблоками-малиновками, которые он обнаружил на дальней, возле забора яблоне. Кот Гультай уже перестал дичиться его и ходил следом, изредка требовательно мяукая, он тоже был голоден и просил есть. Но для кота у него решительно ничего не было.

– Ладно, Гультай. Иди лови мышей...

Кот внимательно взгляделся в него коричневыми, с косым разрезом глазами и настойчиво протянул свое «мя-у-у-у».

Агеев хотел пойти на кухню, как вдруг увидел на улице телегу с лошастью, которая тихо подъехала к дому по немощеной, поросшей муравой улице, и какой-то дядька в коричневой поддевке натянул вожжи.

– Барановская здесь живет? – спросил он, не слезая с телеги.

– Здесь, – сказал Агеев.

Он подумал, что дядька от хозяйки, что, может, он что-либо сообщит о ней. Но тот, ни слова не говоря, закинул вожжи на столб палисадника и выволок из телеги большой, чем-то набитый мешок. Агеев, стоя у выезда со двора, удивился.

– Что это?

– Куда тут вам? – вместо ответа спросил дядька, волоча перед собой мешок. Только во

дворе, оглянувшись, шепнул: – От Волкова я.

Агеев торопливо распахнул дверь в кухню, и дядька бросил мешок на пол.

– Ух!

– Что это?

– А это работа вам. По ремонту. Сказали, которые уже нельзя починить, на матерьял.

Агеев развязал веревочную завязку – мешок был полон различной обуви, но все больше армейской: поношенные кирзовые сапоги, ботинки, среди которых торчали коваными каблуками несколько немецких. Вот это подвалило работенки, подумал Агеев. Как бы с ней не засыпаться.

– А потом что? – спросил он дядьку. Тот пожал плечами.

– А этого не знаю. Сказали свезти, я и свез.

Он немного отдышался, попросил водички, попил и уехал, оставив Агеева в недоумении – что делать? Как отремонтировать эту обувь на виду у всей улицы, по которой шляются полицаи, насакивают немцы. Разве что перейти в дом? Или в сарайчик? Для кого эта обувь, он уже мог догадаться, но с таким же успехом, наверное, о том могли догадаться и немцы. Вот положеньице, черт бы его побрал! Торопясь, он затащил мешок в сарайчик, затолкал под топчан – пусть полежит, пока он что-либо придумает. А сам отправился снова на кухню – хотелось чего-нибудь съесть, прежде чем взяться за дело.

Под неотрывным взглядом Гультая, который уселся на полу напротив, Агеев ел на кухне вчерашнюю картошку и думал, что, наверное, все-таки надо сходить к Козловичевым попросить хлеба, потому что без хлеба не жизнь. Особенно если задержится Барановская, он действительно протянет ноги. И еще он думал, что как-то надо повидать Кислякова, чтобы предупредить о своих бедах Волкова. Все эти дни он ждал, что кто-нибудь наведается из леса, но вот приехал этот дядька с обувью – не станешь же ему говорить о кознях полиции и его подписке. Правда, всю неделю не давал о себе знать и Дрозденко, словно забыл о нем или, скорее всего, пока не имел в нем надобности. А как займет эту свою надобность, что тогда делать?

Только он подумал так, доедая из чугунка картошку, как в кухонную дверь тихонько постучали, и он удивился – никто вроде не появлялся ни во дворе, ни перед кухонным окном, откуда кто взялся? Он уже хотел было отворить дверь, как та сама отворилась и на пороге появился смущенно улыбающийся мужчина уже не первой молодости, видно, довольно помятый жизнью, но при галстукке и в темной шляпе на голове. Все заискивающе улыбаясь, поздоровался и снял шляпу, обнажив широкую, до самого затылка лысину.

– Я не помешал, можно к вам, пан... пан Барановский? – негромко, медовым голосом заговорил он, слегка кланяясь. Агеев с удивлением смотрел на него, мало что понимая, потом кивнул на стоявший перед ним стул.

– Садитесь, пожалуйста!

– Дякую, пан... пан Барановский. Я, знаете, не слишком побеспокою вас, по одному небольшому делу, но дело, знаете, подождет, потому что... Потому... Вот, похоже, собирается дождик, как-то ветер вроде повернул с запада...

– Да, ветер западный, – сказал Агеев и замолчал, едва скрывая свою сразу появившуюся неприязнь к этому пану. «Что еще за пан? – подумал он. – Поляк? Беларус? Русский?»

Пришедший устроился поудобнее на шатком скрипучем стуле, закинул ногу за ногу. Его маленькие глазки подозрительно ощупывали Агеева, бескровные тонкие губы кривились в подобострастной улыбке.

– Завтракаете, значит? Скудный завтрак старика, как писал поэт. Хотя вы не старик, конечно. А завтрак скуден... Это непреложный факт. – Он сокрушенно вздохнул, посмотрел в потолок. – Да, трудные времена, пане. Трудные, но обнадеживающие. Что делать? – развел он руками и снова уставился в Агеева заискивающим взглядом. Агеев, слушая его, не мог понять, что ему надобно и как реагировать на его сетования.

– Вы, наверно, насчет обуви? – спросил он сухо.

Гость замахал рукой.

– Нет, нет. Я не насчет обуви. Обувь, слава богу, мне не нужна. Обойдусь. Да и куда ходить? Некуда сейчас ходить, – объявил он и спросил: – Пан не здешний?

Агеев замаялся. Опять он не знал, как отвечать этому захожему, который неизвестно откуда – из этого местечка или приезжий. Приезжему можно было соврать. А если он местный?

– Как вам сказать, – неопределенно начал Агеев. – С одной стороны – здешний, а с другой – нет.

– Да, конечно, понятно. Если, скажем, родились тут, а жили в другом месте. Как я, скажем. Родом из Слуцка, а жил... Где только не жил.

– И теперь что ж, вернулись? – спросил Агеев.

– Теперь, знаете, вернулся. Родина все-таки, она тянет. Как... как первая любовь. А вот отец Кирилл не вернулся...

– Не вернулся, – подтвердил Агеев и внимательно посмотрел в маленькие глазки гостя, стараясь понять, сказал он это случайно или с определенным умыслом. Однако он ничего не увидел в этих глазах.

– Достойный, скажу вам, был служитель господен. Такими человеческий род богатеет.

Они на секунду встретились взглядами, и Агеев наконец понял: «Все знает! Знает, что я не сын, а самозванец. Черт возьми эту его таинственную осведомленность, что ему еще надо?»

– Вот времена! Страшные времена! Стон и страдания на родной земле. Сокрушаюсь, безмерно сокрушаюсь...

– Что ж сокрушаться! – не утерпел Агеев, подумав, что это обычный вздыхатель, наверное, пришел поболтать, может, найти утешение в словоизлиянии. Но чем его можно было утешить? Сказать про Ельню? Но сначала он решил кое-что выяснить.

– А до войны чем занимались? Работали кем?

– Э, какое это имеет значение! Работал на разных работах. Но всегда скорбел о погибающей родине. Как и всякий белорусин за пределами. Наблюдал издали и скорбел.

Кажется, Агеев что-то стал понимать.

– Значит, приехали? После долгого отсутствия?

– Совершенно верно: приехал! Зов отечества в трудный для него час, знаете, грех игнорировать. Народ не простит. Особенно такой народ, как белорусский. Ведь белорусы – божеской души люди.

– Ну... Всякие есть, – мягко возразил Агеев.

– Нет, не говорите! Хорошие люди, простодушные, открытые. Оно и понятно – дети природы! Ведь вот она, наша природа! Где вы найдете такие пуши, такие боровинки? В Европе все не такое. А тут... Помню, в начале лета... только еще пробудившаяся от зимнего сна природа!.. Такая благодать в каждом листочке – сердце поет. Ангельские гимны в душе! А вокруг реки, полные рыбы, леса, полные дичи. Нет, в Европе давно не то. Окультурено и обезличено. Я бы рискнул сказать: обездушено! А у нас... Вот я на чужбине за столько лет соскучился, знаете... По простой вещи соскучился, просто истосковался. Сказать, не поверите...

– Можно представить...

– Вы даже и представить не можете. А мне палисадничек по ночам снился. Вот эти георгины. Да что георгины – крапива у забора снилась, и в ней куры квохчут. Бывало, проснусь и слезами обливаюсь. Что значит родина!

Агеев молчал. Ему становилось жаль этого человека, видно, немало потосковавшего на чужбине, если даже воспоминание о крапиве у забора оборачивалось для него слезами.

– Нет, дорогой пан, вы, видно, не можете этого понять. Надобно поскитаться, пожить вне и перечувствовать, что все это значит. Батьковщина! Достойная у нас батьковщина, шановный пан!

– Кто возражает, – сказал Агеев, поддаваясь, казалось, искреннему переживанию этого

человека, который между тем продолжал с увлечением:

– А наша история! Теперь, конечно... Но в прошлом, если помните, она знала и блистательные времена. Даже величие. Правда, под чужими флагами, зато от моря до моря. На ее гербе была погоня! Заметьте: не бегство, не спасение, а погоня! Вслед за врагом – с поднятым мечом!

Величие Беларуси от моря до моря, герб с какой-то погоней... В школе этому не учили, об этом Агеев нигде не читал и теперь с удивлением и интересом слушал восторженную речь, видно, немало знающего гостя.

– В истории я не очень силен, – сказал Агеев, – а насчет природы согласен. Природа в Беларуси замечательная. Скажем, озера...

– О, это божественная сказка! Ангельская сюита! – загорелись потухшие было глаза гостя. – Это чудо в зеркале бытия!..

– И леса. Леса у нас...

– Диво, чудное диво! В мире такого нет, поверьте мне! – почти в экстазе гость ударил себя в плоскую грудь.

– В детстве я очень любил бродить... Ну, когда пасли скот...

– В ночном! – подхватил гость. – Костер, лошади, рыба в озере плещется, соловей поет...

– Простите, не знаю вашей фамилии, – потеплевшим голосом спросил Агеев, и незнакомец встрепенулся в искреннем изумлении.

– Ах, я и не представился? Вот какая рассеянность! Тоже, кстати, специфическая черта скромных беларусинов. Задумался, разволновался и забыл. Ковешко моя фамилия. Простите, вы хотели что-то сказать? – учтиво напомнил он, и Агеев замялся: он уже ничего не хотел сказать. И все же сказал:

– Да нет, я так. Подумал, что вот вернулись вы, да не в добрый час.

– Правда ваша! – искренне согласился Ковешко. – Но что делать? Приходится жертвовать. Для батьковщины и в трудный час чем не пожертвуешь! Правда, и пожертвовать непросто – обстоятельства иногда сильнее нас.

– А вы... где сейчас работаете? Или пока без дела? – осторожно спросил Агеев.

– Ну как же без дела! – удивился Ковешко. – Надо как-то зарабатывать на кусок хлеба. Конечно, в поте лица своего. Даром кормить не станут. Я в управе подрабатываю. Скромно, знаете...

Упоминание об управе снова насторожило Агеева, который уже внутренне расслабился и был склонен думать, что имеет дело с несчастным человеком, по своей вине или безвинно заплутавшим на дорогах жизни. Гость с сокрушенным видом вздохнул.

– У вас, вижу, другая судьба. Не скажу – легче, но проще. Это несомненно. Хотя вы моложе, и этот факт нельзя не учитывать. Молодые все склонны упрощать. Как в силу недостаточного опыта, так и в силу незнания, – рассуждал Ковешко, несколько странно вздернув худой подбородок, вроде оглядывая темный потолок кухни. – А вы, простите, до войны работали, учились?

– Да, учился, – неуверенно сказал Агеев.

– По какой специальности, если не секрет?

– Да я по железнодорожному транспорту, – выпалил Агеев, вспомнив довоенную судьбу Олега Барановского.

– Вот как! Как молодой Барановский, – сказал Ковешко, и Агеев в тревоге взглянул на него. Но вроде тревожиться пока не было надобности – Ковешко как ни в чем не бывало озирал потолок и стены, однако сторожно прислушиваясь к собеседнику.

– Да, так.

– Ну что ж, это хорошо, это вам когда-нибудь пригодится. Не теперь, так после.

– Будем надеяться, – сказал Агеев.

– Будем! – решительно повторил Ковешко и пристально посмотрел в глаза Агееву.

– Я тоже так думаю. Чтоб человеком остаться...

Что-то, однако, все же удерживало Агеева от последней открытости в этом разговоре, может, не совсем ясный для него смысл некоторых высказываний Ковешко, неожиданные повороты его непривычных мыслей. Или, может, то сосредоточенное внимание, с которым он, весь замерев, ждал его ответов на свои прямые вопросы. И все-таки Ковешко, кажется, ничего плохого ему не сказал, пока что ничего не потребовал и не попросил даже Агеев уже готов был пожалеть, что не обошелся с ним мягче и, может, откровеннее.

– Вот поговорил с хорошим человеком, и на душе легче стало, – вдруг нездоровое лицо гостя растаяло в доброй улыбке. – Отнял время, вы уж извините.

– Ну, недолгое время, – улыбнулся и Агеев, ожидая, что Ковешко вот-вот поднимется из-за стола. Похоже, тот и в самом деле стал подниматься, скрипнул стулом, но вдруг, согнав с лица улыбку, сказал:

– Я, знаете, еще по одному вопросу... Вы же Непонятливый будете, так мне сказали.

– Кто сказал?

Агеев в замешательстве встал и снова опустился за стол, не сводя глаз с этого, так предательски ошеломившего его человека. Тот, однако, горестно вздохнул и сокрушенно развел руками.

– Да вот приходится! Уж вы не удивляйтесь...

Но Агеев уже не удивлялся, он уже понял, с кем имеет дело, ему все враз стало понятно. И он молчал, стараясь теперь угадать, чего в действительности хочет от него Ковешко.

– Тут такое дело. Должен появиться один мужик из Березянки... Деревня такая в шести километрах. Будет спрашивать Барановскую, попадью, то есть вашу хозяйку. Так чтоб его задержать.

– Как задержать?

– Задержит полиция. Ваше дело – просигналить... Что делать!.. Неприятно все это, я понимаю. Но необходимо. Массы, они, знаете, развращены большевиками...

– Значит, просигналить?

– Просигналить, да. А то иногда уходят не пойманными. Вот тут на днях бандит появился и ушел. Всех, знаете, кто его принимал, немцы того... Ликвидировали.

– Что ж, спасибо за подсказку, – подумав, сказал Агеев.

С совершенно изменившимся лицом, без тени недавнего восторга и подбострастия Ковешко поднялся со стула, застегнул свой мятый, поношенный пиджачишко, взял такую же помятую шляпу.

– Так, значит, я буду наведываться. Я очень вас не стесню. Только по делу. А пока довидзения.

– Всего хорошего, – сказал Агеев, горя негодованием в душе и желая как можно скорее отделаться от этого пана. Давая Дрозденко подписку за этим столом, он думал: ну зачем он мог им понадобиться? А вот, оказывается, нашли и ему работу. Мужик из Березянки...

Он молча выпроводил Ковешко, который, на прощание приподняв над лысой головой шляпу, сдержанно поклонился и мелкими шажками ушел на улицу. Агеев остался во дворе, стоял и думал. Было уже ясно, что промедление в его положении граничило с преступлением, так они втянут его в такое, что вовек не отмоешься. Надо было немедленно связываться с Волковым, предупредить обо всем. А там пусть решают. Может, оставаться ему тут уже невозможно, надо искать другое пристанище. Но где он найдет сейчас Волкова, когда дождется его? Правда, в местечке был Кисляков, который, однако, больше недели сюда не показывался. Может, не было дела, а может... Но ведь он же сказал: в крайнем случае можно зайти. И дал адрес. Советская... Где она, эта Советская? Была бы дома Барановская, послал бы ее. А так придется самому. Срежь бела дня? Или дожждаться ночи? Но ночью комендантский час, по улицам бродят патрули, схватят, чем тогда оправдаться перед Дрозденко – куда ходил?

Положение его подлейшим образом усложнялось, затягивалось в тугой узел. Кто бы подумал? А он шел сюда с единственной целью – отлежаться, залечить рану и снова рвануть

на восток, вдогонку за фронтом. И вот рванул, называется Так впутался в эти местечковые дела, что неизвестно, как выпутаться. Чем такое может закончиться, он легко представлял себе. Но ведь он еще хотел жить и поквитаться с фашизмом, который принес ему столько страданий. Да и ему ли одному...

Было около полудня, когда Агеев окончательно решил идти повидать Кислякова. Он накинул на себя телогрейку, взял ореховую палку, старательно прикрыл входную дверь в кухню. Наверное, надо было закрыть ее на замок, но замка поблизости нигде не нашел, подумал: авось скоро вернется. Впервые он собирался из усадьбы в местечко, но, где искать Советскую, не имел представления. Правда, ее название указывало в сторону центра, расположение которого он приблизительно знал, и, опираясь на палку, пошел в конец улицы.

Скоро Зеленая его кончилась, примкнув к другой, более наезженной улице с неким подобием тротуаров с обеих сторон. Дома всюду были неказистые, сельского типа – обычные деревенские хаты, некоторые со ставнями на окнах, полными цветов палисадниками и свисавшими через заборы ветвями деревьев. Многие ставни теперь были закрыты, калитки же, наоборот, распахнуты; во дворах всюду виднелись следы недавнего разгрома: выброшенная из домов рухлядь, тряпье, обрывки бумаг. Один двор за низким штакетником был густо усыпан пухом из перин и подушек, ворохи которого ветер сгонял под завалины, в канаву, усыпал им траву у ограды. Стекла двух окон с улицы были выбиты. Агеев заглянул в одно, в тусклую полутьму хаты с ободранными обоями, черной дырой лаза в погреб, и на него печально дохнуло человеческой трагедией, недавно тут разыгравшейся. А сколько таких трагедий произошло в местечке!..

Стараясь меньше прихрамывать, он дошел до конца этой улицы и остановился на углу возле высокого дома с заросшим сиренью палисадником. Оглядевшись, заметил в зарослях белоголового, лет десяти – мальчонку и спросил, в какую сторону будет Советская. Мальчонка ткнул локтем направо и, когда он уже ступил с тротуара, чтобы перейти улицу, крикнул вдогонку:

– А вам кого надо?

Агеев остановился, подумав, что у мальчонки, пожалуй, можно спросить, и вернулся к палисаднику.

– Мне Кислякова. Не знаешь?

– А вон! – мальчонка переложил из правой руки в левую ножик, которым строгал палочку, и показал через ограду. – Вон, где крыша с кривой трубой. Там Кисляковы.

Заметив недалекий дом по ту сторону улицы, Агеев торопливым шагом пересек пыльную мостовую и скоро вошел в просторный, ничем не огороженный двор с молодой березкой у входа. Двор был пуст и зарастал травой. На ветхой двери при ветхих сенях косо торчал ржавый замок; из дома, однако, слышались веселые голоса, и он приблизился к низкому, без занавесок окошку. Тотчас изнутри появилось замурзанное детское личико, за ним второе и третье, дети с любопытством уставились на него, будто ожидая чего-то, и Агеев сказал:

– А где старший брат?

– Нету, – ответил, гримасничая, мурзатый мальчишка.

– Нету, нету, – повторили за ним остальные двое.

– Вот так дела! – тихо сказал Агеев, и ребяташки, словно передразнивая, повторили за окном разными голосами:

– Вот дела!

– Вот дела!

– Вот дела!

– Ах вы, дразнилки! – сказал он беззлобно, не зная, однако, как быть, где искать Кислякова. Или прийти сюда во второй раз, к вечеру? – Скажите брату, что приходил хромой дядя. Хотел его видеть, – сказал он через окно этой ветхой хатенки, и детвора хором ответила:

– Хорошо! Скажем!

С досадой оглядевшись в пустом дворе, Агеев вышел на улицу и, припадая на больную ногу, пошел на свою Зеленую. Местечко выглядело почти пустынным, словно вымершим, на улице вовсе не видно было проезжих, редкие прохожие, наверное, из ближних домов появлялись и тотчас исчезали в калитках. Остерегаясь с кем-либо встречаться, особенно с полицией, он, однако, благополучно добрался до своей хаты с беседкой у входа и облегченно расслабился. Все-таки дом! Какое-никакое прибежище, укрытие от недоброго взгляда. Правда, плохо оно укрывало, это укрытие, покоя тут не было, его сразу раскрыла полиция, хорошо еще, что не обрезала всех его связей. Но что делать? Без этого заросшего зеленью подворья ему и вовсе было бы плохо, где бы он прожил эту пару недель со своей никудышной ногой, с осколком в глубине раны?

Во дворе он почувствовал себя в относительной безопасности и, чтобы избежать ненужных теперь клиентов, приволок от хлева длинную жердь, загородил ею вход с улицы. Сегодня он никого не примет, у него другая работа. Прихватив из беседки ящик с инструментами, пошел в сарайчик. Надо было браться за привезенную из леса обувь. Он вытащил из мешка две пары кирзовых сапог с оторванными подошвами и, поудобнее устроившись возле топчана, стал подбивать их на лапе.

Негромко стуча молотком по резиновой подошве, он все время был настороже, слушал, ждал, не появится ли кто во дворе. Конечно, ему очень нужен был Кисляков, но могла наскочить и полиция, этот Ковешко или, хуже того, сам Дрозденко. Тогда надо было все быстро прятать, притворно застегивая брючный ремень, выходить из хлева. Он работал, не разгибаясь, часов пять подряд. Днем в сарайчике было светло и покойно, но к вечеру стало темнеть, особенно в такой пасмурный день; он успел подбить лишь три пары сапог и принялся зашивать длинный – осколочный или штыковой – разрез поперек голенища, но не успел. Стало совсем темно, и он, затолкав в мешок сапоги, вышел во двор. Здесь все было по-прежнему. Дверь в кухню оставалась тщательно прикрытой с утра, значит, Барановская не появилась и сегодня. Когда же она, в конце концов, вернется, с досадой думал Агеев. И вернется ли вообще? Может, ему следовало что-нибудь предпринять? Может, заявить в полицию? Или напротив – всячески скрывать факт ее исчезновения от полиции? Как лучше поступить, чтобы не повредить себе, своей исчезнувшей хозяйке? Тем, кто к ней приходил?

Тихий шум веток в саду прервал его размышления, и, оглянувшись, он увидел в сумерках под вишнями знакомый силуэт подростка. Обрадовавшись, Агеев бросился навстречу и едва не вскрикнул от боли в ноге. Все-таки с его ногой следовало обращаться осторожнее.

– Пришел? Ну иди сюда, – тихо позвал он, сворачивая к хлеву.

– Я на минутку, – сказал Кисляков. – Что случилось?

– Пойдем, все расскажу.

Он пропустил Кислякова вперед и, еще оглядевшись по сторонам, прикрыл дверь хлева. Держась за верхние жерди перегородки, они добрались до низенькой двери сарайчика.

– Садись вот сюда. А я тут... Передали, значит, ребята?

– Передали. А я на станции был. Вчера же пакгауз сгорел. Ну, надо было кое-что уточнить. Так что случилось?

Чувствовалось по голосу, как Кисляков насторожился в ожидании его объяснений, и Агеев, не решаясь сразу приступить к главному, сообщил:

– Какой-то дядька мешок обуви привез. Ремонтировать. Сказал: от Волкова.

– Да, был такой разговор, – не сразу ответил Кисляков. – Уже что-нибудь готово?

– Три пары только. Больше не успел. Все-таки приходится остерегаться...

– Конечно. За военное имущество у них расстрел. Вон и в приказе написано, – тихо говорил Кисляков. – Хотя у них за всякую мелочь расстрел. Вчера на мосту повесили трех мужиков за мародерство. С разбитой машины скаты сняли. Хотя бы с немецкой, а то с советской. Вообще нужны они им были, эти скаты!..

– Ну, немцы все рассматривают как свое. Как военную добычу. По праву завоевателей, – сказал Агеев. – Слушай, а кто такой Ковешко, не знаешь?

– Работает какой-то тип в районной управе. С бумажками бегают.
– Не только с бумажками... Он что, местный?
– Да нет. Вроде до войны тут его не было. А что вы о нем спрашиваете?
– Приходил, – обронил Агеев и замолчал. Следовало, наверное, сказать о главном, и он не сразу собрался с духом. Но Кисляков уже почувствовал что-то и выжидательно притих в темноте. – Понимаешь, почему я прибежал к тебе? Тут что-то замышляется, – сказал Агеев. – Начальник полиции заставил меня дать подписку...

Кисляков встрепенулся, Агеев почувствовал это даже в темноте.

– Какую подписку?

– Подписку на сотрудничество. И этот Ковешко уже приходил с заданием – задержать кого-то из Березянки, кто придет спрашивать о Барановской. А Барановская моя неделю назад как уехала, так до сих пор нет. Не знаю, что и думать.

Кажется, он сказал за раз слишком много и умолк, ожидая, что скажет гость. Но Кисляков сопел в темноте, видно, думал, и Агеев подсказал:

– Мне кажется, надо доложить Волкову.

– Конечно, доложить, – скупое согласился Кисляков.

– И решить, как мне быть.

– Это конечно.

– Вообще я уже могу немного ходить и мог бы перебраться в другое место. Может, куда-нибудь в лес. Потому что... Потому что здесь...

– Я передам, – холодно перебил его Кисляков и поднялся. – Давайте, что отремонтировано, я заберу.

– Три пары сапог.

– Давайте.

Агеев пошарил в темноте под топчаном, вытащил связанные попарно сапоги. Кисляков забросил их за плечо.

– Так мне что, ждать? – спросил на прощание Агеев.

– Ну. Я свяжусь, передам.

В темноте на ощупь он проводил Кислякова через хлев, и тот, бросив на прощание «пока!», пошел тем же путем – тропкой вдоль огорода к оврагу, пока не скрылся в сгустившихся сумерках. Агеев постоял еще во дворе, повслушивался в тишину вечера. Все-таки дождь так и не собрался за день, но к ночи заметно похолодало, он содрогнулся от ветреной свежести и пошел в свой сарайчик.

Долгожданный разговор с Кисляковым его не успокоил и ничего не прояснил, опять надо было ждать, и сколько, кто скажет? За время этого ожидания могло произойти разное и, вполне вероятно, скверное. А самое скверное было в том, как Кисляков насторожился при его сообщении, будто переменялся в разговоре и далее держался сухо, вроде недоверчиво даже. Впрочем, оно и понятно. Наверно, и сам Агеев в таком положении не слишком доверился бы человеку, давшему полиции подписку о сотрудничестве. Но ведь он не собирался сотрудничать и без утайки рассказал об этом. Правда, можно было подумать, что он признался по заданию полиции – чтобы своей мнимой откровенностью вызвать абсолютное к себе доверие. Поэтому не так просто поверить такому человеку. Наверно, подозрение тут естественно и правомерно, думал он, оправдывая то себя, то Кислякова. Но на душе от того не становилось легче.

Ту ночь он спал совсем плохо – часто просыпаясь под козушкой, вслушивался в непогожий шум ветра за щелястыми стенами. Ему все чудились осторожные, крадущиеся шаги и непонятные шорохи в этом шуме, и он думал: пришли от Волкова или вернулась хозяйка. Но его никто не тревожил и, полежав, он засыпал снова. Утром, встав на рассвете, первым делом попробовал входную дверь в кухню – та легко отворилась, значит, хозяйка не появилась. Поеживаясь от утренней прохлады, он запахнул свою телогрейку и, взяв дырявое ведро, пошел на огород накопать картошки.

Картошка у Барановской была хороша. Вся крупная, размером с кулак, она бы

показалась объединением, если бы к ней был хлеб. Но хлеб у него кончился, он обходился без хлеба. Накопив полведра, подумал, что вроде хватит. Картошку тоже надо было экономить, ее у Барановской осталось всего сотки три на огороде. Съест всю, чем хозяйка будет кормиться зимой? Если только настанет для нее эта зима...

Оставив лопату в борозде, с ведром в руке он выбрался на тропинку и вдруг краем глаза заметил, как шевельнулась кухонная дверь, захлопнулась у него на глазах. Радостно подумав, что это хозяйка, Агеев скорым шагом, хромя, подошел к двери и, поставив ведро, вошел на кухню.

На скамье у порога возле окна, кутаясь в знакомый вязаный жакет, сидела Мария. Она не обернулась, когда он вошел, пригорюнясь, глядела в одну точку на полу, и он молча остановился сбоку, не зная, как начать разговор.

– Что-нибудь случилось? – наконец спросил он, не скрывая тревоги.

– Нет, нет! Я к тетке, – сказала Мария, пряча, однако, глаза, и он понял: случилось недоброе.

– Тетки нет...

Девушка вскинула заплаканные глаза.

– А где... она?

– Понимаешь, нет. Где-то пропала, – признался Агеев. – Один живу.

Мария уронила лицо в ладони и беззвучно заплакала.

– Так что случилось? – озадаченно спрашивал Агеев. – Что-нибудь скверное?

Скоро, однако, совладав с собой, Мария кончиками пальцев вытерла слезы, но продолжала молчать, и он в ожидании тихо присел напротив. Все-таки он хотел знать, что случилось.

– Понимаете... Понимаете, я думала, дома тетка Барановская, я немного знаю ее. В прошлом году познакомились, – вздыхая и медленно успокаиваясь, сказала Мария.

– Так, так. Ну, а дальше?

– А дальше?... Что дальше? Жить мне у сестры невозможно. Не могу я... Понимаете? Я туда не вернусь.

«Вот так дела! – подумал Агеев. – Еще чего не хватало! Туда не вернешься, где же ты намерена остаться?»

– Тут, видишь ли, пока я один. Что стряслось с Барановской, просто не знаю. Пошла на три дня и пропала.

– Спрячьте меня в ее хате, – вдруг попросила Мария и почти умоляюще посмотрела на него.

– Спрятать? – кажется, он начал о чем-то догадываться. – Что, немцы? Полиция?

– Полиция, – тихо вымолвила Мария.

Тут следовало подумать. Конечно, ее надо спрятать, если по следу идет полиция, но весь вопрос – где? Если спрятать у него, то не поставит ли он тем самым под угрозу всю их конспирацию? Ведь полиция может пойти по ее следам и выйти на него самого. Да и только ли на него?

– Так. Кто знает, что ты побежала сюда?

– Никто.

– А сестра?

– Вера не знает. Из-за нее все и вышло. Полицей этот, Дрозденко, начал захаживать...

– Дрозденко? Начальник полиции?

– Начальник, да. К ней больше, к сестре. Раза четыре ночевал... А потом ко мне стал приставать, – пригорюнясь, рассказала Мария и замолчала.

– Так, так, – сказал Агеев, поняв уже многое, но, пожалуй, еще не все. Но и оттого, что понял, радости ему не прибавилось. – Ну, а ты что же? – спросил он, нахмурясь.

Мария улыбнулась сквозь слезы.

– Вот сбежала.

Он вскочил со стула, прошел три шага к порогу и обернулся.

– Ну что мне с тобой делать?

– Я к ним не вернусь, – сказала она тихо, но с такой решимостью, что он понял: действительно не вернется. Но как же ей оставаться здесь?

– А что же сестра? – спросил он, заметно раздражаясь и повысив голос.

– А сестра дура, вот что. У нее муж был, хороший человек, учитель, но знаете... Невидный такой из себя. Так она все переживала, как же: сама красавица... И вот нашла видного! Полицая продажного.

Мария затихла на скамье, утираясь платочком, горестно вздохнула и снова мельком, словно бы украдкой взглянула на него. Агеев мысленно выругался.

Однако надо было что-то придумать. Выгонять ее в такой ситуации у него не хватало решимости, и он думал, куда бы ее спрятать. Хотя бы на время, конечно. А там будет видно – или она перейдет в другое место, или он уберется отсюда. Вообще закутков-закоулков на этой усадьбе было достаточно: хата, кухня, два хлева, сарайчик, амбар и несколько пустых или неизвестно чем занятых пристроек, в которые Агеев еще не заглядывал. Надо что-нибудь поискать.

– Ты посиди, – сказал он, подумав. – Я посмотрю.

Он вышел во двор и огляделся. Наверно, сперва надо было заглянуть в стоявший за хлевом амбар с замком на высокой двери. Но, где ключ от него, Агеев, конечно, не знал. Подойдя, он слегка тронул висячий замок, который неожиданно сам по себе раскрылся, повиснув на короткой дужке. Агеев открыл дверь и заглянул в полную спертых запахов темноту амбара. Однако не успел он войти туда, отпрянул в испуге – с улицы во двор шли люди. Впереди, отбросив в сторону жердь, шагал Дрозденко, за ним вплотную поспешали три полица с винтовками на ремнях.

– Ну, здорово! – сухо поздоровался начальник полиции, и Агеев, подавляя испуг, кажется, не ответил. Решительный, почти злой тон Дрозденко не оставлял сомнения относительно его намерений; и Агеев запоздало подумал, что пистолет надо было спрятать где-нибудь под рукой, во дворе. – Как дела?

Широко расставив длинные ноги в высоко подтянутых синих бриджах, начальник полиции остановился перед Агеевым, по своему обыкновению буравил его острыми глазками и тонким лозовым прутиком постегивал по голенищу.

– Да так, – сказал Агеев, напряженно думая: неужели он пойдет в хату? Неужели?..

– Мой приказ получил? – понизив голос, спросил Дрозденко.

– Какой приказ?

– Задержать Калюту!

– Какого Калюту? Я не видел никакого Калюту.

Агеев говорил правду и потому смело глядел в свирепые глаза начальника полиции, который, помедлив, переспросил:

– А ночью не заходил?

– Никто не заходил.

Дрозденко обернулся к молодому крепышу полицаю в немецкой пилотке, выжидающе безразлично наблюдавшему за их разговором.

– Пахом! Когда его стрельнули?

– Да темнело уже, начальник.

– Ну во сколько примерно часов?

– Часов, может, в девять.

– Значит, он только еще шел, – спокойнее сообщил Дрозденко. – Шел к друзьям на связь, да напоролся. Барановской что, еще нет? – вдруг спросил он у Агеева. Агеев замаялся, почти смешавшись от удивления, что этому уже известно об отлучке Барановской.

– Нет, еще не приходила, – ответил он просто, будто Барановская отлучилась куда на огород или по воду. Дрозденко молча, словно в раздумье, прошел пять шагов по двору, мельком заглянул в окно кухни. У Агеева екнуло сердце – хоть бы не увидел Марию. Но от окна тот спокойно повернул обратно.

– Вот что, начбой! Придет, немедленно сообщи мне! Тотчас же! Понял?

Агеев поморщился. Это задание будто окатило его помоями, и он не сумел скрыть своего к нему отношения, что тут же подметил Дрозденко.

– Что морщишься? Что морщишься? Я же вот не морщусь! А мне не с таким дерьмом приходится возиться! А то чистюля, морщится! Поимей в виду: станешь хитрить – заболтаешься на веревочке! Понял?

Агеев, однако, плохо слушал его, он лишь напряженно следил за каждым движением начальника и очень боялся, как бы тот снова не направился к хате. Но, кажется, пронесло – начальник полиции напоследок хлестнул прутиком по голенищу и пошагал к улице. За ним потянулись полицейские. Агеев молча проводил их до беседки и, когда они скрылись за поворотом улицы, скорым шагом, почти бегом, направился в кухню.

– Мария! Мария! – тихо позвал он, прикрыв кухонную дверь.

Однако Марии на кухне не было, не было ее и в горнице, куда он заглянул с порога. Тогда он отворил дверь в кладовку, из темной тесноты которой послышалось тихое:

– Я тут.

Мария сидела вверху, в темном чердачном лазе над лестницей и мелко тряслась от страха и напряжения. Он шепнул ей:

– Не бойся! Они ушли, – и опустил на пыльный, стоявший у входа ларь. У самого подкашивались ноги – от пережитого, но больше, наверное, от радости, что и на этот раз пронесло...

Погода явно начала портиться. После знойного лета резко повернуло на холод – небо сплошь покрыли тяжелые серые тучи, откуда-то с северо-запада несшиеся над местечком. Задул порывистый студеной ветер, безжалостно рвавший еще зеленую листву с деревьев, сметая ее наземь, в траву, под заборы, на пожухлые обаявшие картофельные огороды. Весь день было холодно и неуютно, в сараях гудело от сквозняков; казалось, вот-вот польет дождь. Занятый ремонтом обуви, Агеев изрядно продрог за несколько часов сидения в сарайчике, встал, надел телогрейку. Еще с утра он позатыкал в стенах широкие щели, мелкие же все остались, и дощатые стены по-прежнему светились как решето. У него не было часов, но время, похоже, перевалило за полдень, и захотелось есть. Все утро, сидя за сапогами, он не переставал думать о Марии и временами просто не мог взять в толк: как ему быть с ней? Хорошо, что девушке удалось провести полицию и убежать от сестры, но если полиция что-либо заподозрит, то и на этой усадьбе не скроешься. Она перевернет все вверх дном и найдет, что ищет. Разве что у полиции были пока дела поважнее, но вдруг Дрозденко заинтересуется Марией и нападет на след? Где ее спрятать? К тому же как быть с пропитанием, чем он прокормит ее, если Барановская задержится надолго? Видно, надо было браться за ремонт обуви для местечковцев, это бы дало какой-нибудь кусок хлеба, но он еще не отремонтировал привезенную из леса, которую, конечно же, там ждали. И он старался, спешил, хотя за полдня починил лишь три сапога – кое-как прикрепил подошвы, прибил каблук, наложил заплатку на прорванную головку кирзачей. Больше он не успел. И без того разламывалась поясница и ныла раненая нога – от бедра до колена. Подумав, что, видно, надо состряпать что-нибудь на обед, он забросил под топчан сапоги, инструменты и пошел на кухню. Картошка у него была накопана, оставалось сварить ее, вот и весь их обед. Правда, еще надо было пошарить в жухлом огуречнике, где среди переспелых, желтых семенников попадались маленькие скрюченные огурчики. Некоторые из них безбожно горчили, но, посолив, он все равно ел их с картошкой. Благо соль пока была, в буфете на кухне стояла двухлитровая банка. Соли должно хватить надолго.

Он осторожно потянул на себя кухонную дверь, но та была заперта изнутри и отворилась только после повторного его рывка. Перед ним у порога, смущенно улыбаясь и слегка приподняв запачканные чем-то руки, стояла Мария. В печи весело горели сухие дрова, на конфорке что-то трещало, источая неотразимо вкусный запах жареного. Глядя на улыбавшееся лицо девушки, Агеев тоже не сдержал улыбки, внутренне подивившись перемене, происшедшей с ней за время его недолгого отсутствия.

– А я думал картошку варить, – сказал он, подходя к плите. Мария тоже метнулась за ним, что-то перевернула на сковородке, что безбожно трещало в жиру и необыкновенно вкусно пахло. – Что это?

– Драники!

Она снова бросила на него насмешливый взгляд, словно ожидая похвалы или порицания.

– Ого! Вот это хозяйка! – похвалил он. – А я горевал, чем буду тебя кормить.

– Прокормимся как-нибудь, – Мария беззаботно махнула рукой. – Картошка есть?

– Картошка-то есть...

– Ну так с голоду не помрем. А там видно будет.

Он осмотрел плиту, на краю которой уже стояла тарелка нажаренных драников и белела поллитровая стеклянная банка, наверно, с каким-то жиром.

– А где жир взяла?

– А у тетки в буфете. Гусиный жир.

– Гусиный?

– Гусиный. Для драников пойдет. Вот попробуйте! – предложила она и, подцепив вилкой верхний подрумяненный драник, подала Агееву. – Ну как?

– Спрашиваешь! Объедение! – сказал он, с жадностью поедая хрустящий, действительно вкусно пахнущий драник. – И где ты научилась такому?

– Ну это просто. В Беларуси такое в каждой хате умеют.

– Так то в деревне, – сказал он, присаживаясь на стул. – А ты ведь горожанка?

– Горожанка. Но эта горожанка, к вашему сведению, по два-три месяца в году жила самым цыганским образом. В поездках и походах по всей Беларуси.

– За какой надобностью?

– За песнями.

– То есть? – не понял Агеев.

– Просто. Собирали фольклор. Отец – специалист по фольклору, все лето в экспедициях. И я, как подросток, с ним каждое лето.

– Интересно, – сказал он, размышляя и как бы другими глазами поглядывая на Марию.

– Очень даже интересно, – подтвердила она. – Столько песен наслушалась, столько людей навидалась. А природа!.. С ума сойти можно. А вы откуда родом?

– Рассонский район, слыхала?

– А как же! Из Рассон когда-то мы привезли собачку. Беспородный щенок, а такая умница! Умнее всех собак, какие у меня были.

– Собаки – это хорошо, – сказал он, думая, однако, о другом. – Нам бы вот собачку. А так придется дверь закрывать на крючок.

Агеев встал, закинул в пробой крючок и в щель возле занавески глянул в окно.

– В случае чего, как тебя прятать будем?

– А я наверх! – сразу согнав улыбку, сказала Мария.

– Наверх – это хорошо. Но там...

– А ничего. Там можно отсидеться. А в случае чего – через слуховое окно по крыше и в огород.

– Да?

Пока она хлопотала у плиты, Агеев открыл дверь в кладовую. Заглянул в темный верх, где едва светился квадратный лаз на чердак. По шаткой лестнице он осторожно взобрался туда, вдыхая застоялые, непонятного происхождения чердачные запахи. Чердак был просторный, пустой и полутемный, с широкой кирпичной трубой посередине и слуховым окошком в боковом скате крыши, из которого и проникал сюда скупой свет пасмурного дня. В ближнем конце возле лаза валялась какая-то хозяйственная рухлядь, висел на стропиле облезлый старый кожух и стоял расписанный красными цветами сундук с выдраным замком. Возле окна на освещенном месте валялось смятое лоскутное одеяло с подушкой, видно, покинутый кем-то временный приют в этом гостеприимном доме. Маленькое

слуховое окошко выходило на середину ската почерневшей гонтовой крыши, внизу лежал заросший осотом участок картошки; поодаль чернел покосившийся забор соседской усадьбы. В случае опасности окно, конечно, явилось бы спасением, но разве что ночью. В светлое время эта сторона хаты была вся на виду с улицы.

Агеев спустился на кухню, запах драников мучительно дразнил его обоняние, и теперь он во второй раз приятно удивился. На середине стоявшего у стенки стола белела разостланная чистая салфетка, на которой высилась в тарелке целая горка жаром дышавших драников. Рядом ждали едоков две небольшие тарелки с голубыми цветочками на полях, по обе стороны от которых лежало по вилке. Мария стояла к нему спиной у стены и, вытирая что-то полотенцем, сосредоточенно рассматривала пейзаж в желтой рамке.

– Что, хорошая картинка? – спросил Агеев.

– О, это же «Снег» Вайсенгофа – мой любимый пейзаж. У нас в Менске точно такой висел над комодом. Отцу подарили на день рождения.

Агеев мало что понимал в живописи, его больше привлекала музыка, он даже учился когда-то играть на гармошке... Но сейчас он с неожиданным для себя интересом посмотрел на пейзаж. Впрочем, ничего особенного – болото, стога сена, кочки, освещенные солнцем, но действительно все такое похожее, словно всамделишное, а не изображенное на бумаге.

– И репродукция хорошая, – сказала, взглядевшись, Мария. – Когда-то любила зимние пейзажи... Ну да ладно, давайте к столу. Будем кормиться.

– Ну и ну! – сказал Агеев удивленно и озадаченно. – Вот это хозяйка! Что только скажет тебе тетка Барановская?

– Ничего не скажет! – легко бросила Мария, тоже присаживаясь к столу напротив. – У меня с теткой Барановской лады. Она славная женщина.

– Попадья! – в шутку сказал Агеев.

– Ну и что ж! – лукавые глаза Марии округлились. – Ну и что ж, что попадья? Попадья по мужу, а так она народная учительница. Кстати, как и мой папаня.

– А он что, тоже учительствовал?

– Когда-то. Давно. До того, как начал работать в академии.

– Академик, значит!

– Нет, не академик. Просто научный сотрудник, – сказала Мария и, вздохнув, заговорила о другом: – Где теперь моя бедная мамочка? Погибла, наверное. Или, может, в Москве?..

– Все может быть, – сказал он. – А отец что, не на фронте?

– Отца уже нет в живых.

– Умер?

– Да. Четыре года назад...

Они замолчали ненадолго. Агеев ел быстро, по-солдатски, больше орудуя вилкой, меньше ножом. Драники – действительно объедение. Он бы съел и еще столько и не знал, как быть, когда она положила в его тарелку еще два в качестве добавки.

– Нет, нет! – сказал он. – Я уже.

– Так и уже? Съешьте еще два.

– Ну хорошо. Кстати, будем на «ты». Идет?

– Ну знаете... Я как-то не привыкла. А кстати, как ваше имя? Если не военная тайна?

Агеев тщательно дожевывал драник, соображая, как все-таки назваться Марии. Наверное, надо было ей что-то объяснить, но не сейчас же объяснять, и он, подумав, сказал:

– Олег.

– Олег? Хорошее имя. К хазарам собрался наш вещий Олег, – продекламировала она и улыбнулась, зардевшись полненькими, с ямочками щеками. От него не скрылось это ее смущение, и он вдруг неожиданно для самого себя спросил:

– А сколько тебе лет, Мария?

– О, много! – махнула она рукой и вспорхнула от стола. – Уже двадцать один. Старуха!

– Да, – сказал он. – Девчонка! На шесть лет моложе меня.

– Правда? Это вы такой старый?

– Такой старый.

Что-то игривое готово было войти в их отношения, когда на время забывается действительность и дается воля свойственным их возрасту обычным человеческим чувствам. Но Агеев заставил себя вернуться с неба на землю – страшную землю войны, на которой их поджидало нелегкое и надо было ежеминутно остерегаться худшего. Не до кокетства сейчас с этой милой, но, в общем, видно, довольно беззаботной девчонкой.

– А вы все сапожничаете? – спросила она, наспех убирая в буфет посуду.

– Ты, – поправил он.

– Ну да... Ты.

– Сапожничаю.

– Так много нанесли! Богатым будете...

– Будешь.

– Ну, будешь.

– Богатым не буду, – сказал он. – Потому что бесплатно.

– А вы что, в самом деле...

– Ты, – поправил он.

– Ты в самом деле сапожник?

– В силу необходимости.

– Я так и думала. Командир, наверно? – сказала она и, прислушиваясь к чему-то, чего совершенно не услышал он, замерла у раскрытой дверцы буфета.

– Что такое?

– Вроде... Ходит кто-то...

Агеев вскочил из-за стола, кивнув ей, и она, все поняв без слов, метнулась в сторону кладовки. Сам он откинул крючок и не спеша вышел во двор.

Во дворе, однако, нигде никого не было, только шумел в ветвях клена напористый ветер; жердь, пристроенная им на въезде во двор была на своем месте. Он выглянул через нее на улицу, но и там было пусто, у тына напротив ходили, что-то поклевывая, две белые курицы со взъерошенными перьями. Агеев, прихрамывая, вернулся во двор и вдруг увидел на огороде под яблоней человека в темном пиджаке и в шляпе. Пригибая голову под низкими ветвями и придерживая рукой шляпу, тот не спеша выбрался во двор, надкусил только что сорванное яблоко. При виде Агеева сладко заулыбался сморщенным, землистого цвета личиком.

– А я вот, знаете, соблазнился яблочком. Оно грех, конечно, но яблоко, знаете, грех не большой. Вполне простительный, пан Барановский, – легко заговорил недавний его знакомый Ковешко.

Агеев молча смотрел на странного гостя, не зная, как говорить с ним: шутя, всерьез, приглашать его в хату или удержать здесь. Неприятное чувство уже завладело им, он понял, что это приход не за яблоками, конечно. И он присел на скамью под кленом, сделав вид, что заболела нога. Ковешко, поедая яблоко, остановился напротив.

– Поговорить пришел, – сказал он просто и отбросил огрызок. – Нехай пан попросит в дом.

– Счас, – сказал Агеев, растягивая время, чтобы дать возможность Марии скрыться из кухни. Нога, знаете...

– А, понятно. Болит? Конечно, будет болеть. Если тяжелое ранение...

Они вошли на кухню, Агеев выдвинул гостю стул, сам сел по ту сторону стола напротив.

– О, тут у вас тепло. И запах! – хрящеватыми ноздрями Ковешко с жадностью втянул воздух. – Запах как у хорошей стряпухи. Интересно, сами готовите?

– Сам, – сказал Агеев, в душе проклиная его обоняние. Еще полезет искать стряпуху.

– Хозяйка не явилась? – тихонько спросил он и насторожился. По этой его настороженности Агеев понял, что хозяйка – не праздный его интерес.

– Нет, еще нет, – сказал Агеев. – А что, вас хозяйка интересуется?

– Совсем нет. Спросил ради простого любопытства. А так нет. Вовсе не интересуется. Ведь она же вам не родительница? – спросил он и снова прищурил острые глазки.

– Ну, допустим, – сказал Агеев, вдруг вспомнив свой первый разговор с начальником полиции. Черт их знает, как с ними держаться, с этими служителями новой власти? Работают они заодно или врозь?..

Ковешко тяжело вздохнул, задумчиво пробарабанил пальцами по гладкой доске стола. Хорошо, что Мария успела прибрать посуду.

– Видите, пан Барановский... – он слегка замялся, но тут же нашелся и договорил: – Будем называть вас так. Нам известно, конечно, что вы не Барановский, но теперь не будем уточнять. Главное, вы белорусин, и я это почувствовал сразу...

– Это каким же образом? – по-прежнему держась на известной дистанции в отношениях, спросил Агеев.

– Э, что тут спрашивать. Я, пане, земляка-беларусина за версту чую. Нюхом чую. А вы, извините, хоть и по-русски говорите, но в каждом вашем слове звучит белорусин. Древняя мова, знаете, с поганских времен, со времен Великого Княжества. Ее не так просто искоренить. Если россияне за столетия не искоренили...

– А как же немцы?

– Простите, что немцы? Не понял, – сразу наморщил увядшее личико Ковешко.

– Как немцы отнесутся к этой мове?

– Хе-хе, батенька, это весьма проблематично, – осклабился Ковешко. – Весьма проблематично, хе-хе. Но мы выживем, – вдруг тише, но яростнее заговорил гость. – Мы выживем! Главное – искоренить зло номер один. А потом...

– Как бы нас самих не искоренили, – не удержался Агеев.

– Нет, этого не может быть. Этого не должно быть, – потянулся к нему через стол Ковешко. – Немцы – культурная нация. К тому же сила христианской традиции. Я долго жил среди них, знаю... я весьма уповаю...

– На их культурность?

– Да, и на культурность.

– Культурность, а убивают сотнями. Женщин и детей! И заботятся, чтоб еду с собой взяли. На трое суток! – вдруг с гневом прорвалось в Агееве, и он тут же пожалел: нашел перед кем метать бисер. Но сказанного не воротить. Он думал, что Ковешко разозлится и станет угрожать, а тот вдруг упрекнул со снисходительной укоризной:

– Так это же евреев! Надо понимать.

– А евреи – не люди?

– Неполноценная раса, – с нажимом сказал Ковешко. – Оно, может, и чересчур жестоко. Может, и не совсем по-христиански, но... Если разобраться, они нам чужинцы. Они испортили нашу историю. Они веками разжижали дух белорусинов. Не будем жалеть их...

– Не будем жалеть мы, не пожалеют и нас.

– И не надо. Не надо, пан Барановский, не надо жалости! Жалость – удел слабых. Это хотя и христианское чувство, но, несомненно, из числа атавистических. Не надо жалости! Сейчас нам нужны сила и сплоченность. Конечно, под германскими знаменами, фюрер – он вождь арийцев, а белорусины наполовину арийцы. Кривичи которые. Правда, некоторая часть сильно подпорчена инородцами, особенно татарами и жидами. Но мы люди скромные, рады и тому, что осталось. Есть, есть здоровое ядро, из которого разовьется раса. Надо только положиться на силу.

– На германскую силу? – с иронией уточнил Агеев.

Ковешко иронии не понял и почти обрадовался подсказке.

– Вот именно – на германскую. Другой силы на земном шаре теперь, к сожалению, не существует.

– А вдруг найдется, – с не слабеющим чувством протеста сказал Агеев и посмотрел в блеклые глаза гостя. В глубине их тлел, однако, довольно злой огонек, и Агеев сказал себе:

хватит, так можно и доиграться. Наверное, что-то понял и гость, может, смекнул, что слишком далеко зашел в своем разговоре – хотя и с беларусином, но, в общем, малознакомым ему человеком.

– Ну что ж, приятно, знаете ли, поговорить с умным... и твердым человеком. Твердость убеждений, она всегда что-то значила. Даже и ошибочных. Теперь это нечасто бывает. Вот и эта... ваша хозяйка, значит... Барановская. Она ведь женщина твердых взглядов?

– Не знаю, – с нарочитым безразличием сказал Агеев. – Не интересовался.

– Не интересовались? И напрасно. Вот вы побеседуйте как-нибудь...

– Как же побеседуешь, если ее нет? Уже вторую неделю.

– Это печально. Нам она тоже нужна. Нам она даже необходима. Но куда она запропастилась? А вам она не говорила? – спросил Ковешко и снова замер, полный внимания.

– Нет, ничего не говорила.

– Да, вот загвоздочка, – гость снова задумчиво побарабанил по столу худыми пальцами. – Знаете что? Она должна дать о себе знать. Не может того быть, чтобы не дала о себе знать. Так вы это, того... незамедлительно сообщите.

– Это куда? – спросил Агеев. – В управу или в полицию?

Ковешко хитро прищурился.

– Не знаете? Какой вы, однако, непонятливый, в самом деле... При чем здесь управа?

– Так вы же в управе работаете?

– Это, батенька, неважно, где я работаю. А сообщить следует в СД. Это, знаете, в помещении бывшей милиции...

– А Дрозденко? – не мог чего-то понять Агеев.

– Не беспокойтесь, пане. Дрозденко мы объясним.

– Вот как! – удивился Агеев, подумав про себя: черта лысого вы от меня дождетесь. И вы с вашей СД, и Дрозденко тоже.

Он молча проводил гостя до улицы, и тот, видно, удрученный какой-то неудачей (может, отсутствием Барановской), сухо кивнул на прощание и мелкими шажками засеменял по улице. Агеев еще постоял недолго, чувствуя, как где-то внутри у него поднимается злобная волна – от своего бессилия, пассивной покорности, вынужденной подчиненности. И кому? Они уже связали его и с СД, мало им оказалось полиции. И вот вынуждают – упрямо и настойчиво – на явное предательство, теперь уже по отношению к Барановской. Хотя в случае с Барановской он не мог им ни пособить, ни нашкодить, он сам ничего о ней не знал. Но как бы не пронюхали о Марии! Правда, похоже, пока что она их не интересовала, может, не заинтересует и вовсе? Пропала, ну и бог с ней, видно, у них есть дела поважнее. Разве что случайно, выслеживая Барановскую, могут наткнуться на Марию, тогда уж, пожалуй, им несдобровать обоим.

Агеев прошел по тропинке в огород, осмотрел сад, словно там мог прятаться новый Ковешко, и не спеша вернулся на кухню. Марии, конечно, простыл тут и след, наверное, забила на чердак, и он, накинув в пробой крючок, взобрался туда же. Мария сидела на корточках в темном углу за сундуком.

– Ушел, не бойся...

Она с облегчением выбралась на место посвободнее, отряхнула от пыли подол сарафанчика. Следы страха и тревоги еще тлели в ее настороженном взгляде, внимание уходило в слух. Но, кажется, вокруг было тихо.

– Что он? Про меня спрашивал?

– Про Барановскую, – тихо сказал Агеев. – Зачем-то им Барановская понадобилась.

– Вербуют, наверно, – просто сказала Мария, и он насторожился.

– Вербуют? А зачем им ее вербовать?

– А они теперь всех вербуют. Почти поголовно. Чтоб потом выбирать. Кто нужнее.

Они оба стояли возле слухового окна, вглядываясь в его мутные, затянутые паутиной стекла и вслушиваясь в неутраченный шум ветра в ветвях. Мария с брезгливой гримасой на

серьезном личике вертела пуговицу своего вязаного жакета.

– Этот... Дрозденко и меня хотел. Подписочку требовал...

– Вот как! – вырвалось у Агеева.

– А вы думали! – Мария виновато улыбнулась.

– Ну и что же ты?

– А я вот ему! – она показала Агееву маленький, туго стиснутый кулачок. – Чтоб на своих доносить!.. Шавкой немецкой сделаться! Нет, этого они от меня не дождутся...

Агеев отошел от окошка и опустился на сундук – долго стоять не позволяла нога, которая сегодня с утра ныла неутихающей застарелой болью. С тихой завистью подумал он о Марии, что вот она увернулась, избежала ярма, а он не сумел, не нашелся или побоялся, может. Правда, положение у них было разное, она смогла скрыться, а куда бы мог скрыться он? Наверное, в два счета оказался бы в шталаге для пленных, что для него было равнозначно гибели.

– Что же мы будем делать, Мария? – спросил он почти сокрушенно. Положение их все усложнялось, а выхода по-прежнему не было видно. Оставалось ждать, но ведь дожидаться можно было самого худшего. Протянуть время, промедлить, утратить шанс, когда уже трудно будет что-либо исправить.

– Не знаю, – тихо произнесла Мария.

Передернув худым плечиком, она прислонилась к деревянному брусу возле слухового окна и печально посмотрела наружу. Она не знала, конечно. Впрочем, он и не ждал от нее другого ответа, отлично понимая, что в таком деле должен искать выход сам – как старший, военный, обладающий большим опытом и наверняка большими, чем она, возможностями. Но беда в том, что он не знал тоже.

– Ладно, посмотрим. Только сиди тут, никуда не высывайся. Если что, я буду у себя.

– Там, в сарайчике?

Она порывисто подалась к нему, лицо ее вспыхнуло и опечалилось, боль и страдание отразились в ее светлых глазах.

– Да, в сараюшке. Надо работать. Зарабатывать... Вот накинь, чтоб не мерзнуть.

Агеев отдал ей телогрейку, тихо спустился на кухню, прислушался. Барановской все не было, и никаких вестей от нее тоже. Наверное, с хозяйкой ему было бы проще, особенно теперь, когда появилась Мария. Но вот хозяйка понадобилась и этим, что уже вызывало тревогу – зачем?

К вечеру и без того сильный ветер усилился, ветви клена над крышей хаты металась из стороны в сторону, могучее дерево гудело и стонало... Агеев прошел в свой сарайчик, который, на счастье, стоял с подветренной стороны, и там было относительное затишье. Надо браться за сапоги из мешка, может, не сегодня, так завтра за ними придут – Кисляков или еще кто-нибудь, надо все починить. Может, за это время что-либо изменится к лучшему или хотя бы прояснится, думал он. Потому что уже все так затягивалось мертвым узлом, что как бы не пришлось рвать по живому, с мясом и кровью, а то и поплатиться жизнью...

До самого вечера, пока было светло, он стучал молотком по резиновым и кожаным подошвам кирзачей, ботинок, немецких, нашпигованных железными шипами сапог. Все не успел. Осталось еще две пары, когда опустились сумерки и за дырявой стеной полил дождь. Агеев думал сходить в хату, чтобы проведать Марию, но в такой ливень ему просто не в чем было высунуться из хлева, чтобы не промокнуть насквозь. И он, посидев на табуретке, расслабленно выпрямив больную ногу, перебрался на топчан под козушок.

Над усадьбой тем временем неистовствовал ветер, с неба низвергались потоки дождя, грозившего снести ветхую соломенную крышу его убежища. Но дождь лил уже больше часа, а в сарайчике было сухо, даже вроде нигде не капало. И он так уютно пригрелся под домашним теплом козушка, что подумал: в хату сегодня не пойдет, пусть уж Мария как-нибудь устроится там сама. Слава богу, не белоручка, умеет приспособиться к обстановке, может. Даже не хуже, чем это бы сделал он. Из полведра картошки наготовила таких dranиков, что он почти до вечера был сыт и только теперь, вспоминая про обед, сглатывал

слюну. Девчонка разбитная, хороша собой и, кажется, очень прямая, откровенная, что в такое время как бы и не погубило ее. Не испугалась вот живоглота Дрозденко, отшила полицию и прибежала к нему. Но почему к нему? Или он приглянулся ей накануне, или она увидела в нем кого-то, кто внушал доверие, может, опору? Но что она знала о нем? И что скажет Кисляков или, еще лучше, Волков, когда дознаются, что с ним проживает какая-то девчонка из Менска? Одно дело, что здесь жила хозяйка, пусть попадья, но человек, которого они знали многие годы, и совсем другое, когда появилась эта никому не известная студентка. А может, она подслана? Завербована и внедрена? Нет, этого не может быть. В таком случае все, наверное, делалось бы хитрее, логичнее. А то очень уж получилось наивно, дерзко и неразумно.

Агеев долго не мог заснуть, обеспокоенный все запутывающейся своей судьбой, непрерывными порывами ветра за стенами. Кажется, ветер временами менял направление и уже начал хлестать дождем по торцовой стене его сарайчика, у которой лежало сено. Он подумал, что, может, надо бы встать, откинуть сено от стены. Но вставать не хотелось, так хорошо было под козушкой, и он успокоение думал: а может, и не зальет? Он уже собирался заснуть, невеселые его мысли начали путаться в голове, и вдруг вскочил почти в испуге – в дверь постучали. Он сбросил с себя козушку, стук повторился – робкий, тихонький стук словно бы ребячьей руки, – и он, шагнув к двери, негромко спросил:

– Кто там?

– Это я, откройте...

Он понял сразу, что это Мария, скинул с пробоя жиденький проволочный крючок.

– Ну что?.. Осторожно, тут порог высокий... Что-нибудь случилось?

Она перебралась через порог и замерла в темноте, вся мелко дрожа от холода или испуга.

– Я боюсь...

Голос ее тоже дрожал, вся сжавшись, она стояла у порога, не зная, куда ступить. Агеев закрыл за ней дверь.

– Чего... боишься?

– Ветер!.. Так воеет. В трубе и... Ходит кто-то... по крыше.

– Ходит? По крыше?

– Ну, кажется, ходит, – говорила она, едва не всхлипывая, и он про себя выругался: «Ну и ну! Кажется!..»

– Если кажется, надо креститься, – сказал он с раздражением, и она умолкла.

– Я тут посижу... до утра. Можно? – спросила она после паузы.

– Что ж, сиди...

«Странно!» – подумал Агеев, не узнавая девушку. Словно это была вовсе не та Мария, которую он видел днем, когда они обедали на кухне и она храбро отмахивалась от опасностей, о которых предупреждал Агеев. Там она выглядела такой боевой девчонкой, что эта ее боевитость внушала ему опасение за ее судьбу. Здесь же была совсем другая – продрогшая, подавленная страхом перед тем, что... кажется, будто кто-то ходит по крыше! Типичные детские страхи... А он-то думал, что она вполне взрослая и даже в чем-то сильнее его: Видно, увы!

– Садись вот на порог. Или вон на сено. Сено там. Сухое...

– Спасибо.

Он замолчал, вслушиваясь, как она в темноте недолго устраивалась на шуршащем сене и вскоре притихла, будто ее и не было здесь вовсе. Снаружи о доски стены все плескал дождь, шумел за углами ветер. Агеев начал согреваться под козушкой, как вдруг услышал ее прерывистое дыхание, похоже, она содрогалась от стужи.

– Что, холодно? – спросил он.

– Холодно, – тихонько ответила она.

– А телогрейка?

– Мокрая...

Агеев полежал немного, в мыслях злым словом поминая эту девчонку, и наконец поднялся на топчане.

– А ну иди сюда!

– Нет, нет, – испуганно отозвалась она из темноты.

– Иди вот на топчан, под колушком согреешься... Ну! Скоренько...

– Нет, нет...

– Просить тебя, что ли, в конце-то концов? – рассердился Агеев.

Решительно шагнув с топчана, он нащупал в темноте ее плечо и, схватив за руку, поднял с сена...

– Вот ложись! Я на сене.

Она покорно легла на топчан, и он небрежно накинул на нее колушок. Сам, поразмыслив, поднял пласт слежалого сена, подлез под него, потом навалил сена на ноги. Здесь он быстро согрелся и, когда вокруг утихло шуршание оседавшего сена, спросил Марию:

– Ну как, согрелась?

– Согреваюсь. Спасибо тебе. Большое спасибо...

– Ладно. Спи. На рассвете подниму. Днем здесь оставаться нельзя.

– Хорошо. Я встану. Ты извини меня, Олег.

– Ладно уж... Извиняю.

5

Через два-три дня после ливня земля в карьере подсохла. Лужи еще остались на прежних местах, но вода в них заметно убывала, оставляя на глинистых берегах извилистые параллельные линии – суточные отметины уровня. Дождей больше не было, стояла сухая и ветреная погода, однако на полное высыхание луж можно было рассчитывать лишь в конце месяца, что было, конечно, слишком. Агеев не мог задерживаться тут до конца лета, хотя самочувствие его после приезда сына заметно улучшилось – все-таки импортные таблетки делали свое дело. На следующий день, проведив Аркадия, он недолго посидел на обрыве и спустился в карьер – надо было как-то убрать этот чертов обвал.

Конечно, в душе он рассчитывал на помощь сына, наверно, для того и вызывал его телеграммой, но в тот вечер так ничего ему и не сказал: надеялся, что догадается сам, предложит помощь. Однако не догадался, утром сразу же стал собираться в дорогу. Разговор у них как-то не клеился, и, хотя Агеев в течение лета много думал о сыне и собирался кое о чем с ним побеседовать, теперь тоже не находил ни слов, ни нужного настроения. И, когда он все-таки сказал ему, что одному трудновато в карьере, сын, круто обернувшись от поднятого капота, бросил:

– Вот что, хватит! Собирайся, поедем!

У Аркадия что-то не ладилось с двигателем, барахлил карбюратор, с утра сын злился, и все же Агеев сказал, что не может все бросить после того, как перерыл тут гору земли и остался сущий пустяк. Вдвоем бы они за два-три дня все завершили. Сын с досадой ответил, продолжая ковыряться в двигателе:

– Знаешь, я не землекоп, я электронщик. Хочешь, договорюсь в райкоме, пригонят бульдозер. За полчаса все разроет.

– Мне не надо бульдозер.

Больше о карьере они не упоминали. Дымя выхлопной трубой, машина полчаса сотрясалась от высоких оборотов двигателя – сын регулировал карбюратор. Потом было неловкое, скомканное прощание, хлопнула дверца, и красный «Жигуль», описав по росистой траве двойную дугу, покотился по дороге. Агеев пошел к карьере.

Он работал размеренно, не торопясь, стараясь брать неглубоко – на полштыка, не больше, и отбрасывал недалеко, прослеживая взглядом каждый комок влажного, еще сырого суглинка. Ничего, однако, ему не попадалось, видать по всему, этот угол карьера был

меньше других освоен людьми – на поверхности и в глубине всюду лежал нетронутый, дикий суглинок. Агеев думал о сыне, который теперь катил где-то по новой, недавно проложенной бетонке в Минск. Конечно, у сына хватало своих забот и своих непростых проблем, стоит ли обижаться за невнимание или недостаток приветливости – у каждого свой нрав и своя судьба. Конечно, родителям нередко кажется, что дети недодают им, что им как старшим в роду принадлежат какие-то права по отношению к младшим, которых они породили, воспитали, выпустили в большой, сложный мир и потому вправе рассчитывать на благодарность, которую редко получают на деле. Но по извечному закону жизни весь динамизм детей устремлен в будущее, туда, где пролегает их неизведанный путь, и родителям на этом пути места уже нет, он целиком занят внуками. Что ж, все правильно, все в полном соответствии с законами жизни и живой природы, но почему тогда человеческая натура не хочет мириться со столь очевидной данностью? Вся ее душевная сущность бунтует против этого закона природы, почему здесь такая дисгармония – тоже от природы?

Разве потому, что мы люди. У животных все проще и гармоничнее.

Сложное, противоречивое, непостижимое существо – человек!

Сын женился на любимой девушке из соседнего дома, когда та еще была студенткой, живой, миловидной, воспитанной девочкой, нравившейся всем без исключения – и родственникам, и соседям. Родители жениха приглядывались к ней еще с тех давних пор, когда она среди прочей дворовой ребятни играла под грибком в песочнице, и еще больше, когда выросла в бойкую остроглазенькую худышку, которая всегда первой здоровалась со взрослыми и со стыдливой девичьей грацией легко проскальзывала мимо в тесном подъезде. Сын тоже любил ее, готов был на все ради нее, потом у них появился прелестный малыш, прочно объединивший в один родственный клан две соседские семьи. Агеев неожиданно легко сдружился с ее отцом, отставным полковником, бывшим военным летчиком, с которым по вечерам любил играть в шахматы. Сваты также открыли друг в друге нежнейших и преданнейших подруг с массой общего в характерах и интересах; соседи, не переставая любоваться их обретенным на закате лет семейным союзом, даже вроде бы ревностно отделились от них. Но вот прошел год с небольшим, и все разлетелось вдребезги превратясь в полнейшую свою противоположность, и тогда они с недоумением увидели, сколь многое в этих их отношениях держалось на взаимном чувстве двух юных сердец, с исчезновением которого разрушилось и все остальное. Очевидно, чересчур много нагрузили они на эфемерные крылья этой любви двух, может, и неплохих по отдельности, но так и не ставших семьей людей. И кто тут виной? Пострадавших много, виновных ни одного.

Покойная мать склонна была обвинять невестку, другая сторона дружно хаяла сына, Агеев же не обвинял никого. Он уже знал, что способность к самоотверженной любви или дружбе не столь частый дар, что он редко проявляется в случайных сочетаниях людей, что тут необходимы особые данные, которыми, по всей видимости, не обладали ни родители, ни их дети. С самого начала их супружеской жизни Агеев почувствовал, что слишком они разные в своей духовной основе, из чего, впрочем, ровным счетом ничего не следовало. Эта их разность могла стать залогом гармонии, но могла – и залогом раздора, чем в конце концов она и стала. Равно как и сходство в иных случаях, которое с неменьшим успехом, но так же неотвратимо приводит к краху. Сын обладал четко выраженным инстинктом цели, пожалуй, чересчур современным инстинктом, который, однако, был несколько чужд «укатанному жизнью», как он говорил о себе, Агееву-старшему, но которого он, в общем, не мог не ценить в людях. Аркадий с детства знал, что ему надо, и всегда упрямо шел к осуществлению своего стремления, что само по себе было и неплохо, если бы не одна небольшая особенность – он полагал, что его продвижению к цели должны способствовать все остальные, тем более родственники, жена, родители. Остроглазенькая худышка Светочка, также единственный ребенок у обожавших ее родителей, была наделена от природы слишком развитым чувством достоинства и никому не прощала обид – невольных или тем более преднамеренных. Всякая цель для нее была второстепенным делом в сравнении со средствами, которые значили для этой девчушки все.

Первая их размолвка, незаметная поначалу трещинка, впоследствии с громом расколовшая весь небосклон их любви, случилась на глазах Агеева и уже тогда неприятно задела его самолюбие.

После свадьбы молодожены некоторое время жили в семье полковника, имевшего более-менее сносную квартиру из трех комнат, одну из которых занимала старенькая бабушка, существо столь же бессловесное, как и беспомощное. Однако старушка сразу не приглянулась Аркадию, который вскоре после рождения сына перевез жену на квартиру к отцу. Здесь стало тесновато, к тому же квартира всеми своими окнами выходила на оживленную городскую улицу, форточки всегда держали закрытыми, и очень скоро всем стало ясно, что такая жизнь будет не в радость. Агеев еще работал на полставки, читал в институте лекции, и вот мать с сыном стали заводить разговоры о том, что главе семейства следует позаботиться о расширении жилплощади, переговорить у себя на работе, встретиться кое с кем из городского начальства, с кем поддерживались старые связи. Это было кошмарное для Агеева-старшего время, давило чувство долга перед сыном, но все было выше его возможностей – не хватило ни настойчивости, ни умения, ни просто человеческого везения. Да и было стыдно – столько еще сотрудников в институте нуждались хоть в каком-либо жилье, а он имел уютную, пусть и небольшую квартиру в центре, которая еще лет десять назад считалась почти роскошной. А главное, он так и не мог взять себе в толк, какими обладает преимуществами перед другими, особенно перед бесквартирными, чтобы хлопотать о себе в обход остальных.

Когда стало ясно, что дело с улучшением жилищных условий доцента Агеева затягивалось на неопределенное время, за это взялся Аркадий. И начал он не с ходьбы по приемным начальства, которое принимало раз или два в месяц, вежливо выслушивало просителя, но ничего не делало, а со сбора различных бумаг, документов обследований, характеристик, ходатайств администрации и общественных организаций. К удивлению отца, в конце концов он получил ордер на крохотную, но веселенькую квартирку в новом квартале Зеленого Луга. Когда же отец поинтересовался, на каком основании, оказалось: во-первых, как молодой специалист, а во-вторых, как член семьи заслуженного ветерана и подпольщика, приговоренного к смертной казни фашистами и чудом уцелевшего...

– Ну что скажешь? – торжествующе вопрошал сын, помахивая перед отцом свеженьким ордером.

– Далеко пойдешь! – со злым восхищением сказал отец.

– Великолепно! Если бы не подло, – бросила невестка.

– Ну вы даете! – удивился Аркадий. – Я вас не пойму.

По всей видимости, он и действительно ничего не понял, а Агеев-отец объяснять ничего не стал, тем более что мать тут же аттестовала главу семейства с исчерпывающей категоричностью: «Дурак!» Он лишь вспомнил где-то услышанную шутку на тему о квартирах: «Партизаны пусть подождут, еще партизанские дети не все обеспечены».

Агеев работал в карьере не спеша, постоянно следя за временем и ровно через сорок пять минут позволяя себе отдохнуть. Три четверти часа размеренной, без особенного напряжения работы и пятнадцать минут отдыха, которые он проводил здесь, присев на брошенный кружок фанерки – сиденье от венского стула. По небу проплывали разрозненные кучевые облака, то и дело закрывавшие жаркое солнце, и голый обрыв напротив то терялся в их тени, то ярко сиял своим вымытым глинистым боком. Агеев работал все в том же синем спортивном трико, порядком вылинявшем за лето. Было душно, грудь и спина постоянно потели, начала мучить жажда, но до перерыва он старался воздерживаться от питья, чтобы не перегружать сердце. После полудня жажда усилилась, и он намерился дать себе отдых на обед, а главное, принести свежей воды. Та, что оставалась в бидончике у палатки, наверное, уже нагрелась и годилась разве что на умывание.

Вогнав в землю лопату, он вышел из карьера, и его внимание чем-то привлекло кладбище. Между черных корявых стволов старых деревьев, деревянных и металлических надгробных крестов, до половины скрытых от взора кладбищенской оградой, в зелени

разросшейся за лето сирени и кустарников мелькнули обнаженные головы мужчин, черные косынки нескольких женщин, кто-то прошел с букетом цветов, слышались негромкие голоса – там хоронили. Кладбище было старое и казалось Агееву давно заброшенным, за лето он ни разу не зашел за его ограду и склонен был думать, что там уже не хоронят. Оказывается, он ошибался. Подойдя к ограде, он из любопытства заглянул за нее. Небольшая кучка пожилых людей сгрудилась у свежeweыкопанной могилы, гроба, однако, там" не было видно, вообще немного было видно отсюда, кладбище сплошь утопало в зарослях дикого кустарника. Возле людей мелькнула знакомая фигура отставного подполковника, который недавно составлял на него акт, и Агеев как-то сразу и почти беспричинно понял: хоронят ветерана.

Палатка его хотя и стояла на отшибе, но была слишком у всех на виду, он наскоро сполоснул рот теплой водой из бидончика, полил на руки и подумал, что в такую минуту оставаться тут будет неудобно, пожалуй, следует сходить на похороны. Не спеша, преодолевая усталость, сменил пропотевшую спортивную рубашку на мятую, но более чистую сорочку в мелкую клеточку и пошел вниз на дорогу. Через пролом в каменной кладке ограды, почти скрытой крапивой и лопухами, на кладбище проскользнули вездесущие Шурка с Артуром, он хотел их окликнуть, чтобы спросить, кого там хоронят, но не успел. Через высокий арочный проем вошел под густую прохладную тень старых вязов, совершенно сомкнувшихся в вышине над его головой, по дорожке прошел до близкого поворота между могил. Печальная кучка пожилых людей тесно сгрудилась возле могилы, наверное, уже в последние минуты прощания, донеслись отдельные голоса, неловко произносившие похвалы покойнику:

– А яки ж чутки чалавек быу...

– Заслуженный был, всю войну прошел. Да...

– Подать совет мог, кто бы ни обратился. Отзывчивый...

– Царство ему небесное, – выдохнул и прервался женский голос, и Агеев поискал глазами, стараясь найти кого-либо из знакомых, но лучше бы, конечно, Семена, уж он-то должен тут быть. По всей видимости, хоронили человека немолодого, может, какого отставника или учителя-пенсионера. На похороны руководителя районного звена все это походило мало – не тот масштаб, не тот характер речей.

Немного не дойдя до могилы, Агеев остановился – двое мужчин уже опускали на веревках гроб в узкую щель, сдержанно всплакнула женщина в темном платке, остальные стояли молча, с угрюмой сосредоточенностью на немолодых, морщинистых, одинаково печальных лицах. Он не стал подходить ближе, наблюдал со стороны, и к нему не подошел никто. Знакомых тут не было видно – ни Семена, ни даже того подполковника, что повиделся ему из-за ограды. Вдруг все в этой кучке пришли в движение, по одному и по два стали бросать горсти земли в могилу, и Агееву живо вспомнилась такая вот сцена на кладбище в его давнем детстве, когда хоронили тетушку. Тогда это происходило осенью, в пору листопада, все могилы и надгробия городского кладбища были усыпаны красной разлапистой листвой кленов и лип, лицо тетушки в кружевном чепце красиво выделялось восковой худобой в черном гробу, и было похоже, что тетушка уснула и все слышит, что вокруг нее происходит. Покойница всю жизнь прожила в городе, он ее видел всего два раза до этого и теперь вот видел в гробу. Тогда ему было всего пять лет, и он впервые присутствовал на такой важной церемонии, как похороны, где все происходило так пугающе интересно и значительно. Только когда тетушку закрыли в гробу черной крышкой и стали заколачивать длинными гвоздями, он вдруг заплакал, испугавшись того, что тетушка не сможет выбраться из заколоченного гроба. Державшая его за руку мама вздрогнула и тоже заплакала, пока остальные, как вот теперь, не начали бросать горсти земли в могилу. Тогда она потащила его за руку – он также должен был бросить свои три горстки, чтобы не болеть и жить долго, как тетушка Ольга. Эти похороны были для него первой и самой запомнившейся картинкой из его раннего детства; потом он и болел, и воевал, сам убивал врагов и его убивали, и вот он стал стариком. Сколько раз приходилось ему хоронить или

участвовать в похоронах, но всегда в последний момент он старался бросить в могилу три горстки земли – так прочно вошел в его сознание этот древний, обладавший непонятной силой обряд.

Могилу закапывали в три или четыре лопаты, сперва там гулко отдавались тяжкие удары земли о крышку гроба, потом эти броски стали глуше и смолкли совсем, когда могила наполнилась землей до краев. В изголовье уже кто-то держал узкую красную пирамидку с черной табличкой на боку, и Агеев вдруг рванулся вперед. Он ничего еще не различил на этой табличке, с дальнего расстояния еще невозможно было разобрать ни одной буквы на ней, но, ощутив внезапный удар под сердце, понял в изумлении – это же он! Боже мой... Как же так?.. Как же?..

От могилы отступили, двое мужчин сгребали лопатами остатки земли с кладбищенским мусором. Толкнув худого мужчину с кирпичной от загара шеей, Агеев протиснулся вперед и близоруко нагнулся к табличке. Впрочем, он уже знал, что там написано, и минуту глядел в недоумении. не в состоянии освоить дикий смысл трех слов, не очень искусно выведенных белым на черном фоне:

Семенов Семен Иванович
1916 – 1980 гг.

Недоуменно застыв возле могилы, он не чувствовал, как из-под его ног выгребали остатки земли, он явно мешал могильщикам. На минуту он лишился сил и, похоже, соображения, так его ошеломила эта нежданная смерть. «Ведь только же позавчера... Только вот сидели... Только позавчера...» – проносилось в смятенном сознании.

Эти или сходные с ними мысли завладели им не впервые, множество раз, когда он слышал о неожиданной кончине близкого человека, вместе с невольным протестом против нее являлось чувство нелепости, недоразумения, в глубине сознания возникала прощальная надежда, что вот-вот что-то изменится, справедливость восторжествует и известие о смерти окажется ложным. Немного спустя и постепенно сознание привыкало и смирялось, но поначалу, как вот теперь, это чувство-протест было столь сильным, что кончина человека казалась нереальной, будто привидевшейся во сне.

Но и на этот раз не привиделось во сне, все мелочи этих похорон были чересчур реальными и вполне последовательными. Могилу закопали, соорудив невысокий земляной холмик, сверху на него положили охапку цветов из поселковых палисадников. У пирамидки алела диванная подушечка с наградами – одна на все, заслуженные покойником; среди дюжины потускневших медалей на заношенных ленточках выделялось два ордена Красной Звезды. Подле в скорбных застывших позах стояли два высоких, молодых еще человека, взглянув на одного из которых, в военной форме, с погонами прапорщика, Агеев понял, что это сын. Наверно, таким был когда-то и Семенов-отец: худощавый, широкой кости, длинноногий и длиннорукий молодой человек с чуть впалой грудью и широким разворотом плечей.

Люди с похорон стали расходиться, по одному и группками покидая могилу, остались лишь несколько человек, может, самых близких покойнику, и среди них тот самый отставной подполковник, которого он увидел издали. Потный, несмотря на кладбищенскую прохладу, в темном пиджаке с многими рядами орденских планок на груди, он и тут начальственно распоряжался, суетясь возле могилы.

– А награды почему оставили? Не полагается! Товарищ Хомич, возьмите! – приказал он низкорослому, уже немолодому человеку в сапогах, и тот взял подушечку, перехватил ее под мышку, медали тихонько звякнули... Все медленно направились к выходу. На кладбище оставались только две женщины, которые прибирали могилу: пожилая, в темном платке и помоложе. Все мучимый ошеломившей его смертью, Агеев спросил:

– Как же это случилось?

Молодая взглянула на него и не ответила, расставляя букеты в стеклянные банки, а старая не сразу, погода сказала со значением:

– Случилось! Давно должно было случиться...

Агеев не почувствовал в ее словах ни скорби о покойнике, ни должного дружелюбия к себе и подумал: жена.

Женщины еще оставались, а он пошел по дорожке с кладбища, поднялся по косогору к своей палатке. Делать тут было нечего, близость кладбища со свежезакопанной могилой, а главное, эта неожиданная смерть угнетали его, и он бесцельно побрел дальше по кромке обрыва. За недели его работы в этом карьере он привязался к Семену, его бесхитростной, прямодушной натуре, которой, возможно, не хватало ему для дружбы или общения в его городской жизни. Среди сослуживцев по институту таких, определенно, не было, по всей видимости, такие по одному выводились, уступая место иным характерам, с четко выраженным стремлением к лидерству, разного рода превосходству, распираемым заботами о благополучии и мелочной престижности. Семен же не претендовал ни на что, кроме разве стакана вина да коротенького внимания к его рассказам о пережитом военном прошлом. И надо же, такая внезапная смерть. А ему даже не приснилось ночью ничего такого, что указало бы на эту кончину, просто ночь выдалась на редкость глухой, без снов. Или он позабыл до пробуждения?

На дальней стороне карьера росло несколько хилых, обглоданных козами деревьев, бросавших неширокую тень к обрыву. Он подошел к ним, устало опустил на траву и стал рассеянно глядеть сверху на свой злополучный карьер, кладбище за ним с мощным заслоном старых деревьев, на утонувшие в зелени крыши окраинных домиков поселковой улицы. Напротив, за обросшей лопухами и крапивой ветхой оградой ярко сияло навстречу низким лучам вечернего солнца несколько желтых головок подсолнухов, и Агеев вспомнил, как Семен прошлый раз обещал рассказать о том, что когда-то едва не получил Героя. Аркадий, наверно, усомнился, посчитав эти слова бахвальством, но Агеев готов был поверить. Жаль, теперь уж никогда не расскажет он о своих подвигах или своих военных страданиях, что, впрочем, одно и то же.

Агеев сидел и думал, что покойник и в самом деле мог заслужить Героя, такие, как он, способны на самые высокие, зачастую даже не вполне осознанные ими подвиги, потому что им чужды расчетливость, хитрость. Как дети, они действуют по первому зову природы. Натура же их недалеко ушла от природы, где все решают инстинкт и эмоции и особь целиком принадлежит виду, подчиняясь суровой логике его саморазвития...

Героя он вполне мог заслужить в бою или разведке, при форсировании реки, в обороне или окружении. Но это вовсе не значило, что заслуженное автоматически превращается в заработанное и как заработанное оплачивается. Агееву был памятен случай в их стрелковом полку, когда награждали высокими орденами группу автоматчиков за форсирование Немана летом сорок четвертого года. Группа была небольшой, человек двенадцать, она первой перебралась на противоположный берег и в течение суток удерживала плацдарм. В живых остались лишь пятеро, и среди них сержант Белобровцев, который из ручного пулемета отбил восемь атак немцев, отчаянно пытавшихся сбросить смельчаков в реку. Все они были награждены орденами, кроме Белобровцева, который, как выяснилось, год назад был в плену, и этого было достаточно, чтобы награду ему снизили до медали «За отвагу». Семенов был в плену тоже и даже служил в полиции...

Мог он и лишиться Золотой Звезды, как знакомый Агеева младший лейтенант Мильков, удалой разведчик, человек невообразимой отваги и везения. Из каких только переделок не выходил он на фронте, отделяясь легкими ранениями, одно из которых, по существу, и сгубило его удалую жизнь. Попав с простреленной рукой в армейский ГЛР [*госпиталь легко раненных*], расположенный в недалеком тылу, Мильков, наверное, решил, что уж тут можно не держать себя в строгих рамках уставов – немцы и начальство далеко. Набравшись польского бимбера, он учинил пьяный дебош с применением оружия, не подчинился старшим офицерам, был арестован комендантом гарнизона, судим военным трибуналом, лишен звания Героя и отправлен рядовым в штрафную роту без единой из заслуженных им девяти наград.

Немногим печальней судьба правдолюбца старшины Ступакова, артиллериста-

противотанкиста. Оставшись один у орудия, он подбил из него восемь танков. Правда, сначала артиллеристов было двое, он и его земляк, который погиб в разгар поединка, Ступаков же был ранен, все подбитые танки зачислили на его счет и представили его к званию Героя Советского Союза. Однако будущий Герой, любя правду больше наград, стал всюду писать, что к званию надобно представить и его погибшего друга, потому что тот подбил пять из восьми танков и потому заслуживал этого звания с еще большим правом. Кончилось, однако, тем, что начальство отозвало представление, и Героя не получил ни один из двоих. Правда, месяц спустя Ступакова наградили орденом Отечественной войны второй степени.

И вот теперь еще одна неординарная военная судьба, оставившая без ответов вопросы, не прояснившая загадочных обстоятельств.

А где разгадка его многолетней загадки? Разгадается ли она когда-либо, или и ему суждено, как Семену Семенову, оставить ее живым? Или целиком унести в могилу?

Совсем немного оставалось ему работы – на день, не больше, и он с чистой совестью мог бы считать, что перевернул весь карьер, в котором ничего не обнаружил. Ее здесь нет, значит, она могла выжить. И с ней могла выжить новая, неведомая ему жизнь, которая теперь стала для него важнее всего на свете. Это была тоненькая соломинка, крохотная искорка, но она давала ему надежду. Агеев уже явственно чувствовал, что его существование без нее лишено всякого смысла. С ней же – неведомой и непостижимой – все оборачивалось иначе, жизнь обретала смысл, содержание, а главное, продолжалась. И это утешало при любом исходе. Других утешений для него уже не оставалось на этой земле, и он очень сожалел, что слишком поздно это понял.

То, что должно было произойти между молодыми людьми, произошло на третью ночь их пребывания в сарайчике, они оказались наконец под одним кожушком на топчане. Дождь снаружи уже не лил, но по-прежнему неистовствовал холодный ветер, который, повернув с севера, стал насквозь продувать их убежище. И все-таки здесь было затишнее, чем на огромном, со всех сторон продуваемом чердаке, а главное, безопаснее: здесь находился неприметный потайной ход в огород и рядом под камнем лежал пистолет. В ту ночь они долго не могли, уснуть и тихонько болтали обо всем, что приходило в голову. Мария скоро оправилась от недавних своих страхов на чердаке и едва слышно хихикала под кожушком в ответ на сдержанные остроты Агеева из-под вороха сена. Оба они словно забыли, где находились, забыли, что в мире шла большая война и какая опасность угрожала каждому. Им было хорошо вдвоем, и в чувствах Агеева тлела-росла решимость, которую стало наконец невозможно сдерживать. Скинув с себя ворох сена, под которым лежал, он шагнул к топчану и приподнял полу кожушка. Мария вопреки его ожиданию и своему протестующему, почти испуганному «нет» отодвинулась к стенке.

Та ночь прошла для обоих без сна, в смятении любовных чувств и завладевшей обоими нежности. К утру они оба забылись коротким, внезапно застигнувшим их сном. На рассвете она подхватила первую, соскочила с топчанчика. Следом проснулся он и, словно с похмелья, мало что понимая, впери в нее недоумевающий взгляд.

– Куда ты?

Она заулыбалась вся, а потом, настороженная и привлекательная в своей недетности, робко приблизилась к нему и с недевической, скорее материнской нежностью поцеловала его возле губ. Вспомнив обо всем, что произошло между ними в эту непогожую ночь, он недовольно поморщился, подумав, что, пожалуй, Мария начнет сокрушаться, упрекать его, может, даже заплачет. Он не терпел чьих бы то ни было упреков, особенно женских слез, но она только прерывисто вздохнула и произнесла шепотом, исполненным любви и признательности:

– Олег!.. Олежка!.. Спасибо тебе...

– За что же спасибо, чудачка?

Он обнял ее за узкие плечи, деликатно привлек к себе.

– За все, все спасибо...

Однако уже светало, и они торопились покинуть сарайчик, днем безопаснее было в большом доме с его кухней, кладовкой, чердаком. Обычно, пока Мария готовила что-нибудь поесть, он находился во дворе, стерег ее извне, чтобы при случае, если кто зайдет, задержать его снаружи и дать ей возможность скрыться на чердаке. Драников она уже не пекла, кончился гусиный жир в банке, и Мария варила картошку, которую они ели, обмакивая в крупную соль на тарелке. Кутаясь в телогрейку, Агеев стоял возле клена и поглядывал вверх на крышу дома, ждал, когда из трубы пойдет дым, значит, Мария затопила плиту, оставалось дожидаться, пока сварится картошка. Все случившееся ночью теперь оборачивалось досадой в его беспокойных чувствах, и на трезвую голову он начинал упрекать себя за то, что в отношениях с ней дошел до такого. Конечно, с этой девчонкой трудно было остеречься греха, но все-таки он должен был проявить силу воли и удержаться от последнего шага. Но вот не нашел в себе этой воли, пошел на поводу чувств, да еще в такое, самое неподходящее время. В мире гремела война, лилась человеческая кровь, его собратья погибали на фронте, а он чем занялся? Да и она хороша – увлекла, подпустила! Что теперь будет? Ничего, конечно, хорошего, это он знал наверняка, будет обоим плохо. Но это он знал теперь, рассуждая с холодным умом, а на сердце у него вопреки всему зрела тихая нежность к этой милой девчонке, так безоглядно и доверчиво отдавшейся ему. И он готов был ее опекать и помогать ей в той западне, в какой она оказалась, даже готов был пострадать за нее, чувствуя в себе решимость и тихую безотчетную радость.

Правда, радость его быстро улетучивалась.

В такие вот тихие минуты, когда он оставался наедине с собой, в нем возникало, охватывало его все большее беспокойство оттого, что шло время, а его пребыванию здесь не видно конца. Нога его постепенно приходила в норму, рана затягивалась, и он, слегка прихрамывая, уже без палки мог ходить по двору, выходить на улицу. Ему казалось, что он уже смог бы потихоньку пуститься на восток, в сторону фронта. Но вот беда, фронт никак не мог стабилизироваться, наши с боями отступали, и, судя по всему, бои шли далеко за Смоленском, может, под Москвой даже. Впрочем, толком он ничего не знал, все связи его оборвались, из леса никто не приходил. Уже была починена вся обувь, полный мешок которой он запрятал под сено в сарайчике, чтобы отдать тому, кто за ней явится. Но за обувью никто не являлся, куда-то запропастился Кисляков, и Агеевым все сильнее овладевала тревога. Он уже сожалел, что рассказал Кислякову о своих отношениях с полицией, о чем тот, конечно, передал Волкову, и вот в итоге, вполне возможно, подозрение. Похоже, они перестанут ему доверять. Это было бы ужасно и сокрушило бы его морально, не давая никакой возможности что-либо объяснить, оправдаться. Для завершения этой нелепости не хватало разве, чтобы они свели с ним счеты и покарали его. Какое в таких условиях могло быть наказание, он уже догадывался.

Закрыв дверь на крючок, они поели на кухне картошки, которая, однако, лишь на недолгое время утоляла голод, и Мария что-то заметила в его взгляде или, может, почувствовала сердцем. Она съела всего три картофелины, остальное в тарелке пододвинула ему, и он доел все.

– Не наелся? Нет? – спросила Мария с тайной мукой во взгляде. Он отвел свой взгляд – притворяться далее, что сыт, вылезая из-за стола, у него уже не хватало силы.

– Картошкой разве наешься?

Мария на минуту задумалась.

– Олечка, может, я выбегу? Ну, на пятнадцать минут... Тут вот к Козловичевым...

Агеев сразу понял, о чем она, и сказал строго:

– И не думай! Сиди, никуда не высывайся!

Он был голоден, но думал теперь не о хлебе – он думал, как ему связаться с Молоковичем. С Молоковичем он мог бы поговорить начистоту, уж кто-кто, а Молокович должен его понять и, может, помочь чем-то. Но лейтенант был далеко, кажется, за два километра, на станции, к тому же встречаться с ним Агееву запретили в самом начале.

Агеев подождал, пока Мария убрала со стола, сполоснула в чугунке ложки. Он привлек

ее к себе, с тихой нежностью поцеловал в лоб и вышел во двор.

В тот день с утра погода вроде стала налаживаться. Везде еще было мокро, возле угла дома стояла большая лужа воды, на улице холодно блестела мокрая грязь, с ветвей клена падали наземь крупные капли, но небо прояснилось, и в разрывах облаков ненадолго выглядывало солнце. Агеев запахнул телогрейку, прошел в свою мастерскую-беседку. Делать тут было нечего, он сел на табуретку за набухшие от сырости доски стола, стал ждать. Он думал, кто-нибудь появится на улице, может, кто из тех, кто нужен ему или, может, кому-нибудь понадобится он. Он сидел долго, но на улице никто не появлялся. Однажды только закутанная в платок женщина провела рябую корову, наверно, пастись, откуда-то из огородов выскочила бродячая собака, остановилась, с любопытством посмотрела на него и побежала своей дорогой.

Может, через час на той стороне улицы появился лет десяти мальчишка в большой, надвинутой на глаза кепке, с прутиком в руках. От нечего делать он стегал прутиком по головкам молочая, буйно разросшегося после дождя, поглядывал по сторонам. Когда он задержал свой взгляд на Агееве, тот, вдруг обрадовавшись, махнул мальчишке.

– Поди-ка сюда!

Мальчишка не спеша подошел, вздернув со лба на затылок кепку, выжидательно уставясь в него голубыми глазами.

– Тебя как зовут?

– Витя.

– Яблочко хочешь?

Витя с готовностью кивнул головой и снова сдвинул свою наполовину на глаза кепку.

– А ну иди сюда.

Агеев провел его в огород к вкусной малиновке, на которой еще можно было достать снизу несколько переспелых яблок. Ухватился за ветку, подтянул сук, обдавший его холодными каплями.

– Ты где живешь? На этой улице?

– Не, я на Белинского. Вот тут, рядом.

– В школу ходил?

– Ходил. В третий класс. Теперь не хожу.

– Будешь ходить. Как немцев прогонят. Пойдешь в четвертый.

– Скорее бы, – сказал Витя и совсем не по-детски вздохнул – трудно и протяжно.

– У тебя папка есть?

– Есть. На войне только. А может, уже и нет.

– С мамой живешь?

– С мамой.

Агеев сорвал несколько яблок, Витя рассовал их по тугим карманам, за пазуху и сказал, когда Агеев потянулся за новой веткой:

– Мне уже хватит.

– Ну хватит, так хватит, – сказал Агеев и вылез из-под низких ветвей. – Слушай, Витя, а ты на станции был?

– Был. Но давно уже. Там у меня тетя живет.

– А где кочегарка, знаешь?

– Это что за семафором?

– Ну, – подтвердил Агеев, хотя сам понятия не имел, где та кочегарка. – Ты не мог бы сбегать туда?

В сумрачных глазах у Вити появился какой-то сдержанный интерес, и он охотно кивнул головой.

– Сбегаю. А что сделать?

Они вышли из огорода. Агеев отряс на тропинке мокрые от росы сапоги, Витя босыми ступнями стоял на мокрой траве.

– Понимаешь, там работает твой тезка, дядя Витя. Спросишь его и скажешь, что его

ждет хромой дядя. Понял?

Витя молча кивнул и поправил кепку, готовый бежать выполнять поручение.

– Но никому больше ни слова! Передашь дяде Вите и сразу домой. А завтра придешь, я тебе еще яблок дам.

Придерживая набитые карманы, Витя побежал на улицу, Агеев снова занял свой пост в мастерской-беседке. Может, он сделал и плохо, может, не надо было доверяться мальчишке, тем более вызывать сюда Молоковича. Но у него уже не хватало выдержки, эта томящая неопределенность угнетала пуще всякой опасности.

Он просидел в беседке еще около часа и никого не дождался. Местечковцы, похоже было, в нем не нуждались и вели себя так, словно вся обувь у них была справной. А может, они ремонтировали ее в другом месте, где-нибудь ближе к центру? Или неказистый вид его мастерской не внушал им доверия? Агеев в конце концов разозлился, ушел в дом и, закрыв на крючок кухонную дверь, полез на чердак к Марии. Та его ждала у лаза и, только он показался, обхватила его сзади руками, тихонько засмеявшись над ухом.

– Мария...

– А я тебя видела, вот! Как ты в беседке сидел, недовольный такой, сердитый. Вот посмотри.

Она подвела его к косому скату за сундуком, где возле стропила светила небольшая, со спичечный коробок, дырка, из которой видна была беседка и часть двора с улицы.

– А что это такое? – спросил он, увидев раскрытый сундук с ворохом книг в темных переплетах, подшивки старых, пожелтевших журналов, какие-то бумаги, стопки изданий в мягких обложках с неразрезанными страницами.

– Книги, понимаешь!

Мария опустила на колени, вытащила толстый фолиант в красивой, с царским гербом обложке.

– Вот: «Россия, полное географическое описание нашего отечества под редакцией Семенова». Точно такая книга у нас была, отец ее в экспедиции брал. А вот три тома Шеллер-Михайлова из дворянской жизни, когда-то я им зачитывалась. Вот «Бесы» Достоевского. А журналов сколько!

Вслед за Марией он тоже стал перебирать в сундуке беспорядочно сваленные туда тома старых изданий, среди них потрепанные подшивки разных журналов, увесистый комплект «Нивы» за 1916 год. На первой странице комплекта был помещен рисунок молодой красотки в нарядной вышитой кофте с бусами на груди в окружении крылатых херувимов, порхающих с журналом в руках. Внизу значилось имя издателя А.Ф.Маркса и год издания сорок седьмой. Агеев полистал щедро иллюстрированную подшивку, снова на него пахнуло войной: карта военных действий с линией фронта от Риги до Кишинева, в Закавказье, возле Тегерана, потом шли снимки какой-то «Северопомощи» с толпами мужиков и солдаток, артбатарея на позициях. Под красиво оформленным заголовком «Вечная память» расположились ряды офицерских снимков, и он задержал на них взгляд: полковник Краббе с лихо закрученными усами, полковник Барковский, подполковник Ленц в модном пенсне, капитан Гусаков с суровым взглядом из-под нависших бровей, печально-отрешенный штабс-капитан Кибаленко и еще несколько рядов небольших, с почтовую марку, снимков.

– Это что, погибшие? – склонилась к нему Мария.

– Погибшие...

Минуту он всматривался в их лица и думал: вот прошло столько лет и опять то же самое. Снова гибнут русские командиры, полковники и капитаны, все от рук тех же немцев и почти в тех же местах, что и четверть века назад. Только в отличие от этих усатых чинов в погонах и эполетах их фотографии не печатаются в газетах, многие из них погибли безымянно и похоронены неизвестно где. Что и говорить, жизнь человеческая убыла в цене и, наверное, убудет еще больше. Война стала более жестокой, жертв потребуется во много раз больше. Разве можно ее сравнить с той неспешной, сонной войной, которая велась несколько лет почти в одних и тех же местах...

– Вот этот красивый мальчик! – с сожалением сказала Мария, указывая на фотографию. – Похож на тебя.

«Поручик Ольгин», – прочитал Агеев, всматриваясь в молодое безусое лицо добродушного парня в погонах и с крестом на груди, с едва припрятанной усмешкой на пухлых губах. О чем он думал, что переживал этот поручик перед своей гибелью двадцать пять лет назад? Но об этом уже не скажет никто, как никто, наверное, не вспомнит молодого поручика.

А вспомнит ли кто о них через двадцать пять лет?

Случайный этот журнал вызвал у Агеева невеселые мысли, и, может, впервые за время пребывания в местечке он подумал о неизбежности своей гибели на этой войне. Может, и переживет ее кто-нибудь и дождет победы, но вряд ли это суждено ему. Слишком она близка от него, эта его гибель, слишком часто приходится заглядывать в ее черную пасть, чтобы питать надежду остаться живым.

– А вот, посмотри, смешной журнал «Осколки», – совсем в другом настроении, живом и беззаботном, сказала Мария. – Узнаешь?

– Чехов?

– Чехов, Антон Павлович, мой самый любимый писатель. На телеге, забавно как! Дружеский шарж!

При тусклом свете из слухового окна они долго копались в сундуке, перебирая книги, перелистывая старые журналы, содержание которых во многих отношениях было для него в диковинку. С разных страниц на них смотрели увешанные наградами генералы, гофмейстеры двора и сенаторы в золотом шитых мундирах, нарядные светские дамы, губернаторы, усатые офицеры и нижние чины давней, полузабытой войны. От старых бумаг исходил едва уловимый запах тлена, бумажная пыль то и дело заставляла их чихать. С неба все чаще и продолжительнее стало проглядывать солнце, сквозь слуховое окно в чердачный сумрак хлынул поток лучей, ярко высветивший косой квадрат на полу. Стало теплее. Вокруг дремала тишина, и снова, отрешаясь от беспокойной действительности, они прилегли на одеяле. Мария шептала что-то горячо и преданно, но Агеев уже не вникал в путаный смысл ее слов, он снова забылся в нахлынувших чувствах, пока его не сморил внезапно завладевший им сон. Когда он проснулся, Мария, свернувшись калачиком, лежала рядом, солнце из окошка уже исчезло, и окно едва светилось отражением уходящего дня. Агеев подумал, что так можно прозевать приход Молоковича, и тихонько, чтобы не разбудить Марию, поднялся. Однако Мария подхватила тоже.

– Куда ты?

– Тихо, тихо. Спи. Я это... тут должен один человек прийти.

– Какой человек?

– Ну, понимаешь, знакомый.

Быстрыми движениями маленьких рук она поправила измятый подол сарафанчика, тронула на затылке короткие волосы вынутым из них гребешком. Похоже, она ничего не подозревала и еще ни о чем не догадывалась.

– Из местечка знакомый?

– Из местечка.

– А мне... Тут быть?

– Да, ты сиди тут. Как только я его отправлю, так сразу приду.

Он поцеловал ее в смиренно подставленные губы и спустился по лестнице в кухню. Дремавший у порога Гультай нехотя поднялся, потянулся и промяукал громко и требовательно. Агеев подхватил его поперек тела и подсадил в кладовку на лестницу.

– Вот дружок тебе. Чтоб не скучала. Ну, пока!

Он вышел во двор, посмотрел в небо, по которому уже плыли громоздкие кучевые облака – предвестники лучшей погоды, и подумал: как ему скрыть свои дела от Марии? Скрыть, конечно, было необходимо, он не имел права самовольно доверять ей то, что было не только его тайной, но и утаить что-либо при таких с ней отношениях было непросто. Хотя

бы того же Молоковича. Она могла его увидеть, подслушать их разговор. Что она могла подумать о них? Конечно, лучше всего, если бы она была в курсе их дел, но подсознательно он очень опасался вовлекать ее в эти их непростые дела, которые в любой момент могли кончиться для них катастрофой. Зачем без нужды рисковать еще и ею?

Прохаживаясь по двору, Агеев поджидал Молоковича, потом вышел на мокрую тропинку к оврагу. Но никого не было. Уже стало темнеть, из садков и огородов потянуло промозглой сыростью, стало прохладно, и он подумал, что, видно, надобно идти в сарайчик. Молокович знает его пристанище, он должен найти. Только Агеев подумал так, стоя возле распахнутых дверей хлева, как за домом, где-то в стороне местечкового центра раздались выстрелы – два винтовочных и несколько разрозненных автоматных очередей. Агеев замер, прислушался, но выстрелы скоро прекратились, криков вроде не было слышно, и он с беспокойством подумал: не Молокович ли там попался? Все-таки начинался комендантский час, немцы и полиция лютовали на улицах и дорогах, останавливая каждого, кто там появлялся. Весь местечковый люд старался к этому времени быть дома и не высовывать носа из своих дворов. Но Молокович мог прийти к нему только с наступлением темноты, когда его никто бы не увидел в местечке.

Агеев поглядывал в оба конца двора, но чаще на межевую тропинку вдоль огорода, думал, что Молокович появится из оврага. А тот вдруг вынырнул из-за угла сарая и очутился перед Агеевым.

– Здравствуйте!

– Ну, напугал!.. Там выстрелы, слышал? Это не по тебе?

– Я хожу там, где выстрелов не бывает, – прихвастнул Молокович, тяжело дыша от быстрой ходьбы. Они прошли через хлев в сарайчик, где уже было темно, в этой темноте едва различались их тусклые силуэты. Агеев, опустившись на топчан, Молокович, как и в прошлый раз, присел на пороге. – Что-нибудь случилось? – спросил он тихо.

– Ничего особенного, – успокоил его Агеев. – Просто некоторые вопросы.

– Мне ведь запрещено встречаться с вами. Но тут мальчишка сказал...

– Я знаю. Но у меня не было выхода. Я потерял связь с Кисляковым.

– Это хуже, – помолчав, сказал Молокович. – Я тоже с ним не имею связи.

– Может, его взяли?

– Нет вроде. Если бы взяли, было бы известно. В полиции его нет. Может, какая накладка? Или СД сцапала?

– Может, и накладка. У меня вот хозяйка пропала. Уже две недели. Сказала, отлучусь на три дня, и пропала.

– Ну теперь все может быть. Где-нибудь напоролась. Схватили. Или застрелили где-нибудь. Как ваша нога?

– Нога более-менее. Уже хожу. А как плечо?

– Да что плечо, заросло, как на собаке.

– Значит, можно уже действовать, если тут сидеть. Что-нибудь планируется? – спросил Агеев и умолк, весь внимание. Молокович вслушался в тишину ночи и ответил не сразу:

– Кое-что задумали, может, на днях провернем. Только со взрывчаткой плохо.

– А какая нужна взрывчатка?

– Да хоть какая. Но на хороший взрыв.

– На хороший взрыв требуется хороший заряд. Добывать надо, – сказал Агеев. – А как связь с лесом?

– Трудно со связью. Все под наблюдением. Все дороги, улицы. Ни проехать, ни провезти.

– Что слышно на фронте?

– Ерунда на фронте, – скупно сказал Молокович. – Немцы под Москвой.

– Да-а, – разочарованно протянул Агеев, неприятно пораженный этой вестью.

– Но все равно скоро подавятся. Уж Москву им не отдадут.

– Ну а мы что же, тут и будем сидеть? В этой дыре? – с плохо скрытой досадой сказал

Агеев.

- А что же нам делать? Догонять фронт? Далековато, наверно.
- Оно-то далековато. Но все-таки мы военные. Командиры действующей армии.
- Действовать и тут можно. И нужно. А там видно будет.

Наверное, Молокович был прав, они обязаны действовать, вот только те действия, которые выпадали на долю Агеева, были не слишком подходящими для его натуры. Уж лучше бы бой, открытый огневой поединок в поле, чем эта непонятная игра, сплошная неопределенность, тягостное ожидание неизвестно чего. Он думал теперь, как сказать Молоковичу о полиции и ее посягательстве на него, Агеева, об этом непонятном прислужнике Ковешко. Как сделать, чтобы убраться куда-нибудь подальше из местечка, может, в лес, в партизанский лагерь, так как ему тут не место. Но в то же время что говорить Молоковичу, у которого тоже нет связи? Только вызывать подозрение у последнего, кто ему пока верит?

- Но куда же запропастился Кисляков? – снова спросил он в раздумье.
- Кисляков найдется. Может, ушел в лес? А на его место другой придет?
- Пришел бы скорее.
- А у вас что, срочные дела? Или сообщения? – спросил Молокович.
- И то и другое. Понимаешь, неделю назад привезли мешок обуви. Ну, починил. И никто не забирает.
- Заберут! Понадобится, заберут, – успокоил Молокович.
- А может, ждут, не доверяют?
- Да ну, с какой стати!
- Стать-то одна имеется. Начальник полиции повадился. Склоняет к сотрудничеству.
- В доносчики? – напряженно выпалил Молокович.

– В доносчики. Однажды едва в шталаг не отправил. Немецкий оберет потребовал отправить, – сказал Агеев и выждал, что на это ответит Молокович. Молокович, однако, замаялся, и Агеев понял сразу – напрасно рассказывал. Повторялась история с Кисляковым – его сообщение лишь настораживало, ничего не объясняя, усложняло и без того непростые их отношения.

– Да-а... Что ж, скверное дело, – неопределенно проговорил Молокович. – А отвертеться нельзя?

– Я, конечно, сотрудничать с ними не стану, но пойми мое положение: прямо отказаться я не могу. Они же меня сразу вздернут, – волнуясь, проговорил Агеев.

- Это конечно.
- Поэтому мне тут больше нельзя. Надо в лес.
- Видимо, да, – вяло согласился Молокович. Он не возражал, он вроде понимал Агеева, но по тому, как он сразу сник в разговоре, Агеев понял, что эта их встреча не облегчит его положения. Как бы не усугубила.

– При случае ты там скажи кому... Чтобы передали Волкову. Потому что я тут кругом на подозрении...

– Но ведь и там надо... доверие. С подозрением куда же в отряд?

– Да, это верно, – помедлив, сказал Агеев и опустил на топчан.

Вот об этом он не подумал. Ему казалось: только бы вырваться отсюда в лес, в партизанский отряд, где вокруг будут свои, и он освободится от гнетущей неопределенности, от унижительного подозрения со стороны своих же. Но ведь и там с подозрением невозможно, такой он там просто никому не нужен.

Так как же ему быть? Что делать?

Что делать, не посоветовал и Молокович, который, видно, сам знал не больше его. Агеев понимал это и обращался к нему только потому, что тот был местный, знал большее число людей и, думалось, связь у него должна быть надежнее. Оказывается, с исчезновением Кислякова у него тоже многое оборвалось.

Агеев проводил Молоковича до конца огородов по тропке, и они сухо простились.

Знали бы оба, что им так недолго осталось быть на свободе, что это их последняя возможность открыто поговорить обо всем начистоту. Но не знали. И легко расстались. Молокович, как показалось Агееву, с облегчением даже, и Агеев, постояв минуту, проводил его взглядом, пока тот не скрылся в темени наступившей ночи. Оставшись один, он стал думать, почему так устроены люди, что вот появляется маленькая неясность и уже готовы усомниться, готовы поверить нескольким окольным фактам и не верить долгим годам дружбы, знакомства, совместной работы, наконец, испытанию смертью, которое они недавно совместно выдержали. Но неужели Молокович тоже усомнился в его честности, неужто подумал хоть на минуту, что он двурушничает и может их предать? Предать кому? Этим вот шакалам, шавкам, которые предали самое святое в жизни, родину и народ во имя спасения собственной шкуры? И он пойдет к ним в услужение? Надо было вовсе не знать его, старшего лейтенанта Агеева, или иметь цыплячьи мозги в голове, чтобы подумать такое. Но ведь, наверно, подумали? Наверно, думать так было привычнее? Или проще? Или, возможно, практичнее, дальновиднее? Но, если дальновиднее, как же тогда его человеческая судьба? Или в такой обстановке одна судьба ничего не стоит? Так сколько же тогда судеб чего-нибудь стоят? Сто? Тысяча? Десять тысяч?

Нет, видно, если ничего не стоит одна, так мало стоят и десять тысяч. Таков уж элементарный закон арифметики. Арифметики, но не войны. У войны свои, далеко не человеческие законы, и они будут править людьми, пока будут войны.

Ну что ж, будь что будет. Главное, не метаться, не изворачиваться, думал Агеев, оставаться человеком, каким он был двадцать шесть прожитых лет. Те четыре года, что он прослужил в армии, он старался быть хорошим командиром и, наверно, был таковым. По крайней мере, в его личном деле, некогда хранившемся в строевой части полка, значилось восемь поощрений и ни одного взыскания, хотя стычки с начальством не были для него большой редкостью и, случалось, он получал хорошие взбучки. Но помимо служебных отношений с начальством были еще различного рода общения с равными себе, средними командирами, товарищами и друзьями, были, наконец, отношения с подчиненными сержантами и красноармейцами. И для Агеева, может, дороже, чем мнение начальства о нем, была где-нибудь случайно оброненная фраза: «А он вроде ничего мужик, этот начбой!» К другим оценкам он не привык за свою армейскую жизнь, и то, что теперь закручивалось вокруг него в этом местечке, повергало его в отчаяние.

Растревоженный и подавленный, он пошел на кухню, в темноте закрыл на крючок дверь и сразу попал в объятия теплых девичьих рук. Мария подвела его к столу и, усаживая на стул, зашептала:

– Ну, сейчас я тебя накормлю... Сейчас, сейчас...

Прежде чем он что-либо успел понять, она сунула ему в руку огромный, тмином пахнущий ломоть хлеба, в другую большую кружку с молоком.

– Ешь! Ну? Вкусно?

Да, это было чертовски вкусно, казалось, никогда он не ел такого вкусного хлеба и такого молока, желудок его блаженствовал, и он молча проглотил все, запил остатками молока.

– Ну, наелся? Хочешь еще?

Агеев больше не хотел – он уже понял, что она выбегала куда-то, может, к сестре или соседям, и ему стало страшно. Она была тут единственной его радостью и, наверно, единственной опорой, на которую он мог положиться. Опасение потерять ее отозвалось в нем испугом, какого он не испытывал, наверно, даже перед лицом собственной гибели.

– Спасибо! – сказал он, целуя в темноте мягкие ее ладошки. – Но я тебя прошу: не ходи никуда! Не надо! Как-нибудь. Пойдем вместе...

– Куда? – с наивной поспешностью спросила она, словно готовая тотчас бежать вместе с ним.

– Куда? Пойдем куда-либо. Придет час, и пойдем.

– Придет час! Я верю, что настанет наш час. Должен настать. И кончится эта ночь. И

ничто не будет нам угрожать. Ой, как я хочу дожить до того часа... Милый, Олежка мой...

Она опустила на пол возле его ног, обеими руками обхватила их, и они ласкались так, едва сдерживая рыдания. И он молча вытирал ее мокрые щеки, напряженно соображая, как спасти ее и себя от вплотную надвигающейся на них безжалостной колесницы уничтожения. Может быть, именно в этот вечер он почувствовал то, что ранее как-то не доходило до его сознания – что он ее любит вопреки своим намерениям, вопреки войне и даже здравому смыслу. Наверное, ему надо было сказать ей о том, но разве и без слов это не было ясно обоим...

Погода резко повернула на осень, зачастили нудные обложные дожди, а когда они переставали, особенно по утрам, наползали туманы, в которых утопали дома, огороды, деревья. Как-то, встав на рассвете, Агеев не узнал двора – все, что было перед воротами хлева, исчезло в стылой серо-молочной наволочи. Было тихо какой-то странной, затаенной до поры тишиной, улица будто вымерла, замерло и все местечко.

В ту ночь Агеев и Мария уснули лишь перед самым рассветом, всю ночь прободрствовали в сарайчике от непонятной тревоги, поднявшей на ноги местечковые власти и полицию. Началось все с заполошного крика где-то на окраине, в районе кладбища, потом последовали выстрелы на окраине и по их Зеленой улице пробежали несколько человек – все туда же, к кладбищу. Топот их ног глухо прозвучал в ночи, но голосов не было слышать, словно это бежал строй солдат или полиции. Потом на соседней, более наезженной улице застучали повозки, там же послышались голоса, даже окрики, а в стороне центра возле церкви проурчали тяжелые машины, и свет их фар желтыми блуждающими пятнами мелькнул в тумане над крышами местечковых хат. Затаив дыхание, Агеев слушал, пытаясь понять, что происходит в местечке, но понять было не просто. Мария, прижавшись к нему и обхватив его плечи руками, мелко тряслась, как в ознобе, он кутал ее в колушок и думал, как бы не пришлось спасать ее в эту тревожную ночь. Нижнюю, не прикрепленную доску в стене он показал ей давно, девушка легко могла проскользнуть в огород, вот только что дальше? Куда спастись из огорода, они пока не решили.

Они не решили многого, да так и заснули к утру в объятиях друг друга, когда эта малопонятная тревога как-то сама по себе улеглась и все вокруг постепенно затихло.

Во влажном застойном тумане все было стылым, промозглым и неприятным. С мокрых ветвей свисали прозрачные капли, стекали по мокрым комлям деревьев, туман обволакивал рыжую листву клена и тихо клубился там, медленно сползая на черную от влаги крышу избы. Агеев поежился от холода и первым делом прошелся по двору к двери на кухню – клямка с вечера нетронута лежала на пробое, значит, Барановской все еще не было. Он уже перестал считать дни и недели, прошедшие после ее ухода; видно, действительно его хозяйка пропала навсегда и бесследно. Они с Марией уже съели пол-огорода картошки, подобрали, что можно было подобрать из съестного в кладовке, но из имущества ничего не трогали, обходились пока колушком да пестрым, сшитым из лоскутов одеялом на чердаке. Каждый раз, просыпаясь утром в сарайчике, Агеев ждал, что кто-нибудь появится во дворе и скажет: «От Волкова». Но шли дни, а никто не появлялся, мешок с починенной обувью все так и лежал под сеном. Не появлялся и Кисляков. Агеев чувствовал себя совершенно заброшенным, забытым и одиноким, и единственным его утешением была теперь Мария.

Он не мог взять в толк, почему, но Мария уже властно и без остатка захватила его смятенные чувства, заполнила собой все его существо – его память, внимание, мысли – и, кажется, стала для него любовью. Не переставая, он думал о ней и об их нелепой судьбе. В яви или воображении она всегда была с ним, и он всегда видел перед собой ее милый образ, вслушивался в ее особую, порывистую манеру говорить, готов был смотреть и смотреть, как она откидывает со лба светлые волосы или, чуть склонив голову, причесывает их крохотным полупрозрачным гребешком, всегда торчащим у нее на затылке. Ее тонкие трепетные руки были воплощением заботы и движения, когда она говорила о чем-то и даже когда умолкала, поправляя подол сарафанчика на коленях, или порывисто обнимала его за плечи, прижимая маленькие ладони к его лопаткам или взлохмачивая его отросшие волосы на затылке.

Особенное удовольствие доставляла ей его борода, которую он раза два подстригал ножницами, сбрить ее было нечем. Мария ворошила ее, целовала и терлась щеками, все приговаривая при этом:

– Какая у тебя борода! Какая борода! А ты отрасти, как у деда, вот здорово будет!

– Что, идет?

– Спрашиваешь! И рубаха эта идет, вышитая. Ну прямо былинный герой! Илья Муромец!..

– Какой Муромец! Соловей-разбойник...

– Нет, нет... Ты такой... Правда! Сразу видать, командир!

– Это плохо, что сразу видать.

– Ну и ничего, ну и ничего... Ну и хорошо! – с жаром уверяла она, целуя его в бороду, в щеки, в губы...

В такие минуты он был расслаблен, разморен и почти счастлив, если бы не его беспокойные мысли, которые не покидали его ни на мгновение, и он все думал и думал бесчисленное число раз – лежа с ней под одним колушом, сидя подле на лоскутном одеяле, когда она спала, в одиночестве, стоя во дворе и прислушиваясь к звукам с улицы, стараясь найти в них те, что ему были так необходимы. Одна мысль точила его душу ночью и днем – добром это не кончится! Не может это окончиться добром в такое жестокое время, на краю бездны, за два шага от полиции, немцев, СД. Будет беда! Но он ничего не мог поделать с собой и своим вышедшим из повиновения чувством, как будто сознавая, что иного времени для них не будет и что такое не повторится. Действительно, прекрасное не длится долго и не случается часто, такое – великая драгоценность, выпадающая как награда. Вот и их наградила судьба... Добрая шутница она или коварная ведьма? Как бы она скоро жестоко не посмеялась над ними...

Они старались не говорить о будущем, о том, что их ждет завтра или даже сегодня к вечеру, ночью. Они жили настоящим, каждым мгновением, ибо только это мгновение принадлежало им. Завтра для них могло не быть вовсе, вчера было давно и тоже принадлежало не им, хотя они и вспоминали о нем. Обувью Агеев больше не занимался, местечко, похоже, игнорировало его сомнительное сапожное мастерство, и он, несколько раз недолго постояв в беседке, больше там не показывался. Питались картошкой. Последние дни приспособились печь ее в золе, в прогоревших углях на кухне – печеной картошка казалась вкуснее, а главное, питательнее. Однажды Мария сварила бураков с грядки, и они ели их два дня – горячие и остывшие. Днем большею частью сидели на чердаке возле слухового окна, дав волю накопившейся нежности, вздохам, объятиям и поцелуям. Разговаривали шепотом или вполголоса. Впрочем, он больше молчал, Мария же способна была щебетать, не переставая, и он изредка останавливал ее: «Тише...» Рана у Агеева почти затянулась, только из нижнего конца разреза сочилась гнилая сукровица, повязка слегка промокала. Он уже довольно уверенно стал ступать на левую ногу, хотя, когда поспешал, хромота его становилась заметнее, и он старался идти медленнее, иногда с помощью палки.

В тот день, как всегда поутру, они перебрались из сарайчика на чердак, поели вчерашней картошки. Может, по причине бессонной ночи Мария была не в духе, молчала, картошки почти не ела, больше подкладывая ему, часто вздыхала. Они сидели на разостланном одеяле под слуховым окном, она уголком одеяла прикрывала голые ноги и вдруг спросила его в упор без всякой связи с тем, о чем они только что разговаривали:

– Олечка, а ведь мы погибнем?

Он удивленно взглянул на нее, в ее большие глаза, в которых застыли боль и ожидание.

– Что ты? Почему ты так?

– Я хочу знать, что нас ждет в скором будущем.

– Что ждет, кто ж тебе скажет. Я разве знаю. Но мы будем жить. Иначе и быть не может.

– А немцы?

– Что немцы?

– Немцы нас победят?

Вот чудачка, подумал он, о чем она беспокоится! Впрочем, разве не этим самым был обеспокоен и он. Но он даже на минуту не мог позволить себе согласиться, что их существование обречено, что победа будет за Гитлером. Он гнал от себя эти подлые мысли – независимо от того, как оно будет на деле, он должен был верить в нашу победу. Конечно, оба они могут запросто не дожить до этой победы, но это уже другой вопрос и на него должен быть найден другой ответ.

– Вот что, Мария, – сказал он решительно. – Никогда немцам не победить нас, потому что...

– Почему?

– Хотя бы потому, что... Что Россию никогда и никто не побеждал. Это невозможно.

– А татары?

– А что татары? Временные захваты. Так и Наполеон временно захватил Москву. Но временно. Навсегда невозможно.

– Ты в этом уверен?

– Абсолютно. Не сомневаюсь ни на минуту.

– Ну спасибо, – сказала она, подумав, и откинулась на локоть. – А то... видишь ли... Кажется, я забеременела.

– Вот как!

Не зная еще, обрадоваться или опечалиться, он обнял ее за плечи, привлек к себе, тихонько погладил по волосам. Чувства его были не готовы к такому обороту дела, но трезвый, всегда бодрствующий ум уже вынес свое суждение, которое было похоже теперь на трудный, печальный вздох: «Ох, не к добру это!» Оно и впрямь не к добру, но что в это лето и осень было к добру? Все на беду, на погибель, в неразберихе, горе и смятении.

– Ладно, – сказала она, осторожно высвобождаясь из его объятий. – Ты только не кори себя. Если что, я сама виновата. Лучше расскажи о себе.

– Что тебе рассказать?

– Ну как ты жил? Расскажи про свою маму. Где она? Жива?

– Была жива. И отец был жив. Но что рассказывать? Колхозники они...

– А как ты командиром стал? Наверное, училище окончил?

– Училище, конечно. Но это просто. У меня, видишь ли, дядя военный был. Иногда приезжал в отпуск. Вот я и нагляделся на него, подался в училище. Военное дело трудное, но я любил. Да что там! Лучше ты расскажи о себе. Ты в Менске родилась?

– В Менске. Понимаешь, я росла между отцом и матерью, можешь себе представить такое? Дело в том... Дело в том, что более неподходящих друг другу людей, чем мои родители, трудно себе и представить. Отец из крестьян, окончил учительскую семинарию, долго учительствовал, потом перешел в Инбелкульт – был такой в Менске. Отец всегда жил в народной стихии – фольклоре, истории Беларуси. Вечные исследования, летописи, старая литература, потом пошли экспедиции. Разговаривал дома или там на улице, в трамвае, в магазине только по-беларуски. Многие на него оглядывались, в городе оно ведь не принято так, по-деревенски. А он из принципа. А вот мама моя, хотя тоже происходила из крестьянской семьи, но пожила в городе, и так, знаешь, полюбилась ей городское, что все прежнее, деревенское возненавидела. Она тоже из принципа не могла принять ничего, что хотя бы отдаленно напоминало деревню. Не признавала ни песен, ни сказов – никакого фольклора, не терпела мужиков, деревенской грязи в распутицу, даже деревенских животных. Ну, а уж как она потешалась над речью беларусской – тут у нее просто талант был сатирика. У отца было много знакомых крестьян – ну, там, как ездил в экспедиции, так всем давал наш менский адрес, – и вот иногда зимой подъезжают сани, заявляется мужик или два сразу, в кожухах, лаптях да еще мокрые, в снегу. Отец их раздевает, ведет в кабинет, в лаптях, конечно; а там длинный разговор, иногда и чарочку примут. Но мать туда ни ногой, отец сам их обихаживает. Малую меня мать пускала поглядеть-послушать, а как подросла, запретила ходить. Но, видно, поздно. У меня такой интерес появился, что я этих дядек всех

до сих пор помню. Ну и как-то после шестого класса поехала с отцом в экспедицию. Помню, на Полесье, к коммунарам. Мать собралась в Сочи, меня с собой брала, а я уперлась: хочу на Полесье. Столько о нем слышала из разговоров, от отца. Скандал был, ревела, но добилась своего – поехала с отцом. А мать укатила к морю с подружкой, женой одного ответработника из ЦИКа.

– А как вы там жили, в экспедиции?

– О, там был рай! Где-нибудь в лесной деревеньке, квартира у какой-нибудь тетки Луши или тетки Альбины, а у той корова с телкой, лошадь, собака, овечек с ягнятками штук восемь, поросят, цыплята. Страх, как было интересно! Подружусь, бывало, с ребятами, в ночное ездим, лошадей пасем. В речке купаемся, раков ловим, ну и рыбу, конечно. А цветов сколько в поле, на лугу. А лес! Какие леса там – ягод, грибов полно. Нет, я и сейчас не могу спокойно вспоминать все это. Я же и сюда вот к двоюродной сестре приехала за ягодами ходить. Так ягоды люблю собирать. И вот пособирали...

Мария замолчала и всхлинула – тихонько и один только раз, Агеев нежно провел рукой по ее плечу, она сглотнула слезы и скоро успокоилась, улыбнулась ему с тихой печальной радостью.

– Ну все, ничего... И вот, понимаешь, кроме всего, отец меня приобщил к своей стихии – собиранию народной мудрости, разных там фразеологизмов, пословиц, преданий. И песен. Живные, колядные, свадебные, обрядовые и еще бог знает какие. Он знал. Ну и я тянулась и даже несколько песен сама записала от теток и бабок на Любанщине. Вот послушай.

Мая матуля забедавала:
Дзе мая дачка заначавала?
Заначавала у цемным бару
Пад калиною,
Пад калиною,
Белыя ручки пад галавою, -

пропела она тихонько, почти шепотом, мелодично и горестно. – И еще помню. Спеть? Можно?

– Нет, знаешь, все-таки слышно. А вообще хорошо ты это – по-беларусски.

– Да, знаешь, за лето, бывало, так привыкну к беларусской речи, что, когда вернусь в Менск, долго еще не могу перейти на русский. Мама ужасается, ругает меня, отца. А я тогда нарочно. Мне – пожалуйста, а я – кали ласка, мне – до свидания, а я – да пабачэння, мне – платье, а я – сукенка. А что? Разве хуже? Такой же славянский язык, как русский или украинский, не лучше и не хуже, а равноправный.

– Это ты молодец, – сказал Агеев. – А мне, знаешь, деревенскому, в армии пришлось... помучиться. Пока отвык от своего, русским овладел. И потом еще долго дразнили «трапка, братка».

– Ну, в армии, там, может, надо, чтобы все по-русски. А в Менске чего мне стесняться? В своей республике. Но в городе этого не понимают, зато в деревне мне бывало раздолье. Так любила, как бабы поют. Вот как вечером с поля идут, слышно и тут, и там, за горой и под лесом, песни протяжные такие, мелодичные, да так славненько тянут на два голоса.

Агеев слушал и слегка удивлялся в душе – все это для него было внове и даже чудно как-то. Восемнадцать лет своей жизни он провел в деревне, в той самой стихии, о которой с таким оживлением рассказывала Мария, но у него не было и в мыслях восхищаться той жизнью; он ее просто не замечал, как не замечают воздух, которым дышат. Ну, пели, ну, разговаривали по-беларусски, конечно, или, как у них говорили, по-деревенски, но разве в этом была культура? Культура – в городе, где театры, кино, где поют разодетые актрисы и разные ученые люди разговаривают чисто, по-городскому, а то и на иностранных языках. В армии же ему стоило немало труда избавиться от акцента, который сразу выдавал в нем белоруса и порой становился предметом насмешек товарищей. А она, гляди ты! Горожанка, а

такой интерес ко всему деревенскому, что для него было простым, обыденным...

Нежно обняв Марию, Агеев слушал ее тихонький, печальный шепоток, проникаясь ее ностальгическим чувством, а в сознании его продолжали звучать ее слова, сказанные вне связи с воспоминаниями и врасплох заставшие его. Это ж надо, дожил до чего, думал Агеев, он будет отцом, нашел, однако же, время! А каково ей – в такую вот пору летать матерью! Это черт знает как все усложняло, запутывало, угрожало новыми бедами, но что делать? Если так, то, наверное, ничего уже не поделаешь, остается одно – ждать.

Чего только дождешься?

Он и так ждал все это время в местечке, ждал разного. Сперва – когда затянется рана, когда вернется его хозяйка, Барановская, ждал прихода Кислякова или кого-либо от Волкова, со страхом и неприязнью ждал появления Ковешко или Дрозденко, налета полицаев, разоблачения, ареста. Все его пребывание здесь шло в томительном ожидании – лучшего или худшего. Но все пока словно замерло, затаилось, шло время, а в его судьбе решительно ничего не менялось. Может, накапливалось что-то? А потом как бы не взорвалось бедой, несчастьем – теперь уже для двоих, вот что хуже всего. Впрочем, уже и для троих...

Когда Мария ненадолго примолкла, прислушиваясь к неясным звукам внизу, он подхватился, встал.

– Ты посиди. Я спущусь, посмотрю.

Надо было посмотреть хотя бы для страховки, для уверенности, что во дворе все тихо и нет никакой опасности, а также на случай, если к нему все же кто-либо придет от нужных людей. По крутой приставной лестнице он спустился в темную кладовку, вышел на кухню. На столе, прикрытая чистой тряпицей, белела составленная Марией посуда – тарелка, ложка и чашка, все на одного человека, ничего тут не должно было подать мысль, что в доме еще кто-нибудь обитает, за этим он следил строго. Может, все было чересчур аккуратно прибрано, он бы так прибираться не стал, но это уже Мария... Прихрамывая, Агеев вышел во двор, поискал взглядом Гулятая, но сегодня кота поблизости не было, наверное, оголодав возле дома, отправился куда-нибудь на дальний промысел. Туман немного рассеивался, сплывал за огороды, к оврагу, избыточной влагой оседая в траве, на ветвях деревьев, камнях дворовой вымостки, на гонтовой крыше дома и стрехах сараев. Все вокруг пропиталось этим туманом, его стылой промозглой сыростью, было знобко, и, может, впервые Агеев ощутил неприятное дыхание осени, скорых холодов, непогоды.

Он хотел уже было вернуться на чердак к Марии, как решил для верности посмотреть в дальний конец улицы, откуда обычно появлялась опасность. И, выглянув из-за угла, тотчас отшатнулся – из калитки второго или третьего отсюда дома выходила группа мужчин, три человека, их, видно, провожал хозяин, немолодой человек в картузе; передний, обернувшись, что-то строго выговаривал ему, и в этом рослом переднем человеке Агеев без труда признал начальника полиции Дрозденко. Затаившись за углом, он подождал, вслушиваясь и стараясь определить, куда повернут полицаи – по улице в местечко или... Но, конечно, трое полицейских скорым шагом вдоль заборов направились к хате Барановской, и Агеев, мысленно чертыхнувшись, вышел на середину двора.

– Здоров, сапожник! – бодро и вроде бы дружески приветствовал его Дрозденко, поворачивая во двор. – Ну оброс, как старик. Бритвы нет, что ли?

– Да так, знаете; Леня бриться, – нашелся Агеев.

Начальник полиции был все в том же танкистском френче, подпоясанном широким командирским ремнем с латунной, без звезды пряжкой, в немецкой пилотке на голове. В руках у него вместо обычного прутика на этот раз была резная красивая палочка, которой он, играючи, легонько помахивал в воздухе.

– Барановская прибыла?

Остановившись напротив Агеева, он впился в него настырным испытующим взглядом, и Агеев озабоченно выдохнул.

– Нет, не прибыла. Не знаю, что и думать...

– Ах, стерва! – в сердцах выругался начальник полиции. – Скверную игру она с нами

затеяла. Но доиграется попадья! Уж я ей припомню!.. Как нога? – вдруг без всякого перехода спросил он и опять застыл во внимании.

– Заживает, – не сразу ответил Агеев. – Но медленно. Лекарств, знаете, никаких. Даже перевязать нечем...

– Не прибедайся! Вон без палки бегаешь, в армии уже давно бы на передовую вытолкали. А ну, зайдем в дом! – вдруг предложил Дрозденко и рванул дверь кухни. – Вы останьтесь! – оглянулся он на двоих полицаев с белыми повязками на рукавах, и те сняли с плеч винтовки.

Стараясь держаться как можно спокойнее, Агеев прошел за Дрозденко на кухню, поспешнее, чем следовало, пододвинул ему стул возле стола чтобы скорее усадить полицая и отвлечь его взгляд от двери в кладовку. Однако, прежде чем сесть, Дрозденко осмотрел плиту, кухонную утварь на столе, заглянул в окно.

– Куришь, нет?

– Нет, не курю.

– А я курю. Раньше курил «Беломор», а теперь вот дрянь эту, – сказал он, усаживаясь на стул и доставая портсигар с немецкими сигаретами. – «Беломора» нет.

– Это плохо, – чужим голосом, фальшиво посочувствовал Агеев. Дрозденко презрительно хмыкнул.

– Если бы только это и было плохо! А то все плохо! Беспорядки, грабежи! А на железной дороге что делается!

– А что делается? – простодушно спросил Агеев.

– Подвижной состав рвут! Немцы уже трех начальников станции расстреляли – не помогает. Думаешь, на этом они успокоятся? Они никогда не успокоятся, пока будут диверсии. И ни перед чем не остановятся. Сегодня расстреляли сто, завтра расстреляют двести. Пока не прекратится безобразие. А не прекращается. Тем, видно, своих не жалко. Никого не жалко...

«Вот как! – подумал Агеев. – Оказывается, виноваты те. Не немцы, которые расстреливают, а те, что где-то далеко отсюда».

– А куда же смотрит полиция? – деланно удивился Агеев.

Дрозденко резко повернулся – всем своим сильным телом на ветхом скрипучем стульчике.

– Полиция разрывается! Но полиции мало. Мы не можем углядеть за всеми. Нам нужны помощники, люди из местечка, деревень, со станции. Но они запуганы большевиками и не хотят сотрудничать. И кому от того вред? Населению прежде всего. Ну, разобьют на дороге пару вагонов, спустят под откос паровоз. Разве это вред для Германии? Да у нее миллионы вагонов, со всей Европы. А вот ближней деревеньке копец. Пожгут и постреляют. Ни в чем не повинных людей. И кто их защитит? У меня на все силы не хватит...

Агеев молчал. Такой поворот в разговоре оказался для него неожиданным. Он считал полицию карательным органом оккупационных властей, а она, по словам этого начальника, охраняет интересы неповинных людей, оберегает их от диверсий и следовавших за ними репрессий...

Скрипнув стулом, Дрозденко вскочил, подбежал к окну, выглянул во двор, видно, выискивая взглядом своих полицаев. Но полицаи стояли у двери, и он живо вернулся обратно с зажатой в зубах сигаретой, грузно оперся руками о стол.

– Слушай, вступай в полицию, хватит тебе сачковать. В такое время надобно не только о себе думать. Подумай о людях. Надо наводить порядок, не то немцы всех порешат. Вон как евреев. Но евреи – черт с ними, а своих жалко. Кто их защитит? Единственная своя сила – полиция. Но полиции нужен порядок. В условиях порядка полиция еще кое-что может. Для своих, конечно. Так как? Согласен?

Агеев смешался. Он не был готов к такому разговору и только проворчал растерянно:

– Нога, знаете... Болит еще.

– Ногу долечишь у нас! У нас и доктор есть. Лекарство тоже. Покажешь себя,

похлопочу перед немцами, сделаю заместителем. Мне зам требуется. А то вон эти, – кивнул он на окно, – как колуны. Тупые и ленивые. А ты все-таки средний командир.

– Да уж какой там командир, – поежился Агеев. – Теперь окруженец.

Дрозденко молча с минуту вглядывался в его лицо, словно стараясь что-то отыскать на нем.

– Ты мне смотри! Я ведь тебя могу и силой. В порядке мобилизации. Но мне силой не надо. Ты же не девка. Мне чтоб добровольно. Чтоб работа была. А ты ведь мужик дельный. И умный. Ты должен понимать, как бы не было поздно. Война кончается.

– Неужто кончается? – прищурился, холодно спросил Агеев.

– Все! Осталось немного, немцы окружают Москву, скоро прихлопнут. Гляди, опоздаешь.

– А я никуда не спешу.

– И напрасно. Как бы не пришлось держать ответ перед немцами после победы: чем занимался? Если что, по головке они не погладят. Они вообще по головке не гладят. Строгая нация!

– Это я знаю.

– Вот и хорошо, что знаешь. Так подумай. Больше я предлагать не стану. Сам придеешь.

Понял?

– Чего не понять, – уклончиво ответил Агеев.

Дрозденко резко отпрянул от стола, швырнул на пол недокуренную сигарету и обернулся.

– Ну вот. А теперь твоя главная задача – Барановская. Как только заявится, стукни. Тотчас же. Днем или ночью. Упустишь, пеняй на себя. Ею уже СД интересуется. Тут уж я тебя не прикрою.

– И чем она так заинтересовала СД? – не утерпел Агеев.

– А это не знаю. Чем-то насолила, значит. Полиция тут ни при чем.

– Что ж, понятно, – сказал Агеев, подумав про себя, что этого уж от него не дождутся.

Но как бы не прозевать, успеть предупредить хозяйку сразу же, как только та вернется домой.

Как и в прежние свои визиты, Дрозденко, не прощаясь и враз оборвав разговор, шагнул к двери и выскочил во двор. Агеев с облегчением проводил его к улице, и трое полицаев, не оглядываясь, пошагали к центру местечка. Недолго постояв еще и убедившись, что опасность миновала, Агеев пошел в кладовку. Мария ждала его на чердаке, забившись за сундук с книгами, и, как только он взобрался по лестнице, бросилась навстречу. Он растроганно обнял ее за плечи, привлек к себе.

– Ну что ты! Не бойся. Я же тебя защищу...

– Я все слышала, – сказала она, вздрагивая в его объятиях, и вдруг спросила: – У тебя оружие есть?

– Оружие? Какое оружие?

– Ну, пистолет или винтовка или что-нибудь еще...

– Зачем тебе?

– Ты не знаешь зачем? – она с укором взглянула на него глазами, полными слез.

– Нет, нет, – сказал он поспешно. – До этого не дойдет. Надеюсь, что не дойдет. Нам главное – протянуть время. А там...

– А что там?

– А там... Победа будет за нами.

– Ой, боюсь, не будет, Олежка! Боюсь, не будет за нами. За кем-нибудь, может, и будет, но не за нами. Как бы нам скоро не пришлось лечь в сырую земельку!..

– Ну что ты?.. Ну что ты?.. Зачем так мрачно? Ты успокойся... Еще же ничего не случилось.

По мягкой засыпке чердака он провел ее к их измятой постели, усадил на ветхонькое лоскутное одеяло. Сам опустился рядом и обнял ее все еще вздрагивающие худые плечики.

– Ну ничего, ничего. Пока мы живы и вместе, а это главное. Еще мы поборемся с ними. Еще повоюем...

Мария, молча и тихо всхлипывая, медленно успокаивалась, подчиняясь его ласковым объятиям, все теснее прижимаясь к нему, словно сообщая ему свою боль и набираясь от него решимости. И он собрал в себе все крохи этой решимости, слабой уверенности в благополучном исходе их затянувшихся испытаний, чтобы только укрепить ее силы. Сам он готов был ко всему. Но с нею все усложнялось, запутывалось, и он явственно чувствовал, что должен был утроить свои усилия и свою выдержку.

Выдался холодный слякотный день, с обеда моросил мелкий дождь, монотонно стучал по набрякшей влагою крыше. Мария дремала, тихонько лежала под кожаным на чердаке. Агеев сидел на уголке одеяла и при скудном свете из слухового окна листал пожухлые страницы «Нивы», ворох которой они принесли из сундука. В каждом номере этого густо иллюстрированного журнала была война – давняя война 1916 года, фотографии ее жертв и ее героев, генералов и царских сановников, рассказы о войне, стихи, обзоры военных действий, во всю страницу рисунки академика Самокиша – лошади, казаки с пиками, кавалерийские атаки и бегущие немцы в остроконечных, с шишаками касках. Агеев, однако, искал другое – искал что-нибудь о предателях, об изменниках того времени типа нынешних полицаев, перебежчиков, таких, как Дрозденко. Ведь почти в этих же местах тогда шли бои, и половина Беларуси была под немцем, наверное, были же и тогда немецкие прихвостни, о которых бы написала или хотя бы упомянула «Нива». Но «Нива» о них молчала, словно их и не было вовсе.

А может, и не было в самом деле?

Но почему тогда их развелось столько в эту войну, чья в том вина или в чем причина? В самих этих людях или, может, в немцах-фашистах с их жестокой политикой тотального устрашения или тотального уничтожения? Или того и другого вместе?

Начинало темнеть. Агеев все ниже склонялся над страницами журнала, едва разбирая шрифт текста и особенно подписей, когда его слух уловил тихий прерывистый стук внизу, заставивший его тревожно встрепенуться. Мария тоже подхватила рядом, испуганно округлив глаза; стук явственно повторился в тишине пустующего дома, и уже не было сомнения, что стучали в окно в кухне. Мария, как всегда, молча юркнула в темное подстрешье за сундуком, а он, торопясь и оступаясь в темноте на перекладинах, спустился в кладовку, прикрыл за собой дверь на кухню. За едва светлеющими стеклами окна темнела чья-то фигура. Агеев взгляделся – нет, то была не Барановская и не кто-либо из знакомых. Он подошел к двери и вынул крюк из пробоя. По ту сторону порога стоял немолодой уже человек с многодневной седой щетиной на щеках, в мокром картузе и намокшем брезентовом плаще. В опущенной руке он держал до половины набитый чем-то холщовый мешок.

– Вам кого? – спросил через порог Агеев.

– Я от Волкова, – тихо сказал мужчина и умолк в ожидании ответа.

Внутри у Агеева что-то радостно встрепенулось, он шире растворил дверь и впустил человека на кухню.

– Я вас так ждал... Проходите...

– Нет, – усталым голосом сказал человек. – Некогда. Тут вот вам... мыло. Передать на станцию, сказали. Знаете?

– Да? На станцию? Мыло?..

Агеев старался сообразить все сразу, чтобы четко понять свою задачу, но, кажется, чего-то понять не мог. Можно было догадаться, что передать следует Молоковичу, но мыло?.. Зачем ему мыло?

– Ну, я пойду, – тем временем сказал человек, жестко шурша мокрым плащом, так и не отойдя от порога. – Ждут меня.

– Что ж, спасибо, – почти растроганно сказал Агеев, полнясь своей тайной радостью оттого, что вот наконец вспомнили, доверили, значит, прочь подозрение, все хорошо. А он

столько думал, сомневался, переживал.

Все полнясь радостным оживлением, он проводил гостя во двор, оглянулся на пустую улицу, уже тонувшую в надвигавшихся ненастных сумерках. Гость, кивнув головой, накинул на картуз капюшон и быстро пошагал вдоль двора, через огороды, к оврагу. Наверно, именно там его ждали. Агеев ни о чем больше не спрашивал (не было для того ни времени, ни возможности), теперь он думал, что вряд ли этот человек мог ему что сообщить. Видно, был он просто связной, которому поручили передать что-то, он и передал, о чем было разговаривать? Впрочем, и без разговора, сам факт этой передачи свидетельствовал о многом, и прежде всего о доверии к нему, Агееву. Вот только мыло! Прошлый раз – рваная обувь, теперь – мыло... Хотя могло так статься, что и обувь, и мыло были в цепи какой-то сложной тайной зависимости, в которую его не посвящали. Но, может, так надо. Во всяком случае, он был рад, что длительная неопределенность и выжидание остались позади, его пребывание здесь снова обретало смысл, только бы повезло, не сорваться бы на какой-нибудь мелочи.

Не знал он тогда и не подумал даже, что именно с этой встречи и этого мыла начнется для него длинная цепь самого трудного и самого страшного, что будет стоить ему здоровья, крови, а его соратникам – жизни...

Оставлять мешок с поклажей на кухне было рискованно, и он втащил его на чердак к Марии. В этот раз она не испугалась, она уже поняла из разговора на кухне, кто к ним приходил, и теперь с любопытством смотрела, как он нетерпеливо распутывает завязку на горловине мешка. Развязав его, Агеев и впрямь обнаружил там беспорядочно сваленные бруски хозяйственного мыла, от которого, однако, шел несколько иной, чем от мыла, запах, и он вынул один брусок из мешка.

– Что это? Это мыло? – вопрошала рядом Мария.

– Мыло, – сказал он просто, уже ясно поняв, какое это «мыло». В мешке лежало около двух десятков брикетов прессованного тола, и ему стало понятно, зачем его потребовалось передать на станцию.

– А зачем мыло? – допытывалась Мария. – Это что, на обмен? На продажу?

– Это надо передать на станцию, – скупой ответил Агеев, не решаясь ничего больше объяснять Марии. Он по-прежнему был не вправе посвящать ее в свои "подпольные сложности, тем более вовлекать ее в них.

Как только смеркло, они перешли в сарайчик, куда он перетащил мешок с поклажей. Мария сразу юркнула под кожушок на топчане, а он подумал, что надобно подождать. Наверное же, придут за толом – Кисляков, Молокович или еще кто, надо их встретить во дворе и передать мешок. Или, может, завести на кухню, там поговорить обо всем, но без Марии. Вот приходилось прятать ее и от его знакомых, иначе как он объяснит им ее здесь пребывание.

Агеев вынес тяжеловатый-таки мешок в темный хлев и на время припрятал его за косяком, на скорую руку закидал какими-то обломками досок. Сам все еще не в состоянии унять радостного возбуждения, прошелся по двору, потом, чтобы не мокнуть на мелком дожде, стал под стреху, застегнул телогрейку. Конечно, стоять здесь, может, и не имело смысла, к нему могли прийти и среди ночи, и под утро, но он просто не мог спокойно ждать, тем более с такой передачей под боком. К тому же в любой час могла нагрянуть полиция, тот же Дрозденко, и Агеев должен был позаботиться, чтобы не застали его врасплох.

Он проторчал под стрехой час или больше, вокруг уже совсем все стихло, замерло; сад, двор и огороды скрылись в притуманенной темени. Настала ночь. Дождик то сыпал, налетая с порывами ветра, то вроде переставал. Во дворе, однако, никто не появлялся, никого за весь вечер не слышать было и на улице – ни прохожего, ни повозки, ни даже бродячей собаки. Впрочем, Агеев больше вслушивался и всматривался в сторону огорода и тропинки к оврагу, скорее всего, должны прийти именно оттуда. Но шло время, никто ниоткуда не появлялся. Наверное, за полночь он тихонько прошел через хлев к двери сарайчика. Он думал, Мария давно уже спит, а она, закутавшись в кожушок, одиноко сидела на сенничке, прислонясь

спиной к стенке.

– Ну что? Пришел кто-нибудь? – зашептала она.

– Спи. Почему не спишь? Придут. Может, позже.

Он присел рядом, не снимая мокрую телогрейку, и она в колушке подалась к нему.

– Ой, какие у тебя холодные руки! Дай я погрею. Дай вот сюда...

– Холодные. Испугаешься...

– Как ледышки! Вот я их согрею, – говорила она тихонько, вся съеживаясь от прикосновения этих его холодных рук и плотнее засовывая их себе под мышки. – А кто к тебе должен прийти, ты знаешь?

– В том-то и дело, что не знаю. Но кто-то придет.

– А если полиция?

– Полиция уже приходила. Больше не придет, – сказал он тихо, без должной, однако, уверенности.

– А если те, твои не придут?

– Ну как не придут? Мыло нужно...

«Мыло», конечно, нужно, думал он, но вот Кислякова нет уже вторую неделю, и Молокович не знает даже, что с ним приключилось. А вдруг действительно из их налаженной цепочки связи и подчиненности выпало какое-то важное звено, что тогда? Как тогда связаться? И что ему делать? Ждать или проявить инициативу самому?

Отогрев возле Марии свои озябшие руки, Агеев все-таки уложил ее на топчане, плотнее закутал колушкой, а сам снова вышел во двор. Дождя теперь, кажется, не было, но ветер дул с большей силой, стало заметно холоднее, чем вечером. Агеев прошелся по мокрой осклизлой тропе в огород, остановился, прислушался. В глухой непроницаемой темени слышны были беспорядочные порывы ветра и беспокойный, мятущийся шум вязов, черной стеной вставших на краю оврага. Никого вокруг вроде не было, и он вернулся к хлеву. Все-таки здесь было затишнее и можно было ждать дальше.

И он ждал, то прячась от ветра в хлеву, то прохаживаясь по двору, то останавливаясь под крышей, весь в напряженном внимании, сторожко прислушиваясь к любому звуку извне. Но эта ночь выдалась на редкость скупой на звуки, из местечка почти ничего не было слышно, а из-за оврага со стороны кладбища недолго долетал отдаленный собачий перебрех, который как-то незаметно, сам по себе иссяк. И снова наступила тишина.

С полночи от долгого стояния начала ныть раненая нога, набрякла болезненной тяжестью, и он, нащупав в хлеву пустую кадку, опрокинул ее на проходе и сел. Спать ему не хотелось, терпеливое ожидание к утру стало прорываться приступами беспокойства, неясной тревоги: почему же к нему не идут? Кроме того, что взрывчатка нужна там, на станции, она еще была серьезной опасностью здесь, на усадьбе. В случае малейшего подозрения, конечно же, все перетрясут и найдут, такую поклажу спрятать не просто. Разве что закопать на огороде? Но это если надолго. А прийти могли в любой час дня и ночи. Особенно ночи. Но вот не шли. А может, все-таки следовало доставить ее на станцию самому? Может, сейчас там Молокович, как и он здесь, ждет прихода его и тоже не спит всю ночь? Но как он придет? Он даже не знает, где та станция, в какой стороне. Да и дойдет ли он с ношей, хромой, мало кому тут знакомый и потому для всех подозрительный?

Черт знает, что делать.

Когда забрезжил поздний рассвет, он понял, что ночь прошла понапрасну, и разбудил Марию.

– Пора. Пойдем на чердак.

– Что? Уже утро? А я так уснула, – и, вся разморенная, еще сонная, с сомкнутыми веками, она обняла его за шею.

– Пойдем на чердак. Там доспишь, – сказал он шепотом, целуя ее рассыпавшиеся на голове волосы.

– Ну, приходили? Ты отдал?

– Понимаешь, не приходил никто. Не знаю, что делать...

Его тревожная озабоченность сразу передалась Марии, та прогнала остатки сна и, вскинув тонкие руки, быстро причесала короткие волосы.

– Раз передали, так, наверно, придут, – попыталась успокоить его Мария.

Он тоже хотел думать так и верить, что вот-вот кто-то должен прийти. Правда, с рассветом уверенность его поубавилась, стала сильнее донимать тревога: наверно, что-то там не заладилось. Они перешли на чердак, поели вчерашней картошки. Впрочем, Агеев почти не ел, посидел возле Марии и снова спустился на кухню, вышел во двор.

Весь тот день до самого вечера он не мог найти себе места и все бродил по двору, стоял под стрехой, сидел на кухне. Раза два сходил по стежке к оврагу, взгляделся в его мокрые, неприятные заросли с остатками рыжей листвы на деревьях. Но в овраге было глухо и пустынно, как только может быть пустынно в лесу глубокой осенью, нигде никого не было, как никого не было и на улице, даже у соседей во дворах и огородах, будто попрятались все в предчувствии какой-то скорой беды... Мария, закутавшись в козушок, сидела на одеяле и, как только он появился в лазу, встревоженно уставилась на него. Он отрешенно бросил:

– Нет никого...

Она начинала выпрашивать, кто там, на станции, и зачем надо мыло, но он почему-то перестал отвечать на эти ее расспросы, они его раздражали, и требовалось усилие, чтобы скрыть это раздражение. Минуту посидев на чердаке, он снова спускался вниз, замерев, стоял возле окна на кухне, снова выходил во двор.

Так прошел день, и снова настала ночь. Они перешли в сарайчик. В этот раз измученная его тревогой Мария также не прилегла ни на минуту, стояла на проходе в хлеву, пока он потерянно бродил по двору. Когда он появлялся в дверях, спрашивала шепотом: «Ну что? Никого, да? Что же делать?»

Что делать, он не знал тоже, но по мере того, как убывали темные минуты ночи, все росла его недобрая уверенность, что это все не случайно, что-то стряслось. Может, какая неувязка, может, схватили кого, а может... А может, те, на станции, уже отказали ему в доверии и выжидают. Выжидают, как он поведет себя с этим толком, кому передаст.

Когда стало светать, озябший и измученный напрасным ожиданием, он вошел в хлев и в проходе столкнулся с Марией. Та ждала его, в округлившись ее глазах стыло страдание. Похоже, она уже не решалась ни о чем его спрашивать, сама все понимала.

– Вот такие дела, – глухо произнес он, чтобы сказать что-нибудь.

– А может, надо туда отнести? Может, передать надо? – вдруг заговорила Мария.

– На станцию?

– Ну. Это же недалеко. Сразу за местечком.

– Понимаешь, я даже не знаю. Я же там не был ни разу.

– Давай я сбегаю. Кому там отдать, ты знаешь?

– Знаю. Только... Понимаешь...

Он решительно не знал, как отнестись к этой ее готовности. Конечно, в какой-то степени это был выход из его прямо-таки тупикового положения, но он же породил и несколько новых, трудноразрешимых проблем, главной из которых был риск, которому он подвергал Марию.

– А если полиция? – сказал он.

– Ну и что полиция? Лишь бы на Дрозденко не нарваться. А остальные, что они мне!

– Ой, ой, Мария... Ну еще подождем. Может, кто утром придет. Все-таки ночью комендантский час...

В холодном рассветном тумане они перебежали через слякотный двор на кухню, Мария поднялась к себе на чердак, а Агеев задержался внизу. В голове у него все гудело от бессонной ночи, тело расслабло, мысли вяло и бесплодно шевелились в поисках выхода. Все его намерения смешались, он не знал, как поступить лучше. Ждать? Довериться времени? Случаю? Или положиться во всем на Марию? Но ведь Мария – человек посторонний, вправе ли он вовлекать ее в столь серьезное и рискованное дело? Но и самому тащиться на станцию... Все-таки на нем замыкалось несколько цепочек связи, мог ли он так легкомысленно

рисковать собой? И тем самым ставить под угрозу эту, не им налаженную связь? Разумнее было рискнуть кем-либо другим – другим всегда рисковать удобнее, не без злорадства подумал Агеев. Но Мария... И понимает ли она, догадывается ли, какое в этом мешке мыло? И следует ли ему все объяснять, не лучше ли ей в этой ситуации остаться в наивном неведении?

А если ее схватят?

Нет, решил он, если посылать Марию, то надобно ей все объяснить как есть, он не мог с ней играть в жмурки. Ведь это игра со смертью, где ставка – жизнь. Делаящий эту ставку должен ясно себе представить, чем он рискует...

Он все-таки ждал и все это лениво-рассветное утро прислушивался к глухим звукам извне – случайным голосам из соседних дворов, кудахтанью курицы за забором. Из кухонного окна было видно, как по улице в местечко прошла пожилая тетка в большом, накинутом на плечи платке, несшая в обеих руках тяжелые, наполненные чем-то корзины, и он догадался – на базар. Кажется, сегодня было воскресенье, возле церкви собирался базар, что-то продавали там, покупали. Впрочем, Агеев там не был ни разу, слышал, рассказывала Мария.

А что если вот так... в корзине?

Он пошарил глазами по углам кухни, по стенам, заглянул под стол. Нет, подходящей корзины тут не было, картошку обычно копали в старое жестяное ведро с двумя дырками в дне... И он вспомнил, что на чердаке за дымоходом среди прочего хлама валялась какая-то корзина. Та, наверное, сгодилась бы... Поспешно он поднялся на чердак, прежде чем пролезть в лаз, взглянул на постель под окном и встретился взглядом с Марией. Та не спала, лежала на боку, завернувшись в лоскутное одеяло, и в ее глазах светилось что-то отрешенное, далекое отсюда и от его забот. Но тревоги в них, кажется, не было, она как-то быстро успокоилась, отошла от своих недавних реальных и надуманных страхов. Беспокойство теперь целиком перешло к нему, и Агееву стоило труда утаить его от Марии.

– Ну что? Нет? – встретила она его вопросом.

– Нет.

– А ты что? Иди сюда. Придут, постучат.

– Боюсь, не придут.

Он сразу нашел эту корзину, плоско лежавшую в пыли среди ненужного тряпья и рухляди. Это была старая продолговатая плетенка, похоже, из рисовой соломы, с изрядно прохудившимся дном. Но дно можно было заделать картонкой, а ручки были в исправности – две прочные бечевки, наверное, для удобства обмотанные красным лоскутом. Сумка была в самый раз – обычная хозяйственная, в которой можно было носить, что хочешь: вещи, продукты на базар и с базара. Недолго повертев плетенку в руках, Агеев решительно вытряхнул из нее мусор.

– Вот, для мыла.

– Правильно! Вот я и отнесу, – решила Мария и подхватила из-под одеяла. – Когда, сейчас отнести?

Агеев растерялся. Она его почти убивала своей столь легкодумной готовностью, но и разом снимала главное в его затруднении, ничего ей не надо было объяснять или тем более ее упрашивать. Может, так будет и лучше, подумал он. Однако все медлил, тянул время, отодвигая тот самый последний момент, когда перерешить уже будет поздно. Только долго тянуть было невозможно, надо было воспользоваться утром, когда шумел базар и в местечко и обратно шли люди.

– Мария, тут такое дело, – нерешительно начал он, спустив корзинку. – Наверное, ты догадываешься, что это такое?

Она, Похоже, удивилась – не столько его словам, сколько тону, каким они были сказаны, с мучительным преодолением себя, недомолвками и намеком.

– А что? – просто спросила она.

– Это не мыло. Это взрывчатка.

– Взрывчатка?..

По ее милому, такому дорогому теперь для него лицу скользнула тень мимолетного недоумения или даже испуга, но Мария быстро овладела собой и просветленно улыбнулась.

– Ну что ж, я поняла. Кому передать?

– Мария! Ты понимаешь, если попадешься...

– Все понимаю, не маленькая, – сказала она и, встав на носки, поцеловала его три раза – в обе щеки и в лоб. Потом враз отстранилась, взялась за красные ручки корзины, которые он все еще придерживал в своих руках. – Так кому передать?

Это мучительное объяснение бросило его в жар, потом он медленно покрылся холодным потом. Знал бы, куда посылал ее и что за этим последует. Потом сотни раз он вспоминал это расставание и поспешный разговор с ней, ее поцелуи и взгляды, искал, что сделал не так, чего не объяснил, упустил главное. Он уже почувствовал, как что-то пошло наперекосяк, словно под откос, непонятным роковым ходом, но изменить ничего не мог. Подгоняло время, волнение, и он отдался на волю случая, положился на судьбу и... Марию.

– Знаешь, где кочегарка?

– Ну, за пакгаузом, кажется.

– Вот там работает такой Молокович. Вызовешь его.

– Хорошо. Это я мигом. За час обернусь, ты жди.

Слегка подрагивающими руками он наладил корзину, обложкой от старой книги из сундука укрепил ее дно. Потом переложил туда тол. Получилось почти до верха, и Мария прикрыла его сверху какой-то найденной на чердаке цветной тряпицей. Агеев поднял корзину, повесил на руку – было тяжеловато, но нести было можно. Они спустились на кухню, надо было прощаться. Все внутри у Агеева мелко тряслось, как в ознобе, душа его исходила рыданием, и он едва сдерживал себя. Мария же, напротив, была спокойной, слегка озабоченной, но деловой и собранной, полной так неожиданно обретенной решимости.

– Ты как, по улице? – дрогнувшим голосом спросил он.

– Нет, через овраг. А там в поле и на станцию.

– А полицаев не встретишь?

– Они больше в местечке. К тому же базар сегодня.

– Ну, гляди. Передашь и сразу сюда. Я жду.

– Спасибо, милый!

Она снова поцеловала его в уголки губ и подхватила корзину. Агеев сразу определил – тяжеловата все-таки была для нее эта корзина, но уже ничего изменять не стал, почти в растерянности выпустил ее из кухни во двор. Скорым шагом она прошла вдоль хлева и сараев, возле дровокольной оглянулась, взмахнула ему свободной рукой и на мгновение улыбнулась – загадочно-печальной улыбкой, которую он запомнил до конца своих дней.

Когда она скрылась за углом сарая, он медленно, теряя остатки измотанных бессонницей сил, протопал к улице, огляделся. Никого вроде поблизости не было. Тогда, постояв, он вернулся на кухню и тяжело опустился на скрипучий стул возле стола. Его взгляд скользнул по картине на стене напротив, столь любимой Марией, остановился на вымытой ею и прибранной посуде на краю стола, казалось, еще хранившей теплоту ее трепетных рук, и ему стало нестерпимо горько. Он сидел так долго, тупо уставясь невидящим взглядом в чисто подметенный Марией пол кухни, весь уйдя в слух. Время отмеривало свои минуты – его последние спокойные минуты в этом доме, в которых были ожидание и надежда. Однако ожидание его стало непомерно растягиваться, разбухать во времени, заполняя собой сознание, парализуя волю, и по мере его разрастания убывала, истончалась надежда. Наверное, прошел уже обещанный Марией час, минул второй. Откуда-то из-под стола появился Гультай, прошел на середину кухни и сел, испытующе поглядывая на Агеева. Что он хотел сказать, этот старый и мудрый кот? И что он понимал из того, что творилось в душе у Агеева? Спустя еще час Агеев уже начал думать, что совершил непростительную ошибку, что не надо было посылать Марию, что он просто не имел на то права – ни божеского, ни человеческого, что надо было подождать или идти самому. Если уж

рисковать, то рисковать собой и никем другим, это был самый честный вид риска. А так... Но давно сказано, что человек умен задним умом, когда совершенная ошибка уже неисправима и остается одно – принимать на себя всегда суровый и не всегда справедливый удар судьбы. Когда ожидание Агеева прерывалось особенно острой вспышкой нетерпения, он вскакивал со стула и начинал ходить по кухне, от входной двери до двери кладовки – пять шагов туда и пять обратно. Болела нога в бедре и колене, наверное, надо было поправить повязку, но он уже не обращал внимания на боль и на рану, он ходил и ходил до изнеможения, ни на секунду не переставая вслушиваться в тишину. Иногда ему казалось, идет, вроде бы слышались шаги по двору, но дверь не отворялась и он понимал, что ошибся. И снова принимался ждать – исступленно, вопреки предчувствиям, а затем и вопреки всякому смыслу. Он не заметил, как минуло утро и пасмурный осенний день незаметно перешел в еще более пасмурный вечер, и ждать уже было противно рассудку. Но он ждал. Еще он мог бы, наверно, уйти из усадьбы, скрыться в овраге, вообще покинуть местечко, но ведь он сказал ей, что будет ждать здесь. И он ждал. Он уже передумал всякое: и надеялся, и прощался с ней, и снова надеялся, и сам уже прощался со всем белым светом. Но ждал.

Удивительное дело, когда она была рядом все эти дни, недели и даже последнюю ночь, проведенную вместе, он больше пекся о своих горестных обстоятельствах, о связях, заданиях. Сейчас же, с той минуты, как расстался с ней, он ни о чем, кроме нее, думать не мог, похоже, он только теперь осознал, какую беду навлек на ее голову, и все остальное, что неделями занимало его сознание, отошло на второй план. Не то чтобы стало неважным, но отодвинулось, поблекло в своей значительности, заслоненное ее милым обликом, ее прощальной улыбкой – ее судьбой.

К ночи он уже четко понял, что проиграл, что допустил роковой промах, и только тот факт, что все-таки за день и вечер к нему никто не явился, давал ему кое-какое оправдание – не перед Марией, перед смыслом борьбы, в которую он был вовлечен. Все-таки, видно, следовало проявить инициативу, позаботиться о доставке тола на станцию, где его ждали. Тут свою задачу он понял правильно и постарался ее выполнить в срок.

Вот только какими средствами?

В наступившей наконец глухой темноте ночи нетерпение его достигло предела, он уже прикидывал, куда податься – на станцию по ее следам или еще раз попытаться разыскать Кислякова. Может, следовало прихватить пистолет, все-таки с оружием было удобнее, а главное, для него привычнее. Но он еще не решил, куда идти, как вдруг услышал шаги со стороны улицы – Много тяжелых мужских шагов, зловеще прозвучавших по каменной отмостке двора, по которому тут же метнулся длинный и узкий, как немецкий тесак, луч фонарика. Этот луч затем ударил в кухонное окно, резко высветив стол и тряпицей прикрытую на нем посуду, отбросившую косую четкую тень на вылинявшие обои стены. Агеев инстинктивно подался к кладовке, но остановился. Дверь уже широко отворилась, пахнув на него холодом улицы, и два ярких фонарика перекрестным светом совершенно ослепили его с порога.

– Вот он! И не прячется! Ах ты паскуда!

По голосу узнал сразу, это был Дрозденко. Однако, совершенно ослепнув от направленного на него света, Агеев ничего там не видел, и внезапный удар в левое ухо заставил его отлететь в сторону. Он наткнулся на поваленный стул, но успел ухватиться за угол плиты и устоял на ногах.

– Ах ты гад! Предатель! А ну перевернуть все! Обыскать каждую щель! Пахом, действуйте! – запыхавшись, зло распоряжался Дрозденко. – А этого марш в подвал, я поговорю с ним!..

Все ослепляя его лучами двух фонариков, они торопливо облапали карманы его бриджей, под мышками, потом с силой толкнули в распахнутую дверь, и он с закрытыми от света глазами невидяще пошел по знакомому двору к улице...

После похорон Агеев сидел в грустном одиночестве над своим обрывом, предаваясь малорадостным мыслям, как вдруг увидел на дороге у кладбища Шурку с Артуром. Одетые в летние безрукавки с иностранными надписями, в коротких штанишках, мальчуганы, явно торопясь друг перед дружкой, направлялись к нему. По их озабоченным порывистым движениям он скоро понял, что на этот раз не ради праздного любопытства – у них было дело. Так оно и получилось.

– Вас там приглашают, – запыхавшись, еще издали сообщил Шурка.

– Кто приглашает? – удивился Агеев.

– Ну там, на поминки.

– Ага. Дядя Евстигнеев сказал, – уточнил Артур.

«Вот как!» – удивленно подумал Агеев. Этот отставник, недавно испортивший ему на целый день настроение, теперь приглашал его на поминки. Конечно, лишний раз встречаться с ним у Агеева не было никакого желания, но все-таки поминки были по Семену, он подумал, что надо пойти.

– А где это?

– Ну там, недалеко. Мы покажем, – прижмурился против солнца Шурка. – Идемте...

Что ж, особенно собираться не было нужды, Агеев, в общем, был внутренне готов и, тяжело поднявшись, вслед за ребятами пошел по косоугору к дороге. Копать сегодня все равно уже не было настроения, и он думал, что, может, лучше будет посидеть с людьми за общим столом, помянуть человека. Ровесник все-таки.

Мальчишки быстро семенили обочиной улицы, изредка озираясь на отстававшего Агеева, за мостком свернули в заросший травой переулок, перелезли сами и дождались, пока перелезет он через жердку невысокой изгороди, и стежкой по краю картошки вышли на незнакомую улочку вблизи оврага. Зады здешних усадеб, как и на его Зеленой, упирались в овражные заросли, над которыми величественно возвышалось несколько вязов – точно, как когда-то подле усадьбы Барановской. Здесь в добротном срубленном новом доме с высоким коньком и настезь распахнутыми окнами слышался сдержанный шум голосов; во дворе стояли несколько мужчин и женщин, эти или молчали со скорбью на немолодых лицах или, покуривая, негромко переговаривались возле забора. Из дома навстречу ему вышел разомлевший от жары Евстигнеев в своем неизменном темно-синем костюме, стал обмахивать покрасневшее лицо капроновой шляпой.

– Духота, как в бане, – просто сообщил он. – Знаете, пойдете на воздух. На ветерок!

– А вон на бугорок, – отойдя от забора, предложил немолодой мужчина в кирзовых сапогах. Евстигнеев начальственно огляделся.

– Правильно, Хомич! Позовите там кого... Вот Скорохода с Прохоренкой, – кивнул он в сторону тихо разговаривавших мужчин у калитки. – Ветераны все-таки.

– И это захватить, а? – с намекающей улыбкой спросил Хомич, и Агеев узнал в нем мужчину, который уносил с кладбища подушечку с наградами.

– Как хотите, – махнул Евстигнеев. – Пойдемте, товарищ Агеев.

Все обмахиваясь шляпой, он хозяйским шагом не спеша прошел по двору, мимо сараев и, громко крикнув, пролез под жердь в огород. Утоптанная стежка меж грядок наклонно сбегала к оврагу, Агеев медленно шел следом.

– Вы это, товарищ Агеев, надеюсь, не обиделись на нас? – не оборачиваясь, на ходу спросил Евстигнеев. – Ну, за проверочку? Знаете, сигнал был, а сигналы мы должны проверять.

– Да нет, я ничего, – сказал Агеев. – Оно понятно.

– Ну и хорошо. А то некоторые, знаете, обижаются. Критика, она, знаете, особенно для малосознательных...

Агеев промолчал, словно польщенный тем, что вот избежал разряда малосознательных. И то хорошо.

– А покойник, он ведь и к вам похаживал, – между тем продолжал Евстигнеев. – Вроде

дружки были.

– Да так, знаете...

– Ну, а мы тут с ним десять лет... Еще как я военкомом был.

– Здесь военкомом? – переспросил Агеев.

– В течение ряда лет, – уточнил Евстигнеев. – До выхода в отставку.

Они перешли огород и еще раз одолели изгородь, не очень ловко перевалились через верхнюю жердь и оказались возле оврага. Небольшой и уютный пригорочек-полянка с мелкой травкой в тени развесистого молодого дубка был немного утоптан, но еще сохранял уют укромного, в общем, местечка, откуда открывался неширокий живописный вид на овражные заросли, противоположный, тоже густо поросший деревьями склон.

– Вот присядем. Теперь тут хорошо. И покойничек, кажись, любил сюда забегать. С дружками, конечно, – с незлым укором говорил Евстигнеев, усаживаясь на примятой траве и вытягивая вниз короткие ноги в плотно зашнурованных черных ботинках. Агеев примостился рядом. – Я, знаете, человек прямой. Как и полагается военному. Не скрою, люблю порядок. А как же иначе? Во всем должна быть дисциплина и организованность.

Округлив белесые, слегка навывкате глаза" он с некоторым удивлением оглядел Агеева, и тот поспешил согласиться.

– Конечно, конечно...

– А у нас еще беспорядков великое множество. Особенно на периферии. Вот и покойник... Неплохой человек, ветеран и так далее... А порядка не признавал!

– Вот как?! – несколько фальшиво удивился Агеев.

– Именно. Пил!

– А он что, каждый день?

– Именно! И никакого внимания на общественность. Я уже не говорю про этот бондарный цех, где он работал. Там они все такие... Но я сам беседовал с ним раз, может, десять...

– И каков результат?

– Безрезультатно! – взмахнул в воздухе шляпой Евстигнеев.

Через ограду уже перелезал Хомич с двумя бутылками в оттопыренных карманах брюк. Заискивающе или, может, виновато ухмыляясь, он водрузил бутылки на траву перед Евстигнеевым.

– Хоть вы и против, Евстигнеев, но...

– Я не, против, – нахмурился отставной подполковник. – Теперь есть причина, полагается...

– Конечно, конечно, – поспешил согласиться Хомич и сказал, обращаясь к Агееву: – Покойничек тоже не против был. Сколько мы с ним тут посидели!..

– Да и ты недалеко от него ушел, – строго оборвал его Евстигнеев.

– Что делать? Такая, видно, судьба.

Все таинственно улыбаясь, Хомич принялся откупоривать бутылку, большими плоскими пальцами с трудом сковыривая с горлышка блестящий металлический колпачок.

– Что они перестали со свинными ушками выпускать? – посетовал он. – А то пока сколупнешь эту бескозырку...

– Ничего, сколупаешь. Если вылить захочешь...

– Да уж как-нибудь...

Тем временем через огород не спеша шли низенький вертлявый брюнет в синей с белыми полосами спортивной куртке и долговязый блондин в сером костюме со странным выражением вытянутого лица. Когда они подошли ближе, Агеев увидел, что лицо у блондина на одну сторону, левая щека была вся сморщена, кожа на подбородке неестественно оттянута и все лицо как будто, выражало испуг или удивление. Пришедшие подошли к компании и уселись рядом: брюнет возле Евстигнеева, тотчас тихо о чем-то заговорив с ним, блондин – возле Агеева, вытянув в овраг длинные, в сандалиях ноги.

– Курите? – вынул он из кармана серого пиджака пачку сигарет.

– Нет, спасибо, – покачал головой Агеев.

– Ну, а мы закурим пока, – сказал он густым басом и оглянулся. – Пока Желудков закуску несет.

Через жердь в заплоте уже лез небольшого росточка, щуплый и твердый, словно можжевельный корень, очень живой человечек с продубленным худощавым лицом и бумажным свертком в руках. Он был в зеленой, военного образца сорочке с темным галстуком, короткий хвостик которого болтался на его груди.

– Вот закусон!

– Ну что ж, садитесь, Желудков. Хомич, налей понемногу, – привычно распорядился Евстигнеев, обрюзгое мясистое лицо которого немного уже поостыло в тени. Пока Хомич разливал, все смотрели на два стакана, кособоко приткнутые в траве, а Желудков, опустившись на корточки, разворачивал газету с винегретом и кусками селедки.

– Значит, за старшего сержанта Семенова. За его память! – провозгласил Евстигнеев, взяв стакан, и молча передал его Агееву. Второй стакан взял Желудков.

– Знаете, я не смогу, – смутился Агеев.

– Ну, сколько сможете.

Он поднес стакан к губам, водка ударила в нос почти отвратительным запахом, и он опустил руку. Желудков не спеша, размеренными глотками допивал до конца. Агеев отдал стакан Хомичу, который без слов принял его, налил из бутылки сначала соседу Агеева – блондину, потом долил немного себе.

– Ну, чтоб ему там было чем похмелиться.

Евстигнеев недовольно крикнул.

– Хомич, неужели ты думаешь, что и там это самое... как здесь. Никакого порядка! Все бы вам одно и то же...

– Нет, там порядок! – блеснув быстрым взглядом, ершисто вспыхнул жилистый Желудков. – Там не то что здесь. Там как в войсках!..

– Тоже нашел порядок! – добродушно съязвил Хомич.

– А ты откуда знаешь, как в войсках? Ты что, долго служил? – нахохлился Евстигнеев.

– У меня зять прапорщик. Наслушался...

– Не говорите о том, чего не знаете! – отрезал Евстигнеев. – В войсках порядок. А вот на гражданке – далеко не всегда!

– Он знает, – подмигнул Агееву Желудков. – Двадцать пять лет отбахал.

– Двадцать восемь, к твоему сведению. Год войны считается за два.

– На твоём месте, Евстигнейч, можно было и тридцать. Ты же в штабе сидел?

– Да, в штабе! – приосанился Евстигнеев. – А что ты думаешь, в штабе легко?

– Дюже трудно, – прижмурился Желудков и потянулся за куском селедки. – Бумаги заедают.

– А думаешь, нет? Сколько мне вести полагалось? Учет личного состава по пяти формам. Передвижения и перемещения. Журнал безвозвратных потерь. Строевые ведомости. Приказы! А наградной материал?..

– Да, видно, спина не разгибалась, – в тон ему ответил Желудков, жуя хлеб с селедкой.

– И что же ты думаешь: порой по неделям не разгибался, – все больше распаялся Евстигнеев. – У хорошего работника, который стремится выполнять положенное, всегда спина мокрая. А я никогда разгильдем не был, можешь быть уверен.

Он обвел всех вопрошающе-настороженным взглядом, несколько задержался на Агееве, который вслушивался в перебранку с некоторым даже интересом. Все они тут были людьми, хорошо друг другу знакомыми, наверное, не раз встречались в подобных компаниях и могли позволить себе такой вот разговор. Он же тут был человек случайный и не торопился судить или рассудить их, хотел послушать, чтобы понять каждого. Они выпили и еще, хотя в этот раз Агееву уже не предлагали, и он был благодарен за это, пить он и вправду не мог, тем более водку. Видно, задетый чем-то, Евстигнеев разволновался и сказал, ни к кому не обращаясь:

– Вот некоторые думают, что только они и воевали. Если он там летчик, то уже и герой? Но в истории Великой Отечественной войны записано черным по белому, что победа была достигнута совместными усилиями всех родов войск...

– Это мы слышали, – отмахнулся Желудков.

– Нет, Евстигнеев прав, – вдруг вставил скороговоркой полноватый брюнет. – Мы это недооцениваем.

– Что недооцениваем? – поднял голову Желудков. – Ты, Скороход, кем на войне был?

– Ну, военным журналистом. А что?

– Журналистом? В каком ты журнале писал?

– Не в журнале, а в газете гвардейской воздушной армии.

– А ты что, летчик? – не унимался язвительный Желудков.

– Я не летчик. Но я писал, в том числе и о летчиках.

– Да-как же ты о них писал, если сам не летал?

– С земли виднее, – хитро подмигнул одним глазом Хомич.

– А что ж, иногда и виднее, – серьезно заметил Скороход. – Знаешь, чтобы оценить яичницу, не обязательно самому нести яйца.

– Яйца! – взвился Желудков и даже привстал на коленях. – Вот бы тебя в стрелковую цепь да под пулеметный огонь! Ты знаешь, что такое пулеметный огонь? Ты не знаешь!..

– Зачем мне знать? Ты же все знаешь...

– Я-то знаю. Я же командир пулеметной роты. Пулеметный огонь – это ад крошечный. Это кровавое тесто! Это конец света! Вот что такое пулеметный огонь! Кто под него попадал и его случайно не разнесло в кровавые брызги, тот свой век закончит в психушке. Вот что такое пулеметный огонь! – выпалил Желудков и обвел всех отсутствующим взглядом.

Беспокойно поерзав на своем месте, Евстигнеев сказал:

– Ну, допустим, есть вещи пострашнее твоего пульогня.

– Нет ничего страшнее. Я заявляю!

– Есть.

– Например?

– Например, бомбежка.

Желудков почти растерянно заулыбался.

– Я думал, ты скажешь – начальство! Для штабников самый большой страх на войне – начальство.

– Нет! – решительно взмахнул рукой Евстигнеев. – Если офицер дисциплинирован и свою службу содержит в порядке, ему нечего страшиться начальства. А вот бомбежка – действительно...

Не сводя глаз с Евстигнеева, Желудков опять поднялся на коленях.

– А что, кроме бомбежки, вы видели там, в штабах? Артиллерия до вас не доставала, минометы тоже. Снайперы вас не беспокоили. Шестиствольные до вас не дошвыривали. Единственно – бомбежка.

– Ты так говоришь, словно сам войну выиграл, – вставил Скороход. – Подумаешь, герой!

– А я и герой! – с простодушным изумлением сказал Желудков. – Я же пехотинец. А вы все – и ты, и он вон, и он, – поочередно кивнув в сторону Скорохода, Евстигнеева и Прохоренко, все время молчавшего за спиной Агеева, сказал Желудков. – Вы только обеспечивали. И, скажу вам, плохо обеспечивали...

– Это почему плохо? – насторожился Евстигнеев.

– Да потому, что я шесть раз ранен! Вы допустили. Вовремя не обеспечили. А должны были. Как в уставах записано.

Стоять на коленях ему было неудобно, и он сел боком, поближе подобрав коротенькие ноги. Заметный холодок пробежал в таких теплых поначалу взаимоотношениях ветеранов, и первым на него отреагировал, как и следовало ожидать, Евстигнеев.

– Товарищ Желудков, в армии полагается каждому выполнять возложенные на него

обязанности. Я выполнял свои. Товарищ Скороход свои. И выполняли неплохо. Иначе бы не удостоились боевых наград.

– Это ему так кажется, что он больше всех пострадал, – живо отозвался Скороход. – Я хоть не ранен, зато я в действующей армии пробыл от звонка до звонка" Другой раз намотаешься до одури и думаешь, хоть бы ранило или контузило, чтобы поваляться с недельку в санчасти. Где там! Работать надо. Надо готовить материал, писать, править. Да и за материалом частенько приходилось самому отправляться. В окопы, на передок, в боевые порядки. На разные аэродромы. А дороги!.. Нет, знаешь, Желудков, если шесть ранений, то это сколько же месяцев ты от передовой сачканул?

– А я тебе сейчас скажу сколько. Два тяжелых ранения по три месяца и четыре легких по полтора-два месяца. Итого примерно четырнадцать месяцев.

– О, видели! – обрадовался Скороход. – Четырнадцать месяцев в тылу, когда на фронте кровопролитные бои! Мне бы половину твоего хватило за всю войну. Вот отоспался бы...

– Вот, вот, – без прежнего, однако, азарта сказал Желудков. – Да тебе бы трех месяцев моих хватило. Тех, что я в гнойном отделении провалялся. Когда легкие выгнивали от осколочного ранения, повеситься на спинке койки хотел.

Блондин с обгорелым лицом, молча сидевший возле Агеева, потянулся за опрокинутым на траве стаканом и сказал с укором:

– Да будет вам, нашли из-за чего браниться! Давайте еще нальем. Хомич, чего спишь?

– Я всегда пожалуйста, – встрепенулся Хомич.

– Не одни мы воевали. Вот и товарищ, наверно, тоже. Извините, не знаю вашего имени-отчества, – вежливо обратился сосед к Агееву, и левая щека его странно болезненно напряглась.

– Да просто Агеев.

– Были на фронте или в партизанах?

– И на фронте, и в партизанах, – сказал Агеев. – Везде понемножку.

– Ну, на этой войне и понемножку можно было схлопотать хорошенько. Я вон за полгода четыре танка сменил. После четвертого уже не успел – война кончилась.

– Горели?

– И горел, и подрывался. Всякое было.

– Командиром или механиком? – поинтересовался Агеев.

– Он у нас по механической части, – сказал Желудков. – И теперь шоферит в «Сельхозтехнике».

– Значит, пошла впрок фронтовая выучка, – сказал Агеев. Желудков подхватил:

– И Скороходу вон тоже пригодилась. Да еще как! До редактора газеты дошел. И теперь вон нештатный в областной газете.

– А тебе завидно? – глянул на Него Скороход.

– А мне что! Моя специальность после войны ни к чему. Я – куда пошлют. Где только не был...

– А теперь где? – спросил Агеев.

– Теперь бондарным цехом командую. В промкомбинате. У меня же и Семенов работал. До последнего своего дня. За станком и помер – клепки спускал.

– Я знаю, – сказал Агеев. – Тоже человек трудной судьбы. Кое-что рассказывал.

– Наверно, не все. А как он восемь лет белых медведей пас, не рассказывал?

– Этого нет.

– Этого уже не расскажет. Так и унес с собой.

– Каждый человек что-то уносит с собой, – сказал Скороход со значением. – Человек – это целый мир, писал Хемингуэй.

– Может, и хорошо, что уносит, – буркнул Желудков.

Напротив недовольно завозился Евстигнеев.

– Нет, я не согласен. Нечего уносить. Если ты человек честный, приди и расскажи. Коллектив поймет. И поможет.

– А что если на душе такое, что не поймет? И не поможет? – сказал Желудков.
– Тогда прокурор поймет, – осклабился Хомич. – Этот самый понятливый.
Евстигнеев насутился и с раздражением выговорил:
– Ты не скалься, Хомич. Я дело говорю, а ты свои шуточки. Хороший коллектив всегда поймет. Даже если в чем и оступился. И поможет исправиться.
– Вон как Семену, – тихо бросил Хомич.
– А что Семену? Семен и не думал исправляться. Он знал свою соску сосать.
– Вот оттого и сосал, – сказал Желудков. – Что никто не помог, когда надо было. Он же у тебя рекомендацию просил? Просил. Ты ему дал?
Евстигнеев искренне удивился.
– Как я ему дам? Он из пивной не выходил, скандалил с женой. На общественность не реагировал, а ему рекомендацию?
– Э, это уже потом – пивная и все прочее, – сказал Желудков. – А тогда он еще и не пил. Тогда он дом строил, вот этот самый. И ты не дал потому, что у него там в деле что-то значилось. С войны.
– Ну хотя бы и так. Хотя бы и значилось. Тем более я не мог дать.
– Бдительный!
– Конечно! Разве можно иначе? Это мой долг.
– Однако ж Шароварову дал. Молодой, активный. Под судом и следствием не был, на оккупированной территории не проживал. Не пьет, не курит. Лихо командует райзагом. А что он тогда уже спекулятивные махинации проворачивал, об этом же в деле не написано. Вот ты и дал. А через год его исключили и судили. И что ты? Покраснел?
– Знаете, товарищ Желудков, вам больше пить сегодня нельзя. Я запрещаю, – подумав, сказал Евстигнеев и решительно сгреб бутылку с остатками водки. – Довольно! Вы шельмуете старшего офицера. Я все-таки подполковник, а вы капитан!
– Уже снят с учета, – неожиданно улыбнулся Желудков. – Так что ты опоздал.
– С чем опоздал?
– С нравоучением!
– Во дает! – восхищенно ухмыльнулся Хомич. – Во дает!
– Ничего подобного! Это уже пьянка! Вы забылись, зачем собрались.
Сказав это, Евстигнеев с усилием поднялся на ноги и с бутылкой в руке направился к изгороди.
– Оставь хоть бутылку, будь человеком! – крикнул вслед Желудков, но Евстигнеев не оглянулся даже. Посидев немного, вскочил и Скороход, поспешил за подполковником. Желудков пересел на его более удобное место. – Ну и черт с ними! Покурим на природе. Прохоренко, дай сигарету, – сказал он почти спокойно.
Они закурили втроем, помолчали. Пряча в карман сигареты, Прохоренко рассудительно заметил:
– Не надо было его задевать. Давал, не давал, кому давал – наше какое дело?
– Ему-то до всего есть дело. Больно активный.
– Да он безвредный, – вставил добродушно Хомич. – Шебуршит да все без толку. Пошел со Скороходом в шахматишки сразиться.
– Да ну их, этих щелкоперов! – снова повысил голос Желудков. – Терпеть не могу. И на войне не терпел. За что их уважать? Бывало, если какая операция намечается, сроки ведь ужатые, так эти штабы на бумаги все время и угробят. Месяц с бумажками возятся, графики чертят, перечерчивают, утверждают и согласовывают. Потом ниже спускают, опять чертят и согласовывают и так далее. А придет наконец к исполнителю, в полк или батальон, времени и не остается. Комбату некогда на местность взглянуть, где наступать будут, до атаки час светлого времени остается. Ну, это правильно?
– Бумаги, они и на войне – главное дело, – задумчиво проговорил Прохоренко.
Они, однако, успокаивались. Желудков уже не зыркал вокруг напряженным взглядом, Прохоренко был невозмутимо спокоен, а на пожилom, иссеченном морщинами лице Хомича

то и дело проглядывала почти озорная усмешка.

– И этот Скороход уже два года на пенсии, а гляди ты, гонору сколько! В воздушной армии воевал! – вспомнил Желудков.

Прохоренко сказал:

– Теперь что! А вот посмотрел бы ты на него, как он демобилизовался в пятьдесят пятом. Голубой кант, фуражка с крабом, все летчиком представлялся. Авторитет был, ото! На все местечко один летчик. Устроился в областную газету собкором. Все об успехах писал. А заголовки какие давал: «На фронте уборочной страды», «Битва за урожай», «Атака на бесхозяйственность». Видал он хоть раз в жизни атаку...

– Ладно, ну их! – махнул рукой Хомич. Но теперь, хотя и запоздало, захотелось, видно, высказаться Прохоренко.

– На фронте под Сандомиром один такой приехал в бригаду. Дали ему в штабе списки отличившихся, а он говорит: «Хочу сам в танке поехать». В атаку, значит. Ну, комбат говорит: «Прохоренко, возьмешь корреспондента». А у нас был некомплект, радист выбыл. Правда, и рация не работала, только пулемет. Так что свободное место. Надел он шлем, устроился на сиденье, поехали. Немцы как начали болванками лупить, только окалина от стенок брызжет, пассажир наш сжался, растерялся, только что «мамочка» не кричит. А потом нас подбили на минном поле, возле первой траншеи. Хорошо, не загорелись, но моторную группу разворотило здорово. И этот друг первым к нижнему люку. Лейтенант Огурцов говорит: «Стой, сиди!» Потому что куда же лезть, из траншеи враз срежут. А так, может, еще что-нибудь высадим... Еще по нас несколько раз болванками врезали, проломил броню, здорово башнера ранили. Башнер кровью истекает, а мы сидим. Потому что некуда лезть – верная гибель под таким огнем, да и этого друга едва удерживаем. Башнер к вечеру помер. Досидели до ночи, по одному выбрались, кое-как доползли до своих, и пассажир наш прямиком в санбат – нервное потрясение. А меня утречком в другую «тридцатьчетверку» пересадили, опять рычаги в руки и – вперед, за Родину!

– Это что, танк – все-таки броня, защита, – обнажая нездоровые зубы и сгоняя с лица наивную улыбку, начал Хомич. – А вот как у нас, в партизанах... Весной сорок четвертого, в прорыв, ага. Прорвались, да не все. Некоторые не успели – захлопнул он коридор тот. И взял в колечко. Да как начал по пуще гонять, разрывными крестить, только треск стоит. Ну, отстреливались, бегали, совались туда-сюда, и осталось нас всего ничего, два десятка ребят, и почти все ранены. Ночью, когда немного утихло, пересидели в болоте, утром выбрались – куда деваться? А он цепями пущу прочесывает, все обстреливает, куда не долезет – огоньком! Ну, нашлись у нас некоторые, говорят: на елку залезть. Елки густые, снизу ни черта не видать, вот ребята и позалазили, ремнями к стволам попривязывались, чтоб не упасть, значит долго сидеть собрались. Я тоже забрался повыше, привязался, сижу, покачиваюсь на ветру – хорошо! Но, слышу, уже затрещало, идет, значит, цепь. И тут, слышу, овчарки лают. Э, не дело сидеть! Кувырком вниз, еще бок до крови содрал, и дай бог ноги! Бегал от тех цепей и так и этак, опять ночь в болоте отсидел, под выворотиной прятался, возле дороги в пыльной канаве полдня пролежал, кое-как выбрался. Когда оцепление сняли. Потом на фронт попал, в Восточной Пруссии отвоевался. В сорок пятом осенью по первой демобилизации прихожу домой (я же из Ушачского района), слышу, как-то говорят: в Селицкой пуще скелеты на елках сидят. Подвернулся случай, заехал. Действительно, воронье вьется, каркает, пригляделся – знакомые места. А на елках беленькие косточки сквозь ветки виднеются, ремнями попривязаны, некоторые с винтовками даже. Снимали потом, хоронили...

– Ну а как же он их все-таки увидел на елках? – спросил Агеев.

– В том-то и дело, что он ни черта не увидел – овчарки! Та стерва учует, подбегает к елке и облаивает. Ну автоматчик подходит и – очередь вверх по стволу. Ну и крышка. Которые сразу убиты, которые ранены, сами потом доходят. Но привязаны, не падают. За полтора года воронье обглодало...

– Да-а-а, – протянул Желудков. – Было дело! Да ну его к черту! Вот прорвалось из-за

Семена этого. А так я и вспоминать не хочу... Хорошая погода, рыбалка. Скоро грибы пойдут.

– А по грибы туда и теперь не ходят – все заминировано. Сколько после войны поподрывались! – не мог отрешиться от своих воспоминаний Хомич.

Агеев тихо сидел на траве, рассеянно слушал то взволнованно-сердитые, то умиротворенные временем невеселые речи ветеранов, и внутри у него поднималось вроде бы даже завистливое чувство к ним – ему такой войны не досталось. Ему досталась другая, о которой и рассказать так вот откровенно, как рассказывают эти люди, не сразу решишься. Он и не рассказывал никому, долгие годы носил все в себе. Разве жене поведал кое-что из своей недолгой партизанской жизни, в которой у него было мало интересного, так как на задания он не ходил – плавил на базе тол, готовил взрывчатку. После освобождения в сорок четвертом его как специалиста направили в артснабжение, где он света не видел за штабелями мин, снарядов, патронов, гранат, погрузкой и выгрузкой, отчетностью и учетом. А сколько передряг было с транспортом, которого всегда не хватало. Но это обычные хлопоты, которых полно в жизни любого снабженца или хозяйственника. Хотя бы и на войне.

– Вы уже на пенсии? – спросил Агеев у Хомича, который показался ему тут самым пожилым, кроме разве что Евстигнеева. Хомич несогласно сдвинул редкие брови.

– Работаю! Вообще мог бы идти, но знаете... Гроши надо.

– Он у нас многосемейный, – сказал Прохоренко. – Отец-герой!

– Ну. Пять дочек, восемь внуков. Приходится работать, помогать надо.

– А что, у дочерей мужей нет? – спросил Агеев.

– Есть, почему! Одна только в разводе. А так зятя, все честь по чести. Когда летом съедутся – целый взвод. Аж гул в доме стоит. Ну и надо дать каждой: сальца, колбас, деревенского масличка – городские теперь это любят. С грядок там чего. Ну, яблок, варенья, грибков. А потом надо и послать! Одна кооперативную квартиру строит, другая машину покупает. Третья продащицей в Менске работала, недостача вышла, надо покрыть, не то в тюрьму сядет. Все надо!

– Понятно, – раздумчиво сказал Агеев, а Желудков констатировал просто:

– Паразиты они у тебя, Хомич! И дочки, и зятя твои.

Тень озабоченного несогласия пробежала по добродушному лицу Хомича.

– Ну почему паразиты? Теперь у всех так. Тянут из деревни в город. Что только можно. Вон у Прохоренки один сын, а что он, меньше моих дочек тянет?

– Не меньше, – тряхнул головой Прохоренко. – Третья жена, алименты, что ж остается? Приходится.

– Нам кто-нибудь так помогал?

– Ну мы другое дело, – сразу помрачнев, сказал Прохоренко. – У нас другая жизнь была. Можно сказать, не было никакой. Одна погибель! Пусть теперь эти живут. Пока войны нет.

– Во-во! Пока войны нет, – подхватил Хомич. – А то как ляснет этот атомный гриб, так ничего и не останется. Говорят, одни муравьи только выживут. И то неизвестно, наука еще сомневается.

– Ну ляснет, так ляснет, тут уж от нас ничего не зависит, – заговорил Прохоренко. – Но я так думаю, пока мы того дождемся, половина с ума сойдет хотя бы от этого живодерства в эфире. И еще от водки. Вот, слыхали, вчера Грибанов сына из ружья уложил, шофера с нашей автобазы.

– Этот пенсионер? Что в райфо работал?

– Тот самый. Сын выпивке воспротивился, похмелиться не дал. Ну и тот в него из ружья! А потом в себя из второго ствола.

Они все замолчали, пораженные этой новостью, и Агеев минуту невидяще смотрел на овражные дебри. Овраг был живописен, как и сорок лет назад, а может, и больше того – густые, едва тронутые предосенней желтизной кроны старых деревьев замерли в вечерней

тиши, каждая по себе в окружении молодняка и мелколесья; солнце светило уже сбоку, ярко высвечивая противоположный склон до изгиба оврага, эта же сторона, крутая и высокая, почти вся лежала в тени. Вверху, зашуршав жесткой листвой в нависших над ними дубовых ветвях, завозилась какая-то пичужка, пискнула раз-второй и улетела в овраг. Недолго помолчав, Прохоренко сказал:

– Я так думаю, не доживем мы до этого гриба, и спасибо за то. Вот лег в землю Семен, так же скоро ляжем и мы. И хорошо! Все эти страсти будут без нас. Еще нам позавидуют.

– Оно-то так, – вздохнул Хомич. – Внуков жалко!

– Вот это да, это конечно...

Желудков вдруг подхватился, отряхнул измятые брюки.

– Ладно! Ну вас с вашими разговорами. Послушаешь, уже сейчас завидовать станем Семену. Надо еще выпить!

Ни с кем не простившись, он полез через изгородь в огород, и Прохоренко с Хомичем переглянулись.

– А знаешь, дело говорит. Что значит пулеметчик! – подморгнул одним глазом Хомич и тоже поднялся. За ним встал длинноногий поджарый Прохоренко, ненавязчиво сказал Агееву:

– Может, пойдем? Еще примем по одной за Семенову память?

Агеев развел руками.

– Да нет, знаете... Я не того. Не в коня корм!

– Ну как хотите.

– Спасибо, – сказал он. – И дай бог вам здоровья, дорогие люди. И немножко еще задержаться на этом свете. Я тут, знаете, над овражком пройду. Погода хорошая...

– Ну что ж, оно можно, – согласился Хомич.

Они распрощались, торопливо подав Агееву широкие руки с твердыми узловатыми пальцами, и полезли в огород. Агеев проводил их вдруг затуманившимся взглядом и не спеша пошел над оврагом вдоль стены мелколесья под большими деревьями в поисках какой-нибудь стежки. Должна же она быть тут где-нибудь, эта стежка, которая, думалось ему, еще раз приведет его к пустующему подворью Барановской – сарайчику, чердаку и Марии, к его безвозвратно ушедшему прошлому...

Лежать было чертовски неудобно – мало того, что твердо на неровной каменной кладке пола, так еще и некуда было вытянуть ноги, которые все время упирались в стену. Агеев не знал, что это было – карцер, изолятор или просто тесный закуток в церковном подвале, куда его спустили ночью два молчаливых конвоира с фонариком. Тут никого больше не было слышно, не доносилось ни единого звука извне, и Агеев подумал, что он тут один. Сначала он сидел, прислонясь спиной к холодным камням стены, потом встал, постоял, снова сел. После всего пережитого за день властно давила усталость, хотелось лечь, но лечь можно было, лишь поджав ноги. В таком положении ноги нестерпимо ныли в коленях, особенно левая больная нога, он беспрестанно ворочался, двигал ими, болезненно ища пространства, которого тут не было. Мучаясь, он ждал, что его позовут на допрос или расправу, ведь должен же Дрозденко попытаться что-то из него вытянуть, прежде чем его расстрелять или повесить. Но шло время, нестерпимо ныли на полу его кости, от усталости звенело в ушах, а за ним не приходили. И он думал, терзался в сомнениях, доискивался до причин своего провала, хотя доискиваться он мог лишь путем догадок и предположений.

Главное и самое ужасное для него было, однако, ясным: Мария попалась. Они ее взяли, по-видимому, с ее роковой ношей. Но как они узнали о нем? Выдала Мария – проговорилась, назвала? Конечно, возможностей добиться признания у них было множество, тем более от этой неопытной зеленой девчушки, наверное, своих сил для того они не жалели. Но все-таки... Все-таки он не хотел верить, что она так скоро выдаст его. Она не могла его выдать, потому что она любила его, и такой удар с ее стороны был бы для него страшнее провала, хуже гибели.

Однако и ничего другого он придумать не мог. Об их отношениях не знала ни одна

душа в этом местечке – ни соседи, ни полицаи, ни даже свои. Как полиция могла связать ее с ним? Да к тому же спустя несколько часов после ее задержания?

Наверное, они там обыскивают усадьбу, переворачивают все вверх дном. Потрудиться для этого им придется немало, усадьба большая. Но что они найдут? Разве пустой мешок из-под тола? Его документы? Да еще пистолет... Пистолет он, конечно, зря спрятал так близко, все равно им не воспользовался, а найдут, будет улика. Хотя, как ни странно, теперь он особенно не переживал из-за улик, почему-то все стало ему безразлично, он чувствовал, что главное и самое страшное уже свершилось и ничего поправить нельзя. Теперь только бы не очень пытали, только бы хватило силы и воли достойно закончить жизнь.

Еще его беспокоила судьба Молоковича, не провалился ли и он на этой передаче, если, не дай бог, Марию схватили на станции, вблизи кочегарки? Могли взять обоих. Тогда, может, и его зацепили через Молоковича, все-таки унюхать про их связь полиции не составляло труда. Могли догадаться. Но где Молокович? Еще на свободе или тоже сидит? Или, может, погиб? Все-таки у него был пистолет, и если не при себе, то, наверное, поближе, чем у Агеева. А решимости у этого лейтенанта хватало, это Агеев понял давно.

Как-то, однако, незаметно для себя Агеев задремал на полу, забылся в неудобной, скрюченной позе и тотчас проснулся, услышав негромкую возню за дверью. Не было сомнений, шли к нему, и он сел, преодолевая судорожную ломоту в ногах, с усилием расплющил глаза. В камере стало светлее, откуда-то сквозь крохотное окошко под потолком проникал сумрачный свет утра. Дверь растворилась, но он продолжал сидеть, еще не понимая, что от него требуется.

– Ну!

Это прозвучало спокойно и в то же время со сдержанной злой угрозой, давшей Агееву понять, что надо выходить. Миновав полутемный подземный переход, они вышли к замшелым ступенькам, и он медленно, с усилием стал подниматься из подвала.

Тут уже было светло, наверное, только что наступило утро. В небе быстро неслись тяжелые, набрякшие дождем облака, дул сильный ветер, мелко рябил мутную поверхность лужи у входа. Поодаль над литыми чугунными крестами нескольких надгробий высились деревья – несколько могучих кленов с поредевшей желтой листвой в черных ветвях; такой же листвой была усыпана мелкая зеленая травка в углу каменной церковной ограды. Пошатываясь от слабости, Агеев прошел краем лужи к узенькой калитке под стрельчатой кирпичной аркой. Провел ночь в церкви, не без иронии подумал он, и не помолился... Жаль, не умея, не научили. А, наверное, было бы кстати в его положении...

За калиткой открывалась просторная, вся в мелких лужах и грязи, наверное, базарная местечковая площадь с лошадиным пометом и остатками растрясенного после базарного дня сена. Напротив, возле телеграфного столба с подпоркой стояла телега, в которой неподвижно сидела старая женщина, а подле, наверное, готовясь поудобнее усесться, хлопотала тепло и толсто одетая молодуха с красным лицом; она заметила вышедших из церкви и испуганно уставилась на них, разинув рот. Агеев оглянулся на конвоира, это был, кажется, тот самый полицейский, что привел его сюда ночью, тонкий молодой парень со смуглым восточным лицом и усиками, одетый в поношенную красноармейскую шинель со следами споротых петлиц, он как-то загадочно, с затаенным страхом или тревогой взглянул на Агеева, и тот тихо спросил:

– Куда теперь?

– Прямо, – кивнул конвоир, для верности двинув перед собой стволом русской винтовки.

Прямо – значит, через площадь и небольшой сквер из молодых, почти уже обнажившихся тополей к приземистому зданию за ним, школе или районной больнице. Теперь там, разумеется, не больница".

Да, это была не больница, до войны здесь, скорее всего, размещалась школа, а теперь, судя по множеству шнырявших по крыльцу и в коридорах мужчин с оружием, обосновалась полиция. На Агеева тут не обращали особенного внимания, хотя все, кто встречался на его пути, с недобрый холодком во взглядах провожали его, пока он быстро шел впереди

конвоира за угол коридора, где было тише и виднелась отдельная дверь в стене. Прежде чем войти в нее, конвоир негромко постучал и приоткрыл дверь.

– Введи, Черемисин. А сам подожди в коридоре...

Агеев вошел в помещение и остановился. По всей видимости, тут был кабинет директора, преподавателя географии – с застекленным шкафом у стены, глобусом на нем. В простенке между двумя окнами висела большая физическая карта Европы, на фоне которой, грозно набычась, стоял начальник полиции Дрозденко. Он курил и при входе Агеева, нервно пожевав сигарету в зубах, швырнул ее на пол.

– Ну, давай договоримся. Будем играть в жмурки или все сразу, начистоту? Подумай, что для тебя выгоднее.

– Мне нечего думать, – нарочито обиженно сказал Агеев. Все-таки ему не было известно, что они дознались о нем, в чем обвиняют.

– Ах, нечего думать?! – удивился Дрозденко. – Очень даже напрасно. Я бы на твоём месте крепко задумался. Есть над чем.

Он взялся за спинку стула, но, прежде чем пододвинуть его и сесть, со значением посмотрел на край большого стола, где среди папок и разных бумаг лежали какие-то вещи. Взглянув туда, Агеев сразу смекнул, что они поработали ночь не даром, хорошо перевернули усадьбу Барановской. На столе лежала аккуратно сложенная его гимнастерка с тремя кубиками в красных петлицах, на ней сверху его широкий ремень, документы, бумаги, командирское удостоверение и кандидатская карточка, какая-то книга без переплета. Пистолета, однако, там не было. Дрозденко небрежно кивнул.

– Ну, узнаешь? Твои вещи?

Агеев спокойно пожал плечами.

– Гимнастерка моя. Документы, наверно, тоже.

Дрозденко выдвинул стул и демонстративно приподнял с него злополучную корзину с красными тряпичными ручками.

– А сумочка вот эта?

– С какой стати? Впервые вижу.

– Значит, не признаешь?

– Не признаю, – холодно сказал Агеев.

– Хорошо, хорошо. Признаешь! – скороговоркой пообещал Дрозденко и, схватив сумку, выдрал из нее черную обложку, которой Агеев вчера крепил дно. – А вот эту обложку?

Через стол он бросил ему сложенные створки обложки, Агеев, уже осененный скверной догадкой, повертел ее в руках, распахнул, сложил снова.

– Нет.

– Сукин ты сын! – зло объявил Дрозденко. – Может, ты и эту книгу тогда не признаешь? Вот эту! С оторванным переплетом! Вот!

Дрожащими от злобы руками он совал ему через стол третий том Диккенса, и Агеев понял, что пропал. Они сличили эту обложку с книгами на чердаке, и, хотя на обложке и не значилось никакого названия, подобрать для нее книгу, наверно, не составляло труда. Надо было ее вчера уничтожить или выбросить подальше от усадьбы. Но вот не додумался, а теперь...

– Так что? Будешь дальше отпираться или начнем деловой разговор?

Он промолчал, и Дрозденко, выждав, вложил книгу в обложку, бросил на гимнастерку.

– Чего вы от меня хотите? – спросил зло Агеев. Кажется, с книгой отпираться было бессмысленно, но и не признаваться же, в самом деле.

– Взрывчатку Марии ты дал? – спросил Дрозденко и в упор пронизал его злым остановившимся взглядом.

– Какую взрывчатку? Какой Марии?

– Ах, ты не знаешь, какой Марии! Черемисин! – рявкнул начальник полиции и, когда дверь из коридора приотворилась, приказал: – Введи ту!

Сердце у Агеева предательски вздрогнуло, в глазах потемнело, и он весь сжался в скверном предчувствии. Однако Черемисин медлил, наверное, бегал куда-то, и Дрозденко с искренней обидой принялся ругать Агеева:

– Эх ты, сука! А я тебя покрывал! Заместителем хотел сделать. А теперь ты сдохнешь и пожалеть будет некому.

– Вполне возможно, – медленно овладевая собой, сказал Агеев. – Если вы будете так... Без разбору.

– Без разбору? Мы разберемся, не беспокойся...

Дверь беззвучно отворилась, и в кабинет тихо вошла милая его Мария, один взгляд на которую заставил Агеева внутренне съежиться. Теплой вязаной кофты на ней уже не было, из-под разодранного цветного сарафанчика остро торчали голые плечики, покрытые ссадинами и синяками от побоев, на левой скуле темнело багровое пятно, опухшие губы сочились кровью. Быстрым взглядом она окинула кабинет, чуть задержала взгляд на Агееве, ничем, однако, не обнаруживая своих к нему чувств, и выжидательно уставилась на Дрозденко.

– Ну, узнаешь ее? – спросил начальник полиции.

– Не припоминаю.

– Не припоминаешь... А ты? – кивнул он Марии.

– Я припоминаю. Это сапожник, что у Барановской жил, – чуть дрогнувшим голосом сказала Мария и замолчала, вся в настороженном внимании.

– Встречались?

– Однажды ремонтировала туфли. Вот эти, – Мария чуть шевельнула испачканными в грязи носками знакомых ему лодочек.

– Ну, мало ли я кому ремонтировал! Всех не упомяну. Может, и ей ремонтировал, – с деланным простодушием сказал Агеев.

– Ремонтировал и завербовал! Эту вот дуру!! – выверился на обоих Дрозденко. – Толу ей нагрузил! Неси на станцию! Подумал, куда посылал? На смерть посылал!..

– Я никого никуда не посылал! – как бы возмутился Агеев.

– А кто посылал? Кто?

– Я же сказала вам, – быстренько вставила Мария. – Дяденька один попросил на базаре отнести, сказал – мыло. Что, я знала?..

– Молчать! – взревел Дрозденко, но было поздно. Агеев уже понял, к кому относились эти слова Марии, и радостно сказал в мыслях: молодец, значит, не выдала!.. Значит, Мария не выдала, теперь это для него было важнее всего остального. Дрозденко тем временем подскочил к Марии, крепким большим кулаком помахал перед ее разбитым лицом.

– Ты мне помолчи! С тобой мы еще разберемся, потаскуха!

– А со мной нечего разбираться! Будете избивать, я вам ничего не скажу, – выкрикнула она с ненавистью и таким гневом в глазах, что Агеев испугался, будет и хуже.

– Скажешь! – просто пообещал Дрозденко. – Скажешь!

И с наслаждением, не торопясь, звучно ударил ее по одной и по другой щекам.

– Подонок! – только и крикнула она в ответ.

– Черемисин! – невозмутимо позвал Дрозденко. – Увести!

Из двери выскочил Черемисин и схватил Марию за руку. Агеев видел, как она пошатнулась и, сделав два шага, скрылась в коридоре, навсегда исчезнув из его жизни и, возможно, из жизни вообще. Агеев медленно приходил в себя, главное он уже понял: Мария его не предала, произошло что-то другое. Или предал кто-то другой.

– Ну, продолжим разговор, – невозмутимо сказал Дрозденко, заходя за стол. – Как солдат с солдатом. Без нервов и истерики. Скажи, почему ты меня водил за нос? Я же для тебя хотел хорошего. Или ты, дурья твоя башка, не понял? Или ты привык при Советах отвечать подлостью на хорошее? Что молчишь, отвечай!

Агеев молчал. Для того чтобы продолжать такой разговор, следовало успокоиться, а внутри у него все еще болезненно вибрировало. Его душили гнев и обида – от своей

беспомощности, от невозможности защитить Марию. Ее избили, изувечили, оскорбили и унизили почти на его глазах, а он должен был напускать на себя безразличие и ничем не мог помочь ей. Это было унижительно и граничило с подлостью. А этот живодер еще вызвал на дурацкий разговор о неблагодарности...

Дрозденко опять закурил свою сигарету, плюхнулся на стул за столом.

– Учти, у меня мало времени. У нас вообще мало времени. Пока в это дело не вмешалась СД, мы еще можем кое-что сгладить. Но при условии полной откровенности с вашей стороны. А вмешается СД, тогда ваша песенка спета. Тогда вас ничто не спасет.

«Понятная песня, – подумал Агеев. – Забрасывает надежду».

Нет, пожалуй, надеяться уже не на что. С этой книгой они его прихлопнули основательно. Тут он промазал грандиозно и, кажется, за это поплатится жизнью. Но и Мария тоже. Хотя бы удалось как-нибудь оттянуть время...

– Видишь ли... А нельзя ли сесть? У меня ведь нога...

– Садись. Вон бери стул и садись.

Агеев присел на один из двух стульев, стоявших у стены напротив стола начальника.

– Тут такое дело, – напряженно соображая, начал он. – У меня однажды ночевал человек. Я ведь жил в сараюшке, наверно же, вы там видели, на топчане. А он полез на чердак. Назвался знакомым хозяйки...

– Так, так... Ну? – нетерпеливо поторопил его Дрозденко. – Какой человек? Как фамилия?

– Не назвался. Сказал, из деревни.

– Из какой деревни?

– Не сказал. Я не спрашивал.

– Не спрашивал, а пустил! Да знаешь ли ты, что на этот счет есть приказ полевого коменданта. За предоставление ночлега без ведома власти расстрел.

– Не знал. Я же нигде не бываю, приказов не читал.

– Ну а дальше?

– Он утром ушел. Может, он и брал книгу.

– Врешь! – ударил кулаком по столу Дрозденко. – Врешь! – крикнул он и вскочил со стула. – Взрослый мужчина, средний командир, а выкручиваешься, как подлая сука! Совести ты не имеешь, простого солдатского мужества. Трусишь, как пес! Ведь связан с лесом, принимал оттуда посланцев. Оттуда и тол. Для диверсий на станции!

Агеев спокойно выслушал эту гневную тираду Дрозденко и усмехнулся. Этот подонок еще взывает к чести и уличает его в отсутствии совести. Надо же! Агеев слегка удивился. Он уже начал успокаиваться после ухода Марии и почувствовал, что, несмотря на показной гнев, все-таки у Дрозденко не было полной уверенности в своих крикливых словах, все-таки в его душу, кажется, закралось сомнение. Для начала это было неплохо, и он, улыбнувшись, сказал:

– Конечно, ты можешь думать, как тебе угодно. Как проще! Но вряд ли так будет лучше для пользы дела.

Дрозденко, похоже, опешил.

– Для какого дела?

– Для вашего же дела. У меня-то какое дело? Я сапожник.

Дрозденко уселся за стол, большой пятерней беспорядочно взьерошил темную чуприну на голове.

– Скажи, где ты с ней снюхался?

– С кем?

– С Марией.

– И вовсе я с ней не снюхался. Я даже не знаю, что ее зовут Мария.

– А сумка? – опять насторожился Дрозденко.

– Не знаю я этой сумки. Впервые вижу.

– Тэ, тэ, тэ! – передразнил его начальник полиции. – Вот на этой сумочке она и

погорела. И ты вместе с ней тоже. Отвертеться вам не удастся.

– Что ж, – вздохнул Агеев. – Раз вы так решили...

Дрозденко с сигаретой во рту перебрал какие-то бумаги на столе, отыскал исписанный лист.

– Опиши внешность того, кто ночевал.

«Ага! – радостно подумал Агеев. – Все-таки клюнул! Не мог не клюнуть...» И, напрягая воображение, он начал описывать.

– Значит, так. Был вечер, моросил дождичек. Он и постучал, я открыл. Сказал: от Барановской.

– Так и сказал: от Барановской? – недоверчиво, сквозь дым покосился на него Дрозденко.

– Так и сказал. Я еще спросил: как она? Он говорит: в порядке.

– А где в порядке?

– Этого не сказал.

– Какого примерно возраста?

– Ну так, среднего, – медленно говорил Агеев, вдруг сообразив, что, возможно, они начнут добиваться от Марии сведений о дядьке, давшем ей корзину с «мылом». Вот если бы ее показания совпали с его... Видно, для этого надобно описывать ночлежника как можно неопределеннее. – Знаешь, было темно. Но, кажется, среднего.

– Во что одет?

– Одет был в какую-то куртку, то есть поддевку или, возможно, плащ...

– Так плащ или куртку? – не стерпел Дрозденко. Он уже принялся записывать его показания и, видно, не знал, как записать.

– Черт его, трудно было рассмотреть. Если бы знать...

– А обут как?

– Обут вроде в сапоги. Или, может, ботинки...

– Не лапти?

– Может, и лапти... Хотя нет, не в лапти.

– Так сапоги, ботинки или лапти? Что записать?

– Вроде ботинки. Было плохо видно...

Дрозденко швырнул на стол карандаш.

– Говно ты, а не свидетель. Ни черта запомнить не мог. Или сказать не хочешь, выкручиваешься?

– Я не выкручиваюсь.

– Ну, а разговаривал он как? По-русски, по-беларусски?

– Смешанно, – сказал, подумав, Агеев. – Слово так, слово этак.

– Поимей в виду, – строго сказал Дрозденко. – Допустим, ты кого-то покроешь, кого-то уведешь из петли. Но тем самым ты поставишь под петлю другого. Возможно, невинного! Ты думал об этом, давая свои показания?

– Я никого не покрываю. Мне некого покрывать, – сказал Агеев и замолчал.

Тут, пожалуй, Дрозденко был прав, подумал Агеев, такая опасность существовала. Сам того не желая, он мог кого-то и сгубить. Но как тогда ему вывести из-под петли ту, над которой эта петля нависла вплотную? Вот сволочная ситуация, думал Агеев: не погубив одного, не спасешь другого.

– Вот что! – помедлив, сказал Дрозденко. – Мы будем копать. Но ты особенно не надейся, на тебе петля! Только еще не зашморгнулась. Еще из нее можно выскользнуть, если во всем чистосердечно признаться. И всех выдать. Всех ваших сообщников. Которых ты покрываешь. И которые тебя покрывать не будут, можешь быть уверен. Они не дураки. Особенно там, в СД. Там переломают кости, и все откроется. Как на ладошке. А потом всех в яму.

– Что ж, спасибо и на том, – горестно вздохнул Агеев. – Только я тут ни при чем. Да и Мария тоже.

– Считаешь, и Мария тоже?

– Конечно, ни при чем. Обдурили на базаре. А она что, девчонка.

– Утверждаешь?

– Что утверждать? И так ясно, – сказал он и поглядел во вдруг загоревшиеся глаза Дрозденко. Начальник полиции живо вскочил за столом.

– Ага! Вот-вот! Вот этого я и ждал. Когда ты начнешь ее выгораживать. Значит, она с тобой! И ты ее выдал! И себя тоже!

– Да я ничего, – поняв, что допустил оплошность, с деланным спокойствием сказал Агеев. – Что мне Мария...

– Нет не что! Не что! Ты с ней был в связи. Ты спал с ней! Где, скажи, она месяц скрывалась? – во все горло орал перед ним Дрозденко, и Агеев думал: ударит! Но не ударил. Агеев судорожно сглотнул слюну.

– Зря разоряешься, начальник, – однако, твердо заметил он. – Не там роешь!

– Я знаю, где рыть! Теперь мне многое ясно. А остальное сам скажешь. Мы из тебя вытянем. Черемисин!! – взревел он на весь кабинет. – На качели!..

Эти его слова о качелях Агеев вспоминал потом долго, несколько дней лежа на боку в своем темном закутке и отхаркиваясь сгустками крови. Кажется, они его хорошо изуродовали в полицейском подвале, выбили два верхних зуба, похоже, отбили печенку, так тупо и мощно болело в боку. Но где теперь не болело? Все его тело было теперь воплощением боли, он не мог безболезненно шевельнуться, вздохнуть хотя бы вполтину легкого и дышал только чуть-чуть, одними его верхушками. Лицо его было разбито до крови, левый глаз заплыл, и он ничего им не видел, из открывшейся на ноге раны, чувствовалось, плыла в штанину кровь. Очень болело и в другом боку, в области селезенки, куда его сильно ударил мордатый полицейский с пудовыми кулаками. Летая по подвалу на подвешенном к потолку ремне, едва задевая за бетонный пол носками сапог, Агеев скоро понял, что самых сильных ударов следует ожидать именно от этого полицейского в суконном самотканом френче с накладными карманами. После каждого его удара Агеев отлетал далеко в противоположную сторону, где, держась в тени возле подвального окошка, его встречал следующий. Руки Агеева были связаны сзади, подвесив к потолку, они пустили его, как маятник или качели, с той только разницей, что маятник и качели имели какой-то порядок, ритм в движении, его же гоняли, как волейбольный мяч гоняет кучка парней, от одного к любому другому. Полицейских там было четверо – усердных добровольцев из тех, что в ожидании какого-то дела толклись в коридоре школы, и их начальник Дрозденко строгими окриками руководил подвальной расправой.

– Так, Ревунов, сильнее! Сильнее бей, чего деликатничаешь, как с девкой! Во, правильно! Принимай, Сутчик!.. Так! А ну, Пахом, развернись!.. Ну, ты, так стену проломишь!

Этот мордатый Пахом мощным боксерским ударом посылал Агеева далеко вперед, и он, как рыба, хватая ртом воздух, выкручивался на ремне, изо всех сил стараясь увернуться от ударов в живот и в промежность. В противоположном углу его встречал Сутчик, субтильный паренек, с виду еще подросток, тот норовил, однако, ударить в лицо, два или три удара его не причинили Агееву большого вреда или боли, зато следующий угодил в глаз, и тот сразу стал затекать болезненной опухолью. Переставая им видеть, Агеев обвисшим мешком зигзагами летал по подвалу и жаждал только одного – чтобы все скорее закончилось.

– Стоп! – вдруг властно скомандовал Дрозденко, и он, враз обмякнув, повис на ремне. – Молчишь? Или что-нибудь скажешь?

Полицейские выжидательно замерли на своих местах, Дрозденко, четко ступая по бетонному полу на когда-то подбитых им каблуках, подошел к Агееву.

– Ну?

Руки у Агеева были скручены за спиной, сил оставалось немного, он собрал во рту сгусток перемешанной с кровью слюны и плюнул в лицо начальника полиции. Тотчас понял,

что неудачно. Дрозденко был настороже и увернулся, а он в тот же миг полетел на ремне от сильного удара в челюсть. Из рта хлынула кровь, и он через разбитые губы вытолкнул языком обломки зубов.

Дойти до церкви уже не было сил, и двое полицаев потащили его под мышки. Сознание его словно растворялось в тумане, и он запомнил только свежий ветер на площади и тревожный вороний грай на деревьях у церкви. Телогрейку с него сняли в подвале, тонкая сатиновая рубашка была изодрана в клочья, правый рукав вовсе оторван, избитым, окровавленным телом Агеев остро ощутил холод, озноб, и это ненадолго взбодрило его. Дальше уже отчетливо чувствовал, как его волокли в церковный подвал и он то и дело оступался на камнях ступенек, но полицаи не дали упасть и скоро толкнули куда-то в темную, кажется, пустую камеру. По крайней мере, здесь он во весь рост вытянулся и, кажется, потерял сознание.

Пришел в себя от нестерпимой жажды, все в нем горело в жару, сжигавшем отбитые внутренности, но было тихо и, похоже, он был тут один. Простонал, слабо пошарил рукой, наткнувшись пальцами на что-то липкое – кровь, что ли? Тонкая соломенная подстилка, казалось, вся была пропитана этой вязкой липкостью – сыростью или кровью, Агеев перевернулся на бок и сделал попытку подняться на локте. Из груди вырвался сдавленный хрип.

– Эй, есть тут кто?

Но тут никого не было, вокруг господствовали мрак и безмолвие, и он упал на бок, снова погружаясь в беспамятство.

Он долго пролежал во власти фантазмагорических видений, бреда и страдая от боли и жажды. Все время ему чудилась вода. Сначала он видел ее в кувшине, из которого жадно пил, но теплая вода была совершенно не осязаемой и нисколько не утоляла жажды. Потом он пил что-то из странной пустой посуды, затем, переждав недолгое затемнение памяти, увидел себя припавшим к теплой болотной луже, которая снова не давала утолить жажду. Жажда была постоянной, непреходящей, менялись только способы ее воображаемого утоления, и это мучительное питье лишь разжигало ее. К тому же у него был жар, и кошмарные видения доставляли ему не меньше страданий, чем неутоленная жажда.

Наверное, так длилось долго, он перестал ощущать время и, приходя в себя, не имел представления, что на дворе, день или ночь. Но вот сознание его просветлело, он явственно ощутил себя на полу и, преодолевая острую боль в боку, которая ему особенно досаждала, пошарил руками. Руки его наткнулись на стену, и он с усилием, не сразу поднялся, прислонясь спиной к холодным сырým камням. Глаз можно было не открывать, в подземелье царил темень, кажется, тут не было никакого окна, или, возможно, на дворе была ночь. Жар его вроде начал спадать, но жажда осталась прежней, казалось, сознание стало ускользать от него, и, чтобы не опоздать, он закричал изо всей силы:

– Эй, пить! Пить дайте...

Вместо крика, однако, в подземелье глухо прозвучал и задохся его сдавленный хрип, который вряд ли кто услышал. Агеев снова свалился на пол – на осклизлую подстилку из соломы.

Однако на этот раз не потерял сознания и, может, впервые подумал о своей судьбе. Хотя какая уж там судьба, думал он, остались крохи сил в изувеченном теле, и, наверное, чем они скорее исчезнут, тем лучше. В таких муках жить долго нельзя, да и незачем. Для чего жить, кому от этого польза? Разве что полицаям и немцам, которые даже на пороге смерти будут пытаться, стараясь что-нибудь из него вытянуть. «А что если?..» – робко подумал он и тотчас ухватился за свою неожиданную мысль. Мысль о самоубийстве теперь показалась ему наиболее подходящей, он провел рукой по пояснице – нет, брючного ремня у него не было, наверное, сняли в подвале, когда освобождали от подвески. Может, раздрать на полосы вышитую сорочку? Но выдержит ли ее тонкая ткань его тело? Опять же, за что зацепить? Наверное, сначала следовало найти какой-либо крюк, гвоздь в стене, решетку на окне или еще что-то. Гонимый своим разгоревшимся замыслом, он начал обшаривать руками

шершавые камни стены, ощупывая все ее выступы и впадины. Пока, однако, не попадалось ничего подходящего. Да и было низко, следовало поискать что повыше.

С усилием и дрожью в теле он привстал на коленях, больше опираясь на правое колено, так как распухшее левое плохо сгибалось, причиняя боль, пошарил над головой. Но всюду была почти ровная кирпичная стена без особенных выступов или углублений. Он не знал, в какой стороне находилась дверь, и боялся наткнуться на нее, чтобы по неосторожности не выдать себя за этим занятием. Все надлежало осуществить тайно и тихо. Но он еще не дошел до двери, как в подземелье послышались голоса, в стене напротив возникло светловатое пятнышко, оно становилось ярче, и вот с той стороны глухо стукнула, падая, дверная задвижка. Дверь отворилась. Низко над порогом сквозь закопченное стекло мерцал огонек «летучей мыши», он тускло высветил несколько пар испачканных грязью сапог. Передние из них переступили порог, и фонарь приподнялся, неярко освещая часть пола со слежалой соломой.

– Побудьте там, – бросил передний спутникам, и дверь за ним затворилась.

Это был Ковешко, который, приподняв фонарь, осветил Агеева на полу у стены.

– Да... Однако изукрасили они вас, – сказал он и вздохнул вроде вполне сочувственно.

Агеев обессиленно замер, упершись спиной в жесткие камни стены. Сочувственный тон Ковешко уже не мог обмануть его, знавшего, что может понадобится этому человеку. Но зря стараются. Он не поддастся Дрозденко, не поддастся и Ковешко, несмотря ни на какое его сочувствие. Ему уже была знакома истинная цена этому сочувствию. Однако Ковешко вроде бы не торопился раскрывать свои надобности, с которыми явился в подвал, и по своему обыкновению начал издали:

– Я вам скажу, есть в человеке такое атавистическое чувство – насладиться чужим страданием. Им обладает вообще-то каждая натура, одна в большей, другая в меньшей степени, и тут уж ничего не поделаешь – природа! Во время войны или революции особенно. Как вы себя чувствуете? – неожиданно спросил он.

– Прекрасно! – выдавил из себя Агеев и не в лад со своими чувствами выкрикнул: – Воды! Дайте воды!

Тут же, однако, подумал, что не сдержался напрасно, вряд ли стоило просить воды у этого человека. К его удивлению, Ковешко с фонарем повернулся к двери.

– Эй, там! Дайте воды...

Он снова повернул фонарь, направляя свет в камеру, осветил на Агеева. Но Агеев молчал, мучимый жаждой и непроходящей болью в боку и особенно в челюсти. Он не имел ни сил, ни желания разговаривать с интеллектуальным земляком, да еще на столь отвлеченные темы. Но, кажется, Ковешко ничего другого от него и не требовал.

– Вот ведь как получается! Несчастливая нация. Беларусины на протяжении всей своей истории исполняли чужие роли не ими написанных пьес. Таскали каштаны из огня для чужих интересов. Для литовских, для польских, для российских, разумеется. Что значит прозевать свое время, проспав свой поезд.

– Какой поезд? – не поняв, прохрипел Агеев и прикрыл единственный зрячий глаз – его поташнивало.

– Исторический. Мы его проворонили, дорогой, а поезда, как известно, не возвращаются. Обратного хода история не имеет... Вот напоите его.

Раскрыв глаз, Агеев увидел в полутьме протянутый к нему котелок и жадно припал к нему разбитыми губами. Не отрываясь, он выпил всю воду и обессиленно уронил руки. Ковешко спросил:

– Еще?

– Дайте и еще, – сказал он, подумав, что, пока есть возможность, надо напиться про запас. Потом могут не дать.

– Принесите еще, – распорядился Ковешко и, покачивая фонарем, прошелся по камере. Одним глазом Агеев проследил за тусклыми бликами на черных стенах. Нет, вроде никакого гвоздя здесь не было, окна тоже. Только в двери чернела небольшая дырка-глазок,

выходящая в темный подземный проход. – А теперь они использовали вас, – поворачиваясь от стены, продолжал Ковешко. – Чтобы таскать каштаны из европейского огня. Зачем эти никчемные плоды для беларусинов?

Агеев вдруг понял, о чем он, и с некоторым удивлением взглянул на тусклую фигуру в шляпе, косой тенью вытянувшуюся по стене подземелья.

– А вы для кого таскаете? Эти каштаны? – с трудом двигая болезненной челюстью, спросил он.

Ковешко озадаченно помолчал, прежде чем ответить, вздохнул.

– Да, вы правы. И я таскаю, – вдруг согласился он. – Что делать, такова историческая закономерность. Но я с той только разницей, что мне наградой будет жизнь, а вам, кажется, смерть. Так-то! – смиренно закончил он. – Разве это разумно?

– У каждого свой разум.

– Вот это и плохо. В судьбоносные моменты истории надо уметь подчинить свой разум логике исторического процесса.

– То есть немцам? – держась за разбитую щеку, неприязненно спросил Агеев.

– В данном случае – да, немцам. Ведь уже ясно, что им принадлежит будущее.

– А нам?

– Что? Не понял?

– А что принадлежит нам? Большая могила? – спросил Агеев.

– А мы должны приспособиться, может быть, даже ассимилироваться, раствориться в германской стихии. Если мы не хотим исчезнуть физически. Другого выхода у нас нет, – проникновенно заговорил Ковешко, явно стараясь в чем-то переубедить Агеева. Но Агееву было неприятно и мучительно во всех отношениях продолжать этот разговор, и он зло выпалил:

– Будь он проклят, такой выход. Уж лучше могила...

Ковешко промолчал, прошелся с фонарем по подземелью, снова повернулся к нему.

– А вот с могилой не следует торопиться, потому что... Потому что история склонна к неожиданностям. Иногда она поступает вопреки собственной логике и предоставляет упущенный шанс.

«Ну и ну! – подумал Агеев. – Чего добивается этот человек? И кто он? Поп? Ксендз? Полицейский? Или хитрый гестаповец?»

– Дело в том, что... Сейчас сюда явится шеф района. Он хочет на вас посмотреть. Среди немцев, знаете, разговоры: пойман с поличным, а упирается. И не просит пощады. Это, знаете, впечатляет сентиментальные германские души. Такое им в новинку.

«Значит, уже передал немцам, сволочь!» – с неприязнью подумал Агеев о Дрозденко. А говорил, что еще есть время. Но не успел схватить, как уже доложил СД, чтобы выслужиться. Ухватить свой каштан. Впрочем, Дрозденко ему мстил и из личных побуждений. За то, что Агеев его подвел, поступил не по совести. Как будто эти люди что-то понимают о совести. Качелей ему было мало, так вот поспешил передать немцам.

Теперь, конечно, его песенка спета...

Приподняв фонарь, Ковешко осветил им на луковицу вынутых из кармана часов и сказал с беспокойством:

– Да, уже десять. Так вы это, знаете, повежливее с ним. Доктор Штумбахер – человек тонкий, образованный. Работал в имперском управлении по культуре. Так что...

– Чего ему надо? Конкретно?

– Кажется, ничего. Побеседовать, познакомиться.

– Познакомиться со смертником? Пощекотать нервы?

– Кто знает, кто знает, – неопределенно подхватил Ковешко. – Если вы поведете себя подобающим образом... Или, скажем, попросите. Он обладает большой властью. Может и того... Помиловать!

Ну, все ясно, подумал Агеев. Я должен надеяться. На случай! На милость шефа района. И, конечно, вести себя соответственно. Раскаяться, дать показания. Выдать ребят и Марию.

Но ведь все равно не помилуют!

– А что, меня уже осудили? – спросил, подумав, Агеев.

– Ну, знаете, тут суд упрощенный. Ввиду военного времени, – почти дружески разъяснил Ковешко, держа перед ним закопченный фонарь, красный огонек которого едва разгонял мрак в этой просторной камере. Но вот Ковешко весь встрепенулся, поспешно обернулся к двери, видно, его слух уловил в коридоре движение, и он распахнул дверь, освещая порог. Тотчас, однако, свет его фонаря померк под ярким лучом из коридора. Шурша плащами, в камеру вошли несколько человек, яркий свет электрического фонарика из рук переднего пошарил по голым стенам и, ослепив Агеева, замер на нем. Ковешко торопливо заговорил по-немецки, пришедшие внимательно и молча выслушали. Тем временем ослепительный луч бесцеремонно ощупывал его на полу, несколько задержался на его сапогах, осветил командирские бриджи и снова ударил в глаза. Совершенно ослепленный им, Агеев не имел возможности увидеть светившего, лишь выше, под мрачным потолком едва выделялись очертания его высокой фуражки. Немец что-то произнес негромко, и Ковешко повернулся к Агееву.

– Господин шеф района спрашивает, кто вас заставил вредить немецким войскам?

– Никто не заставлял, – буркнул Агеев, и немец опять, сильно картавя, произнес длинную фразу.

– Почему вы, русский офицер, не сдались в плен, когда увидели, что сопротивление бесполезно и война проиграна? – чужим, жестким голосом переводил Ковешко. Вполуха слушая его, Агеев подумал: начал таскать каштаны его землячок.

– Еще не известно, кем она проиграна, – сказал он, и немец, выслушав перевод, тихо бросил:

– Варум?

– Почему вы считаете, что неизвестно?

– Потому что кишка тонка у вашего Гитлера.

Ковешко многословно перевел. Немец помолчал, хмыкнул и снова произнес длинную фразу, выслушав которую, Ковешко сказал «Я, я» и перевел:

– Господин шеф района говорит, что глупое упрямство никогда не украшало цивилизованного человека. Что же касается славянина, то, хотя это качество у него в крови, оно ему сильно вредит. Гораздо разумнее трезво обо всем подумать и совершить свой выбор.

– Свой выбор я сделал.

– Вы ошиблись с выбором, – сказал Ковешко.

– Это мое дело.

Немец опять что-то заговорил своим тихим голосом.

– Если вы патриот, – начал переводить Ковешко, – что в данных обстоятельствах может быть объяснимо, то вы нам должны быть благодарны. Предотвратив ваш бандитский замысел, мы казним лишь нескольких виновных. В противном случае были бы расстреляны сто заложников.

– Гундэрт цивильмэнш! – со значением повторил шеф района.

– Это вы умеете, – тихо сказал Агеев и спросил громче: – Когда вы меня расстреляете?

Они пообсуждали что-то по-немецки, и Ковешко холодно объяснил:

– Это произойдет в удобное для нас время. По усмотрению СД и полиции безопасности.

– Расплывчато и неопределенно, – сказал Агеев. – Но и на том спасибо...

Ковешко, однако, оставил его слова без ответа, все свое внимание перенес на немцев. Все время ослеплявший Агеева луч фонарика скользнул в сторону, метнулся под ноги, на порог, сапоги стали поворачивать к выходу. Агеев враз расслабился, вздохнул. Только теперь он заметил, в каком напряжении находился, внутри у него все словно вибрировало, как натянутая струна, и он сжимался от боли в боку, в ожидании неизвестно чего. Хотя чего уж было ему ждать или бояться, чего остерегаться? Он был раздавлен, избит, изувечен и ждал последнего, чего мог дожидаться, ничто, казалось, не могло его ни порадовать, ни опечалить.

Несмотря на старания Ковешко, надежды у него не прибавилось, и он точно знал, что часы его сочтены. Конечно же, живым они его отсюда не выпустят. Ну а если бы и вознамерились выпустить, куда бы он побежал? Ведь следом они пустят слух, что он их агент Непонятливый, и от него отшатнутся все. Тот же Молокович первым потребует расправы над ним и будет прав. Пожалуй, на его месте Агеев поступил бы так же. Впрочем, может, так будет и лучше, в живых ему оставаться нельзя, теперь для него единственный выход – гибель, и как можно скорее. Он попал в безжалостные жернова войны, эти жернова смелют его в порошок. Где-то он допустил ошибку, сделал не так, свернул не в ту сторону на кровавом распутье войны, и вот результат. Результат – ноль.

Так думал Агеев, но коварная военная судьба, видно, уготовила ему еще кое-что из своих сюрпризов.

После ухода шефа района он расслабился и, преодолевая боль в изувеченном теле, впал в забытие. Он не знал, сколько продолжалось это его беспмятство, но очнулся оттого, что в камере послышалась возня, появились новые люди. Когда он приподнял голову, дверь уже закрывалась снаружи, было по-прежнему темно, но рядом, болезненно постанывая, кто-то ворочился, а кто-то голосом пободрее утешал:

– Ну тихо, ну тихо... Вот так, ляг на бочок... На бочок ляг, вот так...

Голос этот был незнаком Агееву, и он снова упал на волглую соломенную подстилку, не зная, как поудобнее устроить голову – левая часть лица болела от виска до подбородка, во рту болезненно распирало язык, которому мешала израненная челюсть.

– Пить! – вдруг знакомо простонал человек напротив, и другой, что был с ним, начал тихо его уговаривать:

– Так нет же воды. Понимаешь, нет... Потерпи, сынок. Потерпи...

«Какой сынок? Почему сынок? – пронеслось в сознании у Агеева. – Это что, отец с сыном?..» Что-то знакомое почудилось ему в том стане, и Агеев насторожился. Однако он молчал, не обнаруживая себя. Теперь ему никто не был нужен, он хотел остаться наедине с собой и своей неутихающей болью. Но эти новые узники будоражили его покой своей, может, еще большей болью.

– Товарищ, вы это самое... живой немножко? – тихо обратился к нему один из двоих, и Агеев, криво усмехнувшись, ответил:

– Немножко...

И схватился рукой за челюсть, которую сразу свело от боли.

– Тут вот парню плохо. Если бы воды попросить.

– Никто не услышит, – сказал он, преодолевая боль, и подумал: кто это? Черт бы ее побрал, эту темноту, не позволявшую ничего видеть в этом подземелье!

– А нас завтра будут расстреливать. Знаете? – доверительно сообщил незнакомец.

– Вас? – вырвалось у Агеева.

– Так и вас тоже, – вздохнул человек. – Вы же тот военный, что у Барановской жил?

Агеев смешался, не найдя, как ответить.

– А вы откуда знаете? Немцы сказали?

– Полицей знакомый один.

Как Агеев ни готовился к своей казни и ни сжился уже с ее неизбежностью, эти слова оглушающе ударили по его сознанию, и он едва снова не потерял его. Но все-таки он напрягся, собрал немногие свои силы и постарался убедить себя, что ничего неожиданного не произошло; все идет, как и предполагалось. Может, так оно будет и лучше. Все-таки расстрел для солдата всегда предпочтительнее повешения – не надо будет висеть на потеху врагам, сразу ляжет в землю, и все. А смерть – она дело мгновенное.

– Вот, знаете, случайно взяли, ничего я не сделал, а теперь расстрел. Чудно у них как-то... Убьют, а за что? – сетовал из темноты человек, и Агеев подумал, что, в общем, это понятно. Наверное, тут каждый считает, что пострадал безвинно. Может, и он повел бы себя так же, если бы подвернулось кому поплакаться.

– А вы кто? Из местечка? – спросил Агеев.

– Да я со станции, знаете. Зыль, сцепщик. И вот надо же, пошел в местечко на рынок соли купить, а на переезде эта девчина с кошелкой. Ей полиция: стой! Давай проверять, и я тут. Ну обоих и взяли.

Агеев, похоже, куда-то провалился от изумления, услышав такое, и снова вынырнул, пораженный смыслом сказанного.

– Какая девчина? – прохрипел он.

– А кто ж ее знает. Незнакомая. Я ее в глаза никогда не видел, а они говорят: связаны. Да ни с кем я не связанный.

«Мария! Это Мария!» – пронеслось в сознании у Агеева. Вот как она попалась! Бедная, несчастная девчонка!.. Он был ошеломлен этим известием сцепщика, который даже не подозревал, наверно, как растревожил его этим сообщением. Но Агеев молчал, не зная, как следует вести себя и кто такой этот Зыль. Не подсажен ли он полицией? И в то же время очень хотелось расспросить его поподробнее, может, он больше бы сообщил о Марии.

– Пить... Дядька, попроси у них воды, – простонал второй в темноте, и в его жалких словах Агееву снова послышались знакомые интонации. Вскоре, осененный догадкой, он осторожно спросил:

– А это кто с вами?

– Это Петя, старший Кислякова сынок. Племяш мой. Они его тоже... Две недели тут вот мутузят.

«Боже мой, так это же Кисляков! Ну вот, а я столько добивался с ним связи, ждал его каждую ночь. А Кисляков вот где! И уже две недели».

Привстав, Агеев медленно подался на четвереньках в ту сторону, волоча плохо гнувшуюся левую ногу, руками нашупал неподвижно лежавшее тело.

– Кисляков, ты?.. Это я, Агеев, что у Барановской...

– Я знаю... Только... Плохо мне очень, – едва слышно простонал Кисляков. И Зыль объяснил:

– Они его так измузузили... Живого места не осталось.

– Полиция или немцы?

– Сначала полиция. Потом немцы, – простонал Кисляков. – Все добивались...

– Чего добивались? – насторожился Агеев.

– Всякого... И про вас...

– Ну, а ты же стерпел? Не сказал?

– Как стерпишь? Если бы сразу умер, а то... – простонал Кисляков и затих.

– Да-а, – выдохнул из себя Агеев.

Что-то в их деле принимало иной, еще более скверный оборот. Хотя, казалось бы, что могло быть хуже для них, обреченных здесь на скорую гибель, когда уже не мил стал весь белый свет и свое изболевшееся тело, и вся незадачливая жизнь. А вот ведь и еще становилось горше. Агеев знал, что сам стерпит все, не замарав ничьей совести, но беда в том, что он отправлялся на тот свет не один, а с другими, и этим другим, может стать, досталось больше. Вот Кисляков и не выдержал, что-то выдал полиции или немцам, и оттого на совести у Агеева совсем померкло. От чего только не зависит она, эта тонкая и нежная штука – совесть, как ее трудно сбересть в чистоте. Да еще на этой войне.

– Они его катовали, как звери, – сказал Зыль. – Пальцы в дзвярох раструщивали. А потом, знаете, когда он упал... Ну, половой орган каблуком раструщили. Начальник их... Бедный племянничек, – дрогнувшим голосом закончил Зыль.

«Черт возьми! – безрадостно, однако, подумал Агеев. – Значит, мне еще повезло. Может, оттого, что недавно взяли? Или что скоро передали в СД? Или Дрозденко понял, что не на того напал? Или мои улики были все налицо, и ему их хватило, чтобы меня расстрелять? А Кисляков?..»

– Зыль, а вы потом эту девушку не видели? – спросил Агеев и сжался в ожидании ответа.

– Видел. Очную ставку с ней делали. Но что я скажу? Я впервые увидел ее на переезде.

Она меня тоже.

– Ну а потом? Что с ней?

– Так неизвестно. Может, ее передали немцам? А может, застрелили...

– А вас что, не избивали? – вдруг подумав о другом, спросил Агеев, и Зыль простодушно ответил:

– Били! И, знаете, знакомые полицаи. Но что я скажу? Я ничего не знаю.

Волнуясь, Агеев не мог взять себе в толк, как ему вести себя с этим словоохотливым Зылем, насколько доверять ему. Простодушие его подкупало, но... Оно могло быть и деланным, это его простодушие. Очень хотелось поговорить с Кисляковым, хотя бы узнать, за что его взяли. Но этот Зыль все время сдерживал его. Опершись на руку, Агеев сидел подле метавшегося в жару Кислякова и не знал, как заговорить с ним. И можно ли было с ним разговаривать вообще. Парень был плох, это ощущалось даже в темноте, лихорадочное дыхание его то и дело совсем пропадало.

– Все-таки надо потребовать воды, – сказал Агеев. – Вы постучите им.

Однако не успел Зыль подняться, чтобы подойти к двери, как поодаль у входа в подземелье послышались крики, возня, которые быстро приближались к их камере.

– Не толкай! Не толкай, подлец! Я тебя так толкну!..

– Иди, иди!..

Агеев прислушался и вскоре понял, что это Молокович – его громкий командирский голос звучал здесь зло и отчаянно. Когда дверь растворилась, в свете фонаря из коридора он увидел на пороге своего фронтowego друга, Молокович был почти обнажен до пояса, тело его прикрывала лишь разодранная на груди грязная майка, отросшие волосы на голове взъерошенно торчали в стороны, на лице темнело несколько синяков и струпьев от ссадин. Но дух у этого взводного, похоже, оставался прежним.

– Подлец! Ублюдок немецкий!..

Его сильно и злобно толкнули через порог, Молокович ударился о стену, едва не наскочив на троих бедолаг на полу.

– Кто тут? Зыль...

– Зыль и еще некоторые, – сказал Агеев, когда дверь за ним затворилась.

– Вы? – удивился Молокович.

– И еще Кисляков, – печально сообщил Агеев.

– Да, собралась капелла! – бросил в сердцах Молокович и заговорил возбужденно: – Поработали, сволочи, понахапали! И еще толкается, подонок! Дружок называется, в одном классе учились.

– Это кто? – спросил Агеев.

– Да Пахом этот. Полицай. Своего же товарища избивает, выслуживается, подонок!

Молокович нервно и мелко тряся, горя обидой и ненавистью, но, кажется, избит был меньше других или, может, пока что терпел, не подавая виду.

– Ничего, ничего, – успокаивая его, сказал Агеев. – Садись вот...

– Что ничего?! – взвился Молокович. – Вы знаете, завтра казнь. Расстреливать будут...

– Это не самое худшее, – сказал Агеев.

– Не самое худшее? Ну вы даете! А что же может быть хуже? Погибаем ведь! Засыпались, провалились, как последние обормоты!.. Все враз, без остатка! Эх, безмозглые куры! Разве так можно было? И вы!..

– Что я? – насторожился Агеев.

– Что? Вы еще спрашиваете? Да вы все завалили! – не сдерживаясь, почти вскричал Молокович.

– Это каким образом?

Наверно, было не место и не время выяснять что-то о таких вещах, но Агеев уже не в состоянии был сдержаться. Да и будет ли для них более удобное время? И место?

– А таким! Почему вы доверились этой... Марии? Кто она такая? Что вы о ней знаете?

Агеев опять обмер в предчувствии того, что его могло здесь казнить хуже немецкой

казни.

– А что о ней... надо знать?

– Надо знать все! – с жаром продолжал Молокович. – А то понесла... Куда? К кому? Никого тут не знает, лезет прямо на полиция. Он и зацепил! Корзина! С базара! А в корзине что? Мыло. Это для дураков мыло! Он-то, полицай этот, Зеленко, и корзину сразу признал – прошлой зимой Барановская приносила чинить, ручка оторвалась. Починил, ручки обкрутил красной тряпкой. Ну? Что еще надо было полиции? Сама добыча прямо в карман, держи шире!

Агеев убито молчал. Молокович сразил его под дых, хотя и не с той стороны, откуда ждал Агеев. Выходит, Марию погубил он сам, это уже было ясно. Но ведь она не выдала никого. Да и кого она могла выдать, кроме Агеева?

– Я был в безвыходном положении, – сказал он тихо после продолжительного и тягостного молчания. – Без связи. Кисляков пропал, ты же знаешь... А тут эта передача...

– Вот вы и поспешили! – перебил его Молокович. – Вам не терпелось оправдаться, рассеять подозрения. Ведь подозрения были?

– Какие подозрения? – удивился Агеев.

– А вспомните какие. Или вы забыли?

Нет, Агеев не забыл о подозрениях, которые недавно еще мучили его, он просто перестал думать о них. Точку на них поставил для него тол, и ему скоро стало казаться, что все его страхи – из области предположений. Как можно подозревать того, кто все делал по совести, с возможным усердием и сидит вот, приговоренный к расстрелу? Никого и ничего не выдавший и даже не помышлявший выдать.

– И Кисляков! – вдруг почти вскричал Молокович, вскакивая с пола. – Он меня выдал!

Стало совсем тихо, и в этой тишине слышно было, как взволнованно дышал Молокович и в груди у Агеева бешено стучало сердце.

– Как? – сказал в замешательстве Агеев.

– Просто! Он назвал мое имя! В числе своих товарищей. Теперь я тебе не товарищ, понял?!

Кисляков на полу задышал чаще, что-то вроде попытался сказать, но просипел только:

– Прости...

– Они его били, так били, я слышал, – заворшился в темноте Зыль. – Они ему, ну... половой орган каблуком раструщили.

Кажется, Молокович стал успокаиваться, смолчал, преодолевая свое возбуждение: действительность уготовила им самое страшное, что могло с ними случиться, и надобно было собраться с силами. Агеев лег поблизости от Кислякова, над которым сидел его дядька Зыль. Где-то поодаль притих в темноте Молокович. Не переставая сокрушаться от того, что довелось услышать, Агеев стал думать о Марии, ее судьбе. Теперь ему становились понятными причины провала Марии – тут не чья-либо вина, а стечение дурных обстоятельств, дикие случайности вроде корзины и полиция, который год назад ее починял. Если бы не эти совпадения, все могло обойтись благополучно и даже вполне успешно, и они были бы теперь на свободе и гордились тем, что им удалось сделать. Но вот вмешались эти чудовищные случайности, и все полетело прахом. Тол, лихие диверсии и их молодые жизни. Хотя что сетовать на случайности, ясно, что та борьба, в которую они вступили, была густо напигована всевозможными случайностями, самыми дикими обстоятельствами, из которых она вся и состояла. Не то, так другое, как говорит этот Зыль. Шансов выйти живыми из этих передраг практически у них не было. Вся разница в том, что одних смерть настигала раньше, а других позднее, но в равной степени все они были обречены на гибель.

С такими малоутешительными мыслями он постепенно затих, вроде задремал даже, притерпевшись к боли, привалясь к стенке спиной. Притихли и его друзья по несчастью. Похоже, не спал лишь один Зыль, все хлопотал возле племянника: то поправлял ему голову, которую держал на коленях, то ладонью обмахивал его пышущее жаром лицо. Как ни скверно досталось им всем в полицейских застенках, безусловно, Кислякову досталось

больше других, и Агеев не хотел судить его строго. Он бы имел право сурово, как это делал Молокович, обвинять несчастного, если бы сам вытерпел равное тому, что вынес Кисляков, и устоял. Агеева жестоко избили, но только один раз, и он постепенно приходил в себя, не то что этот студент, который теперь хотя бы дотянул до утра. Агеев уже понимал, что, хотя возможности человеческого духа почти безграничны, они слишком несоразмерны со скромными силами тела. Тело всегда недостаточно прочно, особенно для таких дел, как война, оно больше всего другого доставляет человеку забот и страданий. Что ж, Кисляков не выдержал, и вся его вина в том, что он не смог умереть вовремя и они что-то вытянули у него...

Их выводили по одному, и, пока следующего волокли из подвала, первые ждали, коченея на холодном ветру в церковной ограде. Была ночь, сыпал мелкий промозглый дождик, во время сильных порывов ветра он безжалостно сек по обнаженным плечам, лицам, непокрытым головам обреченных. Последним выволокли Кислякова, который совсем не держался на ногах, и его взвалили на телегу с парой охапок сена на дне. Полицаев тут было семеро, ими распоряжался Дрозденко, с фонариком в руках рыскавший возле церкви. Батарейка в фонарике заметно иссякала, наземь падало расплывчатое пятно света, Дрозденко ругался, материл полицаев и узников. Он был явно не в духе. Поодаль от телеги стоял, наблюдая за их поспешными сборами, человек в длинном плаще и немецкой фуражке, но он молчал, и Агеев не знал, кто это. По-видимому, кто-то из СД. Но не Ковешко. А жаль, Агеев бы сказал земляку на прощание пару крепких, запоминающихся слов.

К своему удивлению, он чувствовал себя лучше, чем ночью. Болело в боку, по-прежнему остро ломило челюсть, ныла распухшая в колене раненая нога, но сил вроде прибыло, может, последних перед гибелью сил, и он сам поднялся по ступенькам, доковылял до калитки. Здесь надо было подождать. Полицаи вязали им руки, толклись и суетились возле повозки с Кисляковым, другие в отдалении с винтовками наготове охраняли на случай побега. Но бежать мог разве один Зыль да, может, еще Молокович. Хотя Молоковича на выходе сильно ударил в грудь полицай и он стоял теперь, согнувшись, возле повозки и кашлял, то и дело сплевывая на траву. Только Зыль с виду был ничего себе, не заметно даже, что его избивали, и Агеев в который раз подумал: неужто и его расстреляют? Похоже, он их человек, и скоро его отлучат от смертников.

Но пока, не отлучали, а тоже связали за спиной руки, и их немногочисленная процессия двинулась через пустую в ночи базарную площадь. Впереди, рядом с молчаливым немцем шел Дрозденко, за ними двигалась одноконная повозка, на которой, покачиваясь, лежал живой еще Кисляков и восседал знакомый полицай в шинели по фамилии Черемисин. За повозкой, прихрамывая, ковылял Агеев, рядом, все время порываясь приблизиться к племяннику, шел Зыль. За их спинами слышалось хриплое дыхание раздетого до майки Молоковича. Впрочем, кроме разве Зыля, на плечах которого обвисала какая-то распахнутая, без пуговиц куртка, все они были почти раздеты и чертовски страдали под дождем, на холодном ветру.

– Куда они нас? – тихо спросил Агеев, когда повозка съехала с площади, стала огибать сквер.

– Наверно, на могилки, – пожал плечами Зыль. – А можа, в карьер.

В карьер, это скорее всего, подумал Агеев, они ведь не любят копать, закапывать... Хотя рыть могилу можно заставить и обреченных, но закапывать-то придется самим. А это уже работа. Значит, в карьер. О чем он думал еще в этом своем последнем пути на земле, с чем он прощался? Похоже, ни о чем больше не думал и ни с чем не прощался, все его силы уходили теперь на преодоление стужи, на то, чтобы не взорваться от нетерпения, сохранить самообладание. Сзади и по бокам топали по грязи их конвоиры, и среди них уже знакомые по пыткам полицаи: Пахом, Стасевич, Ревунов, Сутчик. Они были настороже, держали винтовки под мышками, но, похоже, все-таки трусили. Стояла ненастная осенняя ночь, по обе стороны улицы чернели крыши, заборы, фронтоны местечковых домов, кроны обнажившихся деревьев в палисадниках; впереди на пригорке чернел массив старых

кладбищенских деревьев, и еще издали слышался тревожный вороний грай. В небе не проглядывало ни единой звездочки, все там было непроницаемо мрачно, мелкий дождь то сыпал, то затихал порой. Ветер дул непрерывно, выдувая жалкие остатки тепла из их истерзанных тел. Когда их процессия стала спускаться к мостку через овражный ручей, Дрозденко, выйдя на обочину, подождал, пока телега миновала его, обежал полицейских, что-то напоминая и приказывая им. Или, может, подбадривая. Поравнявшись с Агеевым, зло процедил сквозь зубы:

– Ну, добился, чего хотел?

– Добьешься и ты. Того же, – в тон ему ответил Агеев. – Подонок!

– Ну, ну, не очень! Или забыл, что у меня? В блокнотике...

Агеев хотел крикнуть что-то оскорбительное и грязное, чтобы унижить начальника полиции хотя бы перед немцем, что встал на обочине и чутко прислушивается к их перебранке. Но не крикнул.

Медленно, как на похоронах, они переехали овраг и миновали кладбище. Воронье все кричало – от скученного неуютя, сварливо борясь за место на ветке, и этот вороний грай вместо похоронной музыки долго сопровождал их в последнем ночном пути. Впрочем, Агееву было все безразлично, он думал только: ну, что ему эта дурацкая расписка теперь, на последнем пути туда, откуда не возвращаются? А вот ведь держала. Лишала воли...

За кладбищем они остановились и постояли недолго, ждали, пока Дрозденко с немцем куда-то ходили – вдоль кладбищенской стены на пригорочек. Агеев уже весь околел, внутри него все изболелось – от побоев и стужи; щеку и нижнюю часть лица он совсем перестал ощущать. Волосы на голове слиплись под дождем, и холодные капли катились за уши, стекали по шее, по холодной, одеревеневшей спине меж лопаток.

– Так и захварэць можна, – сквозь слезы пошутил разговорчивый Зыль.

– Ага. Простудиться! – зло съязвил Молокович, который все время держался сзади, кажется, намеренно избегая соседства Агеева, и Агеев подумал: пусть! Может, так оно и лучше для обоих. Зла на лейтенанта он не имел, в то время как тот чего-то не мог простить ему даже в такую минуту.

Повозка свернула с дороги и по грязной траве потащилась вдоль кладбища на пригорок. Их погнали следом. Где-то там впереди маячили фигуры Дрозденко и немца в длинном плаще. Когда они все подошли ближе, их взору открылся берег обрыва и широкий карьерный провал внизу, добрую половину которого под обрывом занимала лужа. «Значит, так – в лужу», – догадался Агеев. А он думал... Вернее, хотелось думать, что в земле будет затишнее. И теплее. В луже теплее не будет...

Глупые эти мысли, однако, взбудоражили его, совершенно уже задубевшего на стуже, и он не мог от них отрешиться, пока повозка не остановилась на пригорке и Дрозденко подал команду выстроиться всем в ряд, лицом к карьере. Агеев стал послушно и почти с готовностью, как это делал множество раз в армии, чтобы скорее кончить. Рядом нехотя приткнулся совсем закоченевший в майке, тощий, как доска, со впавшим животом Молокович. Зыль замешкался выполнить команду, и один из полицейских напомнил ему об этом, двинув в спину прикладом. Тот же полицейский затем негромко обратился к Дрозденко, который сначала вызверился, но тотчас смягчился и разрешил:

– А... Давай по-быстрому...

Полицейский подошел к Агееву, это был все тот же старательный крутоплечий Пахом.

– Скидывай сапоги!..

Агеев помедлил, наливаясь готовым прорваться гневом, потом, словно боясь не сдержаться, носком одного торопливо подцепил задник другого, легко протащил стопу в голенище и, не вытаскивая ее совсем, ногой швырнул сапог в сторону.

– На, бери, на...

Он отбросил и второй сапог – далеко на траву, оставшись в сбившихся грязных портянках. Полицейский поспешил за сапогами, а рядом нервно задергался Молокович.

– Может, возьмешь и мои, Пахом? Или оставишь в благодарность за дружбу? За то, что

давал тебе контрольную списывать?

– Ага, давал! – недовольно обернулся полицей, подхватывая сапоги. – А помнишь, как дал списать с ошибкой? По алгебре. Сам пять получил, а мне два поставили.

Молокович, похоже, опешил.

– Идиот! Я-то при чем? Ты же без ошибки и списать не мог, скотина!..

– Да-а, ну и набрал ты мерзавцев, Дрозденко, – сказал Агеев. – По себе мерил?

– Ты еще не заткнулся! – вскричал Дрозденко, сделав угрожающий выпад в его сторону, но остановился – сзади его окликнул немец. Трое полицейав стаскивали с телеги Кислякова, и тот изможденным, осиплым голосом выдал:

– Прощайте, браточки... Не обижайтесь, если...

– Ничего, ничего, сынок, – ответил ему один Зыль. Агеев и Молокович смолчали.

Размашистым шагом Дрозденко подскочил к их коротенькому строю, вытянул руку, которой отделил от них Зыля.

– Так! Давай ты, с племяшом в паре.

«Неужели застрелят? – недоверчиво подумал Агеев. – Ведь, похоже, и в самом деле Зыль ни при чем, случайно попавший в эту историю...»

– Послушай, Дрозденко, – сказал он почти просительно. – А этот зачем? Он ведь посторонний. Я знаю.

Дрозденко круто обернулся.

– Ты знаешь? А ты знаешь, что он двенадцать вагонов на станции сжег?

Полици уже подталкивали Зыля к обрыву, куда притащили Кислякова, и сцепщик, услышав эти слова Дрозденко, непослушно дернулся в их руках.

– Не двенадцать, начальник! Семнадцать! Семнадцать вагонов я сжег! Пусть там запишут, семнадцать...

Они его ударили, Зыль ойкнул и больше уже не выкрикивал, не противился.

Агеев мелко трясся от стужи и неумного нервного озноба, неотрывно глядя, как в тридцати шагах на обрыве встали две тени – сцепщик Зыль с племянником, милым, застенчивым Кисляковым. Стоять Кисляков не мог совершенно и вяло обвисал на руках у Зыля, который с усилием держал его, приговаривая что-то, в шаге от обрыва. Перед ними, торопливо клацая затворами винтовок, разбирались в шеренгу несколько полицейав.

– Фойер! – неожиданно зычным голосом скомандовал немец, и тотчас в уши Агееву ударил нестройный винтовочный залп. Агеев пошатнулся от воздушного удара, моргнул одним глазом (второй он почти не открывал), и, когда снова взглянул туда, ни Зыля, ни Кислякова на обрыве уже не было. Полици остались на месте, а Дрозденко с немцем подбежали к обрыву, заглянули в карьер. Потом раздалось несколько негромких хлопков – пистолетных выстрелов, для верности они посылали последние пули в расстрелянных.

– Следующие! – крикнул начальник полиции, оборачиваясь к ним с пистолетом в руке.

– Пошли... – тихо сказал Агеев и, не оглядываясь, заковылял к обрыву, из-за которого ему все больше открывалась огромная, подернутая ветреной рябью блестящая лужа. С темного неба посыпал мокрый снежок, оседая на одежде, волосах, нежно касаясь его разбитых в кровь губ. В душе у Агеева было пусто, как, наверное, может быть пусто только перед самой смертью, когда вся жизнь прожита без остатка, и прожита не так, как хотелось – в беспорядке, не в ладах с совестью, с ошибками и неудачами. Он уже ничего не пытался и даже не хотел сказать ни своему соратнику Молоковичу, ни их палачам. Пусть убивают...

Нестройный залп из шести винтовок он еще услышал, почувствовав воздушный удар в лицо и сильный толчок в грудь, опрокинувший его навзничь. И он понесся в пространство – с шумом и звоном в ушах, что-то обрушивая, вместе с собой низвергая в пропасть. Постепенно, однако, все стало стихать, отдаляясь от него, и все наконец умолкло.

С ветреного неба падал мокрый снежок...

Работы в карьере осталось совсем немного – последний, ближайший от кладбища угол, слегка поросший осотом и свежим пыреем, и на этом все можно было бы считать законченным. Но Агеев не торопился приниматься за дело, с утра он сидел над слабеньким, разожженным из мусора и обрывков бумаги, вонюче дымившим костерком, грел руки. Утро выдалось облачным, без солнца; росы на траве не было, с поля дул свежий прохладный ветер, беспокойно шумели деревья на кладбище. Накинув на себя синюю болоньевую куртку, Агеев вспоминал свой сон.

Сон был простой, почти элементарный по образности, но поразивший Агеева своим грозным невразумительным смыслом, загадочным даже для него, всегда умевшего безошибочно расшифровывать свои ночные шарады.

Совершенно без всяких подступов к главному сон начался с того, что он, Агеев, по всей видимости, откуда-то нечаянно выпал, из какого-то иного мира или иного времени и оказался один в огромном пугающем пустом пространстве. Трудно было понять характер этого пространства и даже определить, что им являлось – море, земля или, быть может, космос. Впрочем, все лежало вне зрительного образа, скорее относилось к области чувств и выражалось ощущением абсолютного, мучительного одиночества. По мере того как длился сон, чувство это все усиливалось, а пространство болезненно расширялось, заполнялось тревогой, страхом, безотчетным страданием. Страдание было скорее душевным, потому что физически Агеев как таковой вроде отсутствовал вовсе, в этой загадочной среде было лишь его абстрактное "я", лишенное плоти и тем не менее исполненное страдания. Похоже, однако, это его бесплотное "я" между тем все время сжималось, уменьшаясь в объеме по мере разбухания загадочного пространства. И вот настал наконец момент, когда "я" и вовсе исчезло, растворилось, оставив лишь представление о себе, воспоминание или воображение своего присутствия где-то, уже вне всякой среды и вне всякого образа. Осталась лишь его мука, в которую он перевоплотился целиком, без остатка и вне которой ничего больше не было.

Странно, но этот сон по каким-то ощущениям напомнил ему ту, давно пережитую им смерть, когда он, получив винтовочную пулю в грудь, без сознания свалился в карьер, по сумасшедшей случайности не оказавшись в воде, и спустя, может быть, час стал приходить в себя. Вокруг было тихо, полицаи убрались в местечко, с темного неба сыпал густоватый снежок. Он начал выбираться из воды на сухое, долго полз по откосу над лужей, пока не выбрался из карьера на выезде. Тут он снова потерял сознание, долго лежал в стылой грязи, пополз снова. На дорогу он выполз перед рассветом, и там ему повезло. В этот раз случайность оделила его своею нечастой милостью: первый же ездок из местечка оказался Своим человеком, он молча взвалил истекавшего кровью Агеева на повозку, и к утру они были далеко. Зимой он пролежал пластом – в бреду, немоци, в полнейшей безнадежности, переболел тифом, дважды его перепрягивали на хуторах. Но по весне, к собственному удивлению, встал на ноги. Все это было давно и, кажется, уже перестало волновать его, словно было не прожито им" а увидено в кино или приснилось. И теперь вот сегодняшний, сходный по смыслу и полузабытым ощущениям сон, который все возвратил из забвения, взбудоражил его усталые чувства.

Трудно было представить, сколько он продолжался, этот кошмарный сон, и даже чем кончился, просто Агеев куда-то исчез из него, возможно, проснулся или заснул по-иному, без сновидений. Эти ночные страсти, однако, подействовали на него удручающе, и Агеев думал, что днем непременно что-то случится. Что именно может случиться, он никак не мог взять в толк, сколько ни прикидывал по своим прежним снам, такой безобразный, мучительный сон он видел впервые. И он сидел у костерка, даже не попив чаю, растревоженный и небритый, совершенно выбитый из своей привычной трудовой колеи, не знал, за что братья. В этом его состоянии полной растерянности он увидел двоих друзей, пролезших к нему через пролом в кладбищенской стене. Молча и не здороваясь, словно они только что отсюда отлучились, ребята встали над костерком, вглядываясь в жалкий затухающий огонек, застенчивый, молчаливый Артур и более словоохотливый Шурка.

– Ну что, ребята? – рассеянно спросил Агеев, чтобы как-то нарушить тяготившее его состояние. Вороша прутиком в костерке, вертлявый Шурка сразу же выпалил то, что его сейчас занимало:

– А тут бульдозеры придут. Глядеть будем.

– Какие бульдозеры?

– А будут карьер закапывать. Птицефабрику строить.

– Вот как!

О птицефабрике он уже слышал когда-то – ходил в поселок за хлебом и услышал, как перекуривавшие у магазина мужики разговаривали о какой-то птицефабрике, на строительство которой набирали разнорабочих. Но он не прислушался к их разговору и, занятый своими мыслями, прошел мимо.

– А кто вам сказал, ребята?

– Микола сказал. Во, Артуров брат. Пошел заводить бульдозер, скоро приедет.

Агеев помолчал. По всей видимости, дело его приобретало новый оборот, и он представил, как придут бульдозеры и что они сделают с этим карьером. Наверное, следовало, пока еще оставалось время, хотя бы в один штык перекопать этот заросший бурьяном угол, чтобы окончательно убедиться, что там ничего нет. Хотя бы для очистки совести. И потом уж пусть все зарывают или разрывают, как там у них запланировано. Это было самое разумное из всех возможных решений, надо было встать, браться за лопату. Но он продолжал сидеть, смотрел, как ребята с увлечением занялись костерком – стали подкладывать в него сухие, опавшие с кладбищенских деревьев ветки, прутики, пучки сухого бурьяна. Получив пищу, костерок сначала обнадеживающе задымил на ветру, потом язычки пламени бодро пробилась сквозь дымный полог, с треском охватили бурьян. Агеев сидел, почти наверняка уже зная, что не поднимется и тот не вскопанный им закоулочек так и остается нетронутым, потому что... Потому что он не хотел его трогать. Он уже свыкся с внушенной, может быть, самому себе мыслью, что в этом карьере никого больше нет и никогда не было. Им уже слишком владела надежда, в трудах воспитанная им за два летних месяца, и он не имел решимости рисковать ею, потому что риск мог ее сокрушить. Нет, он уже не хотел ни до чего докапываться, его запал весь кончился, он готов был бежать от правды, если бы эта правда вдруг перед ним предстала. Вымученная им за время этих раскопок надежда, как птица счастья, приблизилась к нему настолько, что вот-вот готова была опуститься на его натруженную руку, и он боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть ее навсегда. Вполне возможно, что он ошибался, что это было заурядное трусливое желание, приступ слабости. Но все дело в том, что он уже не находил в себе сил побороть эту слабость, да и не хотел того.

Негромко переговариваясь, ребята суетились возле костра. Шурка принес немного сухих веток, собранных возле кладбищенской ограды. Артур начал совать их в едва разгоравшийся огонь, а погруженный в себя Агеев мучительно соображал, что следует сделать. Но, судя по всему, он просто не готов был к какому-либо поступку и, наверное, долго бы сидел так, подавленный, в нерешительности, если бы ребята не закричали вдруг:

– Едут, едут!..

Агеев вздрогнул, прислушался. Артур и Шурка помчались вниз, и он различил едва слышный грохот тяжелых машин на дороге за кладбищем. Грохот этот все нарастал, заполняя собой окраинное пространство поселка, послышался лязг гусениц, и вот они выползли из-за угла кладбищенской ограды – два неуклюжих коптящих трактора с приподнятыми над дорогой широкими ножами бульдозеров. Напротив въезда в карьер оба остановились, не глуша двигателей, из кабины переднего вывалились на дорогу два человека, прошли к карьере. Немного погодя к ним присоединился и бульдозерист из второй машины. Скорым шагом они вместе обошли карьер, осмотрели окрестности, постояли недолго на самой верхушке возле обрыва. О чем они там разговаривали, Агееву не было слышно из-за рокота двигателей на дороге, где уже вертелись Шурка и Артур.

Агеев словно в прострации сидел возле палатки, и, только когда бульдозеристы заняли

свои места в кабинах и мощно взревели двигатели, он поднялся. Стараясь не дать себе размышлять или колебаться, словно отрезая все пути к отступлению, быстро повыдергивал дюралевые колышки оттяжек, палатка сморщилась и опала на землю, и он начал лихорадочно собирать вещи, извлекая их из прорехи палатки, второпях запихивая все в рюкзак. Хорошо, что вещей было немного, главное место занимала палатка, которую он впопыхах беспорядочно скомкал и, приминая коленом, тоже запихал в рюкзак. На его насиженном за лето месте больше ничего не оставалось, кроме слегка дымившего костерка да пластмассового ведерка на примятом, с белыми травяными побегими квадрате под днищем палатки. Скучный мусор он предусмотрительно сжег поутру, место, в общем, оставалось в порядке. Закинув за плечо тяжеловатый рюкзак, он пошел по косогору вниз. Перед тем как свернуть за кладбище, не удержавшись, оглянулся. Ревя двигателем, первый бульдозер уже толкал к краю обрыва огромную земляную кучу, за ним, несколько поотстав, вгрызался в землю второй бульдозер. Вот-вот с обрыва в карьер должна была обрушиться гора рыхлого грунта, и Агеев, почти физически ощущая шум и тяжесть его падения, прибавил шагу.

Громоздкий рюкзак, однако, больно отдал плечо, пока он добрал до автостанции, располагавшейся в кирпичном павильончике возле центральной площади. Там перед фанерным стендом с расписанием облегченно свалил на асфальт свою ношу, минутой изучал сроки прибытия автобусов, хотя уже с самого начала было ясно, что опоздал. Автобус на Минск отправился в шесть утра, следующий должен прийти через сутки. Правда, был еще один, проходящий, прибывающий вечером, но билеты на него продавали после прибытия. Агеев устало присел на рюкзак, отдыхая, соображал, как быть, и ничего другого не придумал, как искать приюта в гостинице.

Гостиница была недалеко, на боковой улочке за пыльным сквериком с чахлыми деревцами, через который пролежала прямая утоптанная стежка. Возле гостиничного крыльца стоял в ожидании пассажиров пустой экскурсионный «Икарус», и Агеев подумал, что место для него вряд ли найдется. Все же он протиснулся со своей ношей в крохотный полутемный вестибюльчик, скинул рюкзак. Знакомая по его прошлому проживанию блондинистая дежурная, судя по всему, тоже узнала его и, когда он поздоровался, без лишних слов положила на барьер листок проживающего. Это уже была удача, на которую Агеев не рассчитывал, он торопливо заполнил листок и вскоре получил ключ с деревянной биркой от одноместного номера на втором этаже. Дотащившись туда со своим рюкзаком, почувствовал, что на большее сегодня уже не способен. После длительных перегрузок сердце напомнило о себе жесточайшей аритмией, он проглотил сразу две таблетки хинидина, запив их теплой водой из графина, и, не раздеваясь, свалился в кровать поверх одеяла. Тело целиком и с благодарностью отдалось власти покоя, металлическая сетка кровати послушно прогибалась под его скупыми движениями. В общем, ему было покойно, если бы не аритмия, и он, может, впервые за лето подумал: не напрасно ли он все это затеял? Кажется, он подорвал здоровье, а чего добился? Не разумнее было бы жить, как живет, отдыхать, рыбачить, как тысячи пенсионеров, и не терзать себя надуманными проблемами, разрушительным нравственным самоедством, как говорил сын Аркадий, а стремиться к упрощению сложностей, что, может, дало бы возможность прожить лишней год на этом неласковом свете. А он нагородил баррикаду проблем и вот теперь не мог успокоить сердце, которое в сотый раз напоминало ему о возрасте и о том, что оно не железное... Самое скверное при этом, что он так ничего и не прояснил за лето, проведенное с лопатой в карьере, перерыл столько земли, но так и не приблизился к разрешению своей загадки, ничего не довел до конца. Временами ему казалось, что так оно и лучше – он ничего не обнаружил, и в этом был обнадеживающий знак. Порой же в его памяти всплывал тот единственный, не тронутый лопатой закуток в карьере, который мог укрепить надежду, но мог и разрушить ее до основания. Было похоже, однако, что его все-таки пугала истина и он предпочел ей многообещающий туман неопределенности, которая позволяла жить спокойнее, без депрессий и стрессов.

Вот только позволяла ли?

Иногда, вспоминая пережитое, он не узнавал себя нынешнего, так мало в его характере осталось от молодого Агеева. Иногда впору было подумать, что тот давнишний Агеев исчез, переродился, подменен совсем другим человеком, ничего общего не имеющим со своим сорокалетней давности предшественником. Понятно, постарел, прожил нелегкую жизнь, что было делом обычным и что он наблюдал на примере других. К тому же он видел, как неуклонно менялся характер времени, уходил без следа аскетический ригоризм тех лет и незаметно, но повсеместно воцарялось степенное благоразумие расчета, дух взаимной терпимости. Но, к лучшему ли эти изменения в жизни, он ответить не мог. В отличие от многих он давно уже не примерял своего прошлого к поколению своих детей, хватало ему размышлений о себе самом и своих стареющих сверстниках. Порой он не в состоянии был определить, как отнесся бы к нему нынешнему тот давнишний Агеев, едва не закончивший свой коротенький путь в этом оставленном им сегодня карьере. В то время, как прежний Агеев был бессилён судить его нынешнего, сам он тысячи раз на все лады судил и обсуждал Агеева давнишнего. Это было затянувшееся и малоприятное для обоих разбирательство, хотя строгий судья был беспристрастен и мудр той неподкупной мудростью, которая открывается с высоты прожитых лет. Порой восхищаясь, а порой удивляясь безрассудству своего обвиняемого, обходя некоторые вышедшие в тираж ценности давних лет, этот судья со временем стал ориентироваться на истинный кодекс непреходящих ценностей, на первом месте среди которых он ставил человеческую жизнь как таковую. В том числе и ту жизнь, которой он некогда столь безрассудно распорядился в этом поселке. Впрочем, как и собственной тоже.

В коридоре за тонкой дверью номера слышались торопливые шаги постояльцев, то и дело переговаривались степенные горничные, однажды ворвался шум, смех и говор компании молодых людей; прислушавшись, Агеев понял, что это приехали спортсмены. Правда, они скоро убрались – на тренировки или в столовую на обед, в гостинице воцарилась тишина, и он, возможно, заснул или забылся, как только немного успокоилось сердце.

Проснулся от непривычной тревожной тишины, раскрыл глаза и не сразу понял, где он. Было совсем темно, за прищторенным окном лежала летняя ночь, в щель возле двери пробивалась тоненькая полоска света от лампочки из коридора. Откуда-то издалека, с дальней окраины поселка доносился едва слышный собачий лай, а вообще было тихо. Потом в этой давящей, душной тиши он уловил прерывистые звуки двигателя, сначала встревожившие его, а потом желанной умиротворенностью легшие на его душу, как только он понял, что это бульдозеры. Они работали и ночью, зарывали карьер – карьер его памяти, ровняли обрывы его тревог, ухабы его заблуждений... Затаив дыхание, Агеев вслушался в прерывистый рокот дизелей, и ему стало нестерпимо жалко чего-то, что оставалось в безвозвратном прошлом: может, себя и своей окровавленной молодости, может, давно ушедших из жизни, расстрелянных, погибших, замученных в застенках товарищей. Может, это был плач души по тем, кому не суждено было родиться и продолжить жизнь, но чувство безутешного горя охватило его так сильно, что он беспокойно поднялся, сел на измятой постели и вдруг совершенно непроизвольно заплакал. Он был тут один и мог не сдерживать себя, дать волю слезам, и давящие судороги сотрясали его грузное тело. Он плакал долго и самозабвенно, как это случалось с ним некогда в раннем детстве, о себе и о них, неизмеримых человеческих страданиях, которые, оказывается, ни для кого не проходят бесследно. Наученный жизнью, он уже понимал, что за все надо платить – за хорошее и за плохое, которые так крепко повязаны в этой жизни, но все дело в том, кто платит. Платит, конечно же, тот, кто меньше всего повинен, кто не рассчитывает на выигрыш, кто от рождения обречен давать – в отличие от тех, кто научился лишь брать и взыскивать. В свое время он заплатил ЕЮ и был жестоко наказан, потому что ОНА была послана ему для счастья, а не для искупления.

Когда за прищторенным окном забрезжил ранний рассвет, он встал, поднял свой потяжелевший за ночь рюкзак, простился с сонной дежурной внизу и пошел через сквер к

автостанции.

1986 г.